

Аркадий Штейнберг

# К ВЕРХОВЬЯМ

С о б р а н и е с т и х о в

Искатель кладов

Хижина в лесу

К верховьям

Золотой мяч

Вторая дорога



О Штейнберге

Материалы к биографии

«СОВПАДЕНИЕ» 1997



«ImWerdenVerlag» München 2007

Составление, текстологическая подготовка, вступительный очерк  
Вадима Перельмутера.

Художник Александр Волошин.

В оформлении книги использована графика разных лет  
Аркадия Штейнберга.

Фотоработы выполнены Леонидом Ковалёвым.



фото 1975 г.

Бумажная книга была издана на средства,  
предоставленные сыном поэта  
Эдуардом Штейнбергом.

Выражаю искреннюю благодарность Вадиму Перельмутеру, только  
инициатива и бескорыстный труд которого сделали возможным  
появление этой книги. Э.Штейнберг

---

## НЕСКОЛЬКО РАЗРОЗНЕННЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Невозможно передать полностью, чем был человек. В лучшем случае, удаётся соединить несколько разрозненных впечатлений — да и то приходится рассчитывать на чтение не только внимательное, но отчасти и творческое, то есть такое, где участвуют чутьё и воображение

*Георгий Адамович*

Семнадцатого февраля 1984 года в Центральном Доме литераторов состоялся творческий вечер поэта и переводчика Аркадия Штейнберга, прошедший, как принято выражаться, с большим успехом. Однако мне, свидетелю всех его подобных вечеров на протяжении полутора десятков лет, виделось: всё не совсем так, как ожидалось, могло быть, бывало прежде. И в самом виновнике торжества — какая-то растерянность, нет, точнее сказать — замедленность. Словно движения его чуть-чуть не совпадали с привычным рисунком. А в остальном всё было при нём. Артистизм, улыбка во все лицо, темпераментно-гулкое, мощное чтение стихов и переводов, остроумные — в точку — реплики. Не хватало разве что одного-единственного, кому знакомо — поймёт, кому нет — не объяснить, слово французское, русского эквивалента не имеет. Куража.

Старый артист говорил мне, что от *потери куража* нету средства. А выход из положения — лишь тот, что уводит со сцены.

Штейнберга, помнится, занимала, даже, пожалуй, забавляла мысль о том, что к концу жизни отсчёт времени как бы замедляется, становится почти таким же дробным, подробным, каким был в начале. До двух лет — на месяцы, с двух до семи — на полугодия, потом — на годы, на пятилетия, переходы все более плавны, а с тридцати до шестидесяти «круглые» даты — те, что кратны десяти. Далее — в обратном порядке, по убывающей. И когда близится «впадание в детство», впору опять переходить на годы, полугодия, месяцы.

Эту симметричную схему он изображал не без удовольствия. И к *юбилеям* своим относился несолидно-иронически, дескать, велик труд — вместе с Землею вокруг Солнца вертеться! Однако находил в них и нечто положительное — повод и возможность собрать не только тех, кто обычно в доме бывают, но всех желающих, и почитать им — своим — стихи. Или переводы. Заодно — *проверить на публике* последнее из сделанного.

Семидесятилетие отметил одиннадцатого января семьдесят восьмого чтением переложений из Ван Вэя в гостиной — над рестораном ЦДЛ,— в так называемой «каминной», где камин сохранился, но давным-давно декоративен. Ни намёка на торжественность — традиционная, по тем временам, «рабочая» читка, в конце которой предполагалось обсуждение услышанного. Но чего тут обсуждать? Только слушать и слушать замечательной прозрачности стихи...

Дождь осенний  
Рождает докучливый звук.  
Бурно вода  
Бежит по камням напрямик.  
Волны плещут,  
Мечут брызги вокруг.  
Белая цапля  
В страхе взлетает на миг.

А в шестьдесят пять там же, в «каминной», он читал обширные фрагменты из завершаемого перевода Мильтонова «Потерянного Рая». И запомнились восторги при сем присутствовавшего оксфордского, если не ошибаюсь, профессора-слависта. И то, как между ним и Штейнбергом неожиданно, повод от внимания ускользнул, завязался разговор о Байроне, о невероятной его популярности в России, о том, что экстравагантная биография и литературная репутация, штука совершенно загадочного происхождения и с художественными достоинствами сочинений подчас мало связанная, ослепили и современников, и потомков. «Это такой английский Евтушенко девятнадцатого века», — резюмировал Штейнберг. «О! Вот оно! Так есть!» — возопил собеседник...

И ещё пятью годами ранее. Январь шестьдесят восьмого. Малый зал ЦДЛ. Шестидесятилетие. Процедура подобных мероприятий, расписанная, кажется, раз и навсегда, с вступительным словом, повествующим о жизненном и творческом пути юбиляра, напоминающим ему — возраст всё-таки, а ну как забыл! — про то, что и когда он написал и напечатал; с выступлениями друзей и «сратников», учеников, коли таковые имеются; с официальными поздравлениями и «музыкальными паузами»; наконец, с выходом на публику самого поэта, предлагающего вниманию изрядно утомлённых уже слушателей несколько своих стихотворений, — вся эта процедура была на сей раз порушена, поломана самим Штейнбергом. Лёгкий, поджарый, выглядевший на добрую четверть моложе тех лет, что были обозначены в пригласительных билетах, одетый отнюдь не парадно — в спортивный пиджак поверх клетчатой, с распахнутым воротом сорочки, — он менее, чем кто-либо из присутствовавших, годился на главную роль в начинавшемся спектакле. И на происходящее, на битком набитое помещение, на цветы, на стол «президиума», за который не сел, примостился бочком на краю сцены, на всю эту шумную суету он глядел словно

бы со стороны и удивлённо. Но едва Лев Славин «объявил вечер открытым», Штейнберг поднялся на кафедру и сказал, что, коль скоро нынче — его день, и сидящие в зале — его гости, он начнёт с того, ради чего только и стоит собираться в таком количестве. Со стихов. И прочитал поэму «К верховьям».

...Но эта жизнь была не хуже  
Любой другой; она была  
Мелькнувшей в темноте и стуже  
Частицей света и тепла.  
Чего же требовать иного  
В последний из прощальных дней?  
Какая, в сущности, основа  
Упрёков, обращённых к ней?..

И сама собою отпала надобность говорить о судьбе поэта, о мировоззрении, об отношении к жизни и к искусству, — всё это было в поэме, не пересказывать же поэзию своими словами! Впрочем, о поэме — речь впереди. Пока — о вечере. Закончив чтение, Штейнберг снова присел на краешке сцены, за спинами «президиума», наискосок, и оттуда взирал и слушал всякие хорошие слова о себе. А выступавшие непроизвольно вертели головами, переводя взгляд с него на зал и обратно. И Лев Аннинский честно признавался, что никогда не приходилось ему говорить «вступительное слово» посреди вечера. И Вильгельм Левик, читал, слегка скандируя, смешной «адрес», где говорилось преимущественно о лодках, яхтах, рыбной ловле и прочих профессиональных увлечениях юбиляра и только в самом конце, демонстративно «между прочим» — о стихах. А на сцене консерваторские студенты-композиторы исполняли посвящённые Аркадию Акимовичу свои сочинения. И Вика Яглинг играла на виолончели. И под гитару Николая Волшанинова пела «Не уезжай ты, мой голубчик!» Рада, с последними звуками романса опускаясь на колени, — и Штейнберг взлетал на помост, бережно поднимал её и галантно целовал руку...

А потом было разудалое ресторанное застолье. И долго ещё эхо *юбилея*, каких не знавал немало всякого повывавший писательский Дом, блуждало по его кулуарам, обрастая фантастическими подробностями и презабавными байками...

Всё это вспомнилось тогда, в восемьдесят четвертом, — по контрасту. Конечно, шестнадцать лет прошло, основные действующие лица не помолодели, иных уже и не стало, да и бессмысленно ждать повторения неповторимого. Однако разница оказалась чересчур резкой. Видимо, причина была отчасти в том, что Штейнберг на этот раз выбрал для действия Большой зал ЦДЛ. Я пытался его отговорить, твердил, что лучше переполненный Малый, чем неполный Большой, что «держат аудиторию», без чего поэтическое выступление обречено, там утомительно, мало кому

удавалось. Он возражал вяло, но не поддавался. И получил зал, повинный во многих, если не провалах, то неудачах. Бездарная акустика — сам себя на сцене не слышишь, — усиленный микрофоном голос отражается от стен каким-то дробящимся эхом. Освещение такое, что лица слушателей зыблются, то расплываются, то сливаются, их реакция запаздывает, так что не понимаешь — что дошло, что мимо прошло. Да ещё холодно зимой, кое-кто в пальто или куртках, но и так не выдерживают, проплешины пустых мест растекаются, ширятся...

А выступления были хороши. Особенно запомнился Аверинцев, от микрофона отмахнувшийся, подошедший к самому краю сцены, вот-вот по рассеянности свалится. Несколько раз казалось, что он теряет равновесие — и эта неловкая эквилибристика кончится трагически, двое-трое из первого ряда непроизвольно подхватывались, чтобы поймать его налету, но он судорожным взмахом рук всякий раз удерживался на краю и продолжал. Он замечательно говорил о том, что крупнейшая переводческая работа Штейнберга «Потерянный Рай» — это классика, как «Илиада» Гнедича, «Одиссея» Жуковского, «Божественная Комедия» Лозинского. Но истинное чудо он обнаружил в томе европейской лирики девятнадцатого века Библиотеки Всемирной Литературы. Всего шестнадцать строк. Он с детства заворожён стихотворением Мёрике «В полночь», всегда считал его, если угодно, «эталонном неперево-димости», а перевод Штейнберга — конгениален. Не перевод — то же самое стихотворение. Именно так и написал бы Мёрике, если бы сочинял по-русски. Впрочем, это чудо стало ему понятнее, нет, понять чудо нельзя, чуть менее удивительным, когда узнал собственные стихи Штейнберга, увидел в большинстве из них поразительное соответствие художественного намерения — и осуществления...

Потом, когда все расходились, я стоял, дожидаясь, пока отхлынут на сцене от Штейнберга поздравители и почитатели, кончится обмен улыбками и комплиментами. И тогда стало заметно, что он устал и расстроен: получилось не то, не так. «Тридцатиградусная водка», — говаривал он о чьих-нибудь «недотянутых» стихах или картинах. Чтобы отвлечь, я заговорил о точности и глубине аверинцевских наблюдений и слов, о том, что публика ими прониклась. «Бросьте, старик, — иронически блеснули из-под очков глаза, мигом скукоживая пафос в шутку, — всё равно все будут помнить только то, что он был в галошах...»

Спрашивать поздно — мемуарный этот эпизод остался для меня загадочным. Во-первых, потому что вечер, по всем атрибутам и признакам — юбилейный, опоздал, как минимум, на год. В декабре восемьдесят второго Штейнбергу исполнилось семьдесят пять. И тогда от причитающегося вечера он наотрез отказался, заявил, что не видит никакой своей заслуги в том, что прожил три четверти века. На резонное, вроде бы, возражение, что не в том дело — *сколько*, но в том — *как* прожито, лишь пожал плеча-

ми, сказал, что всё достойное внимания публики исполнял перед ней уже не раз, затевать всё по новой — пустая трата сил. Год спустя передумал. И на пригласительный билет дал фотографию «стандартную»: серьёзный, даже мрачноватый, весьма преклонных лет *писатель* — за письменным столом, на фоне книжных полок. Ничего подобного прежде не делал. Во-вторых, опять-таки — Большой зал. Упорство, с каким настаивал, удивило, неумеренного тщеславия за ним не замечалось, да ещё в такой, я бы сказал, официальной ипостаси — зал-то «генеральский». В-третьих, как уже упомянуто, читал он и стихи, и переводы, причем начал четвертьвековой давности строками из Топырчану:

За месяцем следует новый,  
Недели бегут и года.  
Сударыня, будьте здоровы!  
Беру чемодан — и айда...

Бог весть, где прибьюсь я случайно  
С цыганским моим багажом,  
Какая влечёт меня тайна  
Бродяжничать в мире чужом...

Потом — из Георге:

...Нет, мне не надобно цветка большого!  
Что толку в этой новой жгучей ране?  
Вот возвожу пустые взоры снова,  
В пустую ночь тяну пустые длани.

Потом — его любимый Тувим, щемяще-прощальная «Трава»:

...Чтоб я с цветами, корнями  
Срастился, они же — со мною,  
Чтоб никогда между нами  
Слова не встали стеною.

Чтоб мы лишь единым звались  
Именем неделимым:  
Или оба — травую,  
Или оба — тувимом.

Были и другие переводные стихи — игровые, звенящие, искристые. Однако трагическая тема то и дело возвращалась, варьировалась, повторялась. Задним числом, когда знаешь происшедшее впоследствии, это представляется неслучайным: предвиденьем и предчувствием. Но тогда, при слушании, удивило совсем иное.

Обыкновенно он начинал с неопубликованного — со стихов или переводов, звучащих для публики вне сравнения с читанным, здесь и сейчас. Знал, что лучшего способа *настроить* собравших-

ся *на свою волну* не существует. И не раз говорил, что главная ошибка всех поэтов-юбиляров — чтение своих вещей «в конце программы». Ведь люди пришли в гости к поэту, а слушают кого угодно, кроме него, пока не одуреют — и им вообще не до поэзии. Но сам поступил именно так, как не советовал другим.

Подумав, не случилось ли за тот «год опоздания» нечто, заставившее Штейнберга переменить намерения и сотворить-таки юбилейное мероприятие, отвечающее официальным нормам, попробую предложить догадку. Осенью восемьдесят третьего он получил из издательства «Советский писатель» последний и решительный отказ. Это означало, что книга его стихов, пролежавшая шестнадцать (!) лет в редакции, возглавляемой эпическим графоманом Егором Исаевым, и подвергшаяся всем мыслимым редакторским издевательствам, не выйдет.

Он сдал рукопись в издательство вскоре по завершении поэмы «К верховьям»: ей отвел решающую роль в своей чрезвычайно поздней — в шестьдесят лет — *первой* встрече с читателем. Конечно, были знаменитые в начале шестидесятых «Тарусские страницы», где публикация стихов Штейнберга — одна из самых объемистых. Но там, в соседстве с такими поэтами, как Заболоцкий и Цветаева, в окружении многолюдном и разноплановом, мудро было остаться наедине с читателем, печатанье в подобном сборнике — нечто вроде мимолетно-первого свиданья, знак будущих встреч. Хотя, конечно, стихи Штейнберга были замечены и оценены. Книге предстояло закрепить успех. Но для этого ей надо ещё было выйти.

Рецензировал рукопись известный поэт-лауреат Александр Яшин. В мемуарах о Штейнберге Липкин пишет, что рецензенту книга понравилась и он рекомендовал ее к изданию. Это — со слов Штейнберга, с которым, действительно, после яшинской рецензии заключили договор. Однако не так-то всё просто, текст передо мной, составлен он по-хитрому. Ни словом не обмолвившись о содержимом стихов, Яшин отметил частные «удачи», свидетельствующие, что автор «умеет писать». А затем, сославшись на «утомление» от этого чтения, предложил отдать рукопись на отзыв кому-нибудь другому. Намекнув при этом, что большая поэма вызывает у него некоторые сомнения, нет, не фабулой, не сюжетом, не персонажами, Боже упаси, но только тем, что «затянута». Разумеется, не мог он не заметить ни весьма, так сказать, не поощряемой «лагерной» темы, ни ещё менее популярной «еврейской», ни той внутренней свободы, которая советской поэзии была противопоказана. Докладывать об этом, то есть доносить на автора не стал, уже спасибо, но и ответственность на себя взять не рискнул. А издательство не решилось наотмашь отказывать поэту немолодому, давно, хоть и нечасто, понемногу печатающемуся, к тому же — фронтовику и реабилитированному лагернику, мне после «по секрету» признавались, что рассчитывали потихоньку, не мытьем, так катаньем, «доставить» рукопись до приемлемого, в



перевод с «издательского» языка — до средне-статистического уровня стихотворно-советских книг.

Затем за дело взялся служащий поэт-редактор Евгений Елисеев. Он трижды — с несколько-годовыми интервалами — сочинял что-то вроде отзывов о поэме Штейнберга. Поначалу отнесся к ней почти восторженно. Потом, очевидно поддавшись начальственным внушениям (трусават был, я его знал), стал настаивать на сокращениях, конечно, единственно ради «композиционной стройности», — на исключении «некоторых сюжетных линий» (см. выше), дабы менее бросалась в глаза читателю «ущербность всех персонажей». Штейнберг сопротивлялся долго и упорно, но, понимая, что иначе книгу не спасти, начал помалу уступать. Думаю, что он и сам не заметил, как в какой-то момент преступил грань допустимых «редакторских потаканий». Ему очень хотелось, чтобы книга появилась, без поэмы он её не мыслил. Кто возьмётся его упрекнуть! Во всяком случае — не я...

Когда так называемая «правка» была сделана, последовал третий елисеевский отзыв. Из него следовало, что поэма «скомканна и несоразмерна», что в ней не везде прослеживаются логические связи (чистая правда: сам Елисеев об этом и «позаботился») и что публиковать ее не имеет смысла, она способна только испортить впечатление от книги. Как ни удивительно, но доля истины в том была.

Несколько лет назад рукопись попала ко мне. И я, признаться, испытал двойственное чувство. С одной стороны, сострадание к поэту, которому довелось всё это пережить, собственными руками портить сделанное — и сделанное добротню. С другой — порадовался, что она не стала книгой. Изувеченная поэма, от которой после «редактуры» осталось чуть больше половины, имела, увы, немного общего с тою, какую слышал зимой шестьдесят восьмого, машинопись которой, подаренную автором, читал и перечитывал. (Следует заметить, что опубликованный текст считался бы *последней авторской редакцией* поэмы, ведь изменения внесены не редактором и не цензором, но автором, согласившимся с *пожеланиями* издательства.) Да ещё, как выяснилось, будучи полностью сосредоточен на том, чтобы издать поэму, чего бы это ни стоило, Штейнберг весьма небрежно отнесся к прочему составу книги, включив туда преимущественно стихи из «Тарусских страниц» и «заметки в стихах» — «Автобус местного значенья» и «Паводок». Здесь не было не только «Второй дороги», «Дня Победы» или «Снежный саван сходит лоскутами...», в тех условиях «непроходимых», но многих первоклассных стихотворений, которые и без поэмы могли бы составить книгу замечательную. А в таком истерзанном виде она создала бы совершенно превратное читательское представление о поэзии Штейнберга. Изменить «литературную репутацию» впоследствии было бы невероятно трудно, если вообще возможно.

Ужасно представлять себе — что довелось ему перенести. И впустую. Потому что нашёлся человек, которому даже покалеченная до полу-узнаваемости поэма костью встала поперёк горла. Из высшего издательского начальства полномочным вершителем книжно-поэтических судеб был некто Соловьев, автор чудовищно озаглавленной (и так же написанной) книги о Блоке «Поэт и его подвиг». В поэзии он разбирался настолько, что вымарывал почти всё имевшее к ней отношение из рукописей, попадавших к нему на стол. При этом графоманов презирал, потому не трогал, выпускал в свет — как есть. Сам когда-то начинал стихотворцем, да таланту Бог не додал. Вот в отместку, видимо, и наводнял он теперь литературу чужими бездарными виршами, а что подаровитее — уродовал без зазрения... совести, хотел я сказать, но не годится слово, уж не знаю — чем заменить. Соловьев потребовал поэму из книги убрать. Действительно, эпитафия — из Ленина (хоть и не указан автор; почему, кстати?), а под ним, где ни открой наскидку, что-нибудь такое:

...Нам надо жить в суровом мире,  
Где жизнь — река и смерть — река,  
И мглистой ночью на буксире  
К верховьям плыть издалека.

Штейнберг издавать книгу без поэмы отказался наотрез. Патовая ситуация растянулась на несколько лет. Наконец, ему сообщили, что договор расторгают, а выплаченный ему аванс готовы списать; была такая статья издательских расходов, называлась: «творческая неудача»...

И вот тогда (как же это мы проглядели, не поняли?), вероятно, единственный шанс дожить до книги углядел он в том, чтобы получить, так сказать, официальный статус. Большой зал, отчето проделанном за жизнь, раз и навсегда установленный для таких случаев регламент, никаких отклонений, всё — как у всех. Расчёт, конечно, был наивен. В гробу видали издатели эти самые вечера! Кажется, Штейнберг это понял ещё до начала, потому — растерянность, отсутствие куража, огорчение: всё напрасно.

Концы с концами, вроде бы, сходятся. Однако не настаиваю — догадка...

Больше перед публикой он не выступал. Седьмого августа того же года его не стало.

А в конце мая, накануне его отъезда, — предполагалось, до глубокой осени — в деревню Юминское, что в Тверской области, близ Белого Городка, нам понадобилось отыскать что-то среди его бумаг. Ушло на это часа три — и без толку, беспорядок там царил такой, что уже и сам хозяин не мог ориентироваться. А на моё недоумение, дескать, как же можно до подобного состояния

архив доводить, Аркадий Акимович лишь пожал плечами: «Ничего страшного. Вот я помру — вы и разберётесь». Так и вышло.

Десятого, то ли одиннадцатого августа позвонила жена приятеля — сказать, что прочитала в «Вечёрке» сообщение о смерти Аркадия Штейнберга: знаю ли? правда ли? Я не знал. И не поверил.

Ему шёл семьдесят седьмой год. Одиннадцать лет повёл он в местах, где впору год считать за два, а то и за три. И всё-таки понятие «безвременно», весьма странное, если вдуматься, раскрыло в этом случае свой буквальный смысл. Все, кто были знакомы со Штейнбергом, оказались внутренне совершенно не готовы к случившемуся.

Как правило, смерть чуть ли не мгновенно всё расставляет по местам, решительно обозначает размеры сделанного ушедшим, то есть масштаб личности. По образовавшейся пустоте — там, где *БЫЛ человек*, — можно судить: каков он был? Завершённость жизненного пути художника есть завершённость его облика и творческого поведения. При этом особенный вес обретают последние, в том числе — незавершённые его вещи.

В разговорах со Штейнбергом, насколько помню, эта тема возникала трижды. После прощания с Ахматовой в морге Института Склифосовского, бывшего Шереметевского странноприимного дома, мы вышли на Садовую, остановились закурить. И он сказал: «Трон свободен...» Узнав о смерти Пикассо: «После него там, где он побывал, художникам делать нечего...» О Шостаковиче, отношении к которому у него было сложным, любил инструментальные опусы, особенно скрипичный концерт, музыку к «Лиру» называл гениальной, а большущество симфонических сочинений, хоть и ценил, но отстранённо, неэмоционально: «Всё — спорить больше не о чем. Как ни погляди, а все оставшиеся — меньше...»

Чтобы осознать место Штейнберга в своей жизни, его друзьям необязательно было дожидаться кончины. Все мы это прекрасно понимали. И гнали от себя мысль о том, что нам, которые намного моложе, рано или поздно придётся остаться без него. Потому с первого раза известию не поверил не я один. Тем более что однажды недоразумение уже случилось. Ту историю Штейнберг рассказывал не раз, да и другие очевидцы подтверждали.

В шестидесятом, накануне похорон Пастернака, он поздним вечером приехал из Тарусы и сразу лёг спать. В начале седьмого его разбудил телефонный звонок. Спросонок он не сразу узнал голос приятеля, поэта Александра Ойслендера: «Это квартира Штейнберга?» — «Да». — «А кто у телефона?» — «Хозяин». Долгая пауза. Потом — нерешительно: «Аркадий, как ты себя чувствуешь?» — «Нешлохо, но не настолько, чтобы спрашивать меня об этом на рассвете...» На том и простились, оба — недоумевающие. И тут началось, словно по сигналу. Звонок за звонком. И всякий, услышав раскатистое баритональное «Аллёоу!» Штейнберга, почему-то терялся, что-то мямлил, а потом... интересовался самочувствием. Так — до самого отъезда в Переделкино.

На обратном пути попутчик и старинный друг Николай Оттен объяснил, наконец, в чём причина столь назойливо-странной и массовой заботы о здоровье Аркадия. В один день с Пастернаком умер известный востоковед и переводчик классической персидской литературы Евгений Штейнберг. Заглянув вчера в Союз Писателей, Оттен застал там жуткую панику, ужас перед Переделкинскими похоронами, которые, неровен час, выльются в какую-нибудь антиправительственную манифестацию. Все бегали, суетились, размахивали руками, понять ничего нельзя. Улучив момент, Оттен перехватил на бегу одного из союзписательских чиновников и говорит ему, что, мол, Пастернак Пастернаком, но вот и Штейнберг помер, надо хотя бы некролог в «Литературке» поместить. А тот в ответ: «Уже пишут. В секции поэтов». — «С какой статьи — поэтов?» — «Так ведь Аркадий Штейнберг — поэт!» — «Но Штейнберг, который умер, Евгений, — отнюдь не поэт». Поглядел собеседник на Оттена безумным глазом и опрометью бросился на второй этаж, Оттен за ним. Успели в последний момент: готовый текст собирались в редакцию передавать, по телефону.

Аркадий Акимович очень сердился на Оттена за усердие. «По его милости дурацкой, — говорил, — мне уже никогда не прочитать о себе всяких потрясающих слов».

Однако теперь ошибки не было. Полчаса спустя позвонил Евгений Рейн: «Аркадий скончался». Первая мысль: я вдруг стал понимать древних, которые казнили принесшего дурную весть. Как там, у Пушкина: «С горя начал он чудесить и гонца хотел повесить...»

Мы дружили двадцать лет. В начале августа шестьдесят четвертого я впервые появился у него на Второй Мещанской, она же — улица Гиляровского. Гуляли с Александром Ревичем, мимо проходили, и он предложил: «Давай-ка, зайдем — познакомлю тебя с замечательным поэтом!»

Клетушка с десятков квадратных метров, показалось — ещё меньше, оккупированная книгами. Накурено до сизо-слоистого марева. Черноволосый, смуглый, какой-то ярко-темный хозяин широкоплеч, длиннорук, крупен. Смотрит, сквозь очки, в глаза — и одновременно всего тебя не упускает из виду, на малейшее движение, произвольный жест реагирует едва уловимо, но мгновенно. Широкая, мощная ладонь. Руку пожимает крепко, но не демонстрирует силу, ровно настолько, чтобы ощутить сопротивление, встречное усилие. Совсем не так, как любят физически выше среднего развитые интеллигенты, — чтобы до хруста, до боли, и при этом поглядывают испытующе. Тут сила словно подрёмывается, без нужды не выказывается.

Ревич вскоре ушел, я остался. Читал стихи. Как сейчас понимаю, такому мастеру все их несовершенства были видны сразу и досконально. Однако он произнёс слова ободряющие — и не обидные: какие-то строчки выхватил на слух, повторил, не объясняя,

но голосом выявляя — чем именно привлекли, отметил удачные, по его мнению, ритмические ходы.

Он вообще предпочитал *хвалить*. Ведь абсолютное большинство людей *недохвалены*, окружающим в глаза больше бросаются прощёты, неловкости, неудачи. Принято думать, что лучшее в себе человек и сам знает, а на худшее надо ему указать. В действительности, если не брать существа нарциссические, чаще — наоборот: достоинства вызывают сомнения, недостатки — вблизи — непропорционально велики. Отсюда — более или менее успешно таимые неуверенность, неуют, тревожность. Потому на похвалу люди откликаются, раскрываются, становятся доверчивы, легче понезаметнее и замечание подбросить, вернее дойдёт до сознания. Похвалу хочется оправдать, заслужить следующую, для чего надо нечто сделать, и сделать хорошо, ведь за одно дважды не хвалят.

Любопытно было присутствовать при его беседах с участниками переводческого семинара. Хваля этих молодых, иногда очень юных людей, он совсем не боялся их *испортить*. Но подталкивал прыгнуть выше головы, то есть вполне умеренных, а то и просто посредственных способностей, а главное — удержаться на взятой высоте, и еще выше двинуться, по чуть-чуть. Эффекта он добивался поразительного: знаю таких его воспитанников, давно — и совсем неплохо — работающих. Но это я увидел-услышал много позже...

Заговорили о переводах, представление о которых у меня в ту пору было, мягко говоря, смутным. Что-то нравилось больше, что-то меньше, что-то вовсе нет; зная, разумеется, переводы Пастернака, Брюсова, Соллогуба, не говоря о Жуковском, поэтов по преимуществу, незнакомые переводческие имена оставлял без внимания, не запоминал. Он сказал, что много переводил и переводит. Я ответил, что переводные стихи меня чаще всего раздражают искусственностью словесных конструкций, напоминают пионерлагерные гимнастические «пирамиды»; из последнего, что в руки попало, целиком понравилась только одна книжка. «Был такой румын, Топырчану, может, слышали? Там все стихи — живые. Например — о ревности:

Повстречавши не меня,  
Ты другого бы любила,  
Проявив не меньше пыла  
И любовного огня...  
.....  
Ты возилась бы с сынком,  
И росло б отроде ваше  
Наподобие папаши —  
Совершенным дураком,—

прямо-таки ослепительное чувство: к несуществующему!» — «Недурно,— откликнулся Штейнберг.— А кто переводил?» — «Не помню. Дома посмотрю». — «Не трудитесь. Переводчик — перед вами».

В нем не было ни малейшего *учительства*. Взгляд — всегда *вровень*, интерес к другому, к не такому, как он, — жаден и неподделен. Это действовало неотразимо, особенно на молодёжь, но не только. Его *учениками* были только *буквальные*, те, кто брали у него уроки, я бы сказал, понимания природы художественного перевода и его технологии. Однако и они не чувствовали разницы в возрасте, разве что — в опыте. И относились к нему тоже *вровень*, снизу вверх не глядели, а фамильярничать и в голову не приходило. Штейнберг говорил, что возраст — не заслуга, козырять нечем...

Меня никогда не привлекало довольно популярное в те времена среди молодых *хождение по мастерам*, собирание отзывов о сделанном и рекомендаций на будущее. По мне, это сродни хождению недомогающего по врачам, каждый из которых ставит диагноз, хоть немного, да иной, либо — при том же определении — даёт другие советы. Потому, чем дальше — тем труднее, запутавшись в *опозициях*, решиться на какой-либо шаг, а когда, наконец, дозреешь до настоящей надобности лечиться, уже, быть может, поздно. Штейнберг не ставил диагнозов и не давал советов. Он слушал и разговаривал. Стремился слышать и быть услышанным. Он терпеть не мог витийства *о тайнах творчества*, в беседах с ним литература перешлеталась с бытом, лирика с гротеском, афористически-точные наблюдения любезно соседствовали с причудливыми байками, все жанры были хороши, потому что не было скучных. Дружить с ним было радостно.

Когда речь о художнике, привычно, вроде хорошего тона, сказать, что отношения с людьми у него были *непростыми*, — сложный человек, творческая индивидуальность. Штейнберга *любили*. Причем он не прилагал к тому никаких *очаровывающих* усилий. Был таким, каким был, этого хватало. Его одарённость была через край: поэзия, живопись, музыка, склонность к «рукоделу» (излюбленное его словцо). Совершенно ненасытное любопытство к происходящему в жизни и в искусстве, которое иногда делало ему дивные подарки.

Он рассказывал, как в 1959 году ему добыли билет на первую Американскую выставку в Сокольниках. Он отправился прежде всего в павильон искусства, где оказался единственным посетителем, прочие толпились близ технических чудес. Неторопливо ходил от холста к холсту, разглядывая то, что и в репродукциях тогда мудрено было раздобыть, например, Поллока. И вдруг к нему подошел дежурный милиционер и, извинившись, спросил: не художник ли он? На утвердительный ответ попросил разрешения походить с ним по выставке, у него, мол, несколько вопросов есть, а спросить некого. Вопросы были с виду наивными, но по существу неожиданно дельными. И Штейнберга этот странный блюститель порядка заинтересовал необычайно. Он, конечно, захотел утолить любопытство — и услышал историю замечательную. Милиционер впервые тут дежурил в день открытия. Публика нахлынула, бит-

ком набилась, но, увидев лишь картинки, да непонятные, быстренько очистила помещение и больше не появлялась. Милиционер остался один. И от нечего делать стал разглядывать: что это он охраняет? И возмутился — какие-то линии, пятна, чёрт-те чего, дЛьрят американцы нашего брата, издеваются, да я такого за день намалюю, сколько захочу! Нормальная, в общем, реакция рядового советского гражданина-милиционера. Удивительное произошло после: он не только сказал, но и попробовал сделать. После дежурства, по пути домой завернул в писчебумажный магазин, купил альбом для рисования и школьную акварель. Поужинал, чаю пошел. Потом раскрыл альбом, кисточку в воду макнул и... ничего не получилось. Я, говорит, просидел два дня, и ничего, только бумагу перевёл. И подумал, что, наверно, чего-то не понимаю в этих американских картинках, и хорошо бы дождаться какого-нибудь художника, чтобы с ним об этом поговорить...

«Я про этого милиционера, — закончил Штейнберг, — вспомнил года четыре спустя, когда Хрущёв ходил по Манежу и учил художников тому, что такое искусство...»

В общении он был неутомим. Не будучи *эталон*ом работоспособности, отнюдь, странным образом стимулировал это качество в других, увлекаясь — увлекал. Я никогда не встречал человека, который был бы *настолько художником* — во всём, — как он. Это, разумеется, тоже осозналось позже. Но первая встреча посулила продолжение. Длинною в двадцать лет.

В ноябре восемьдесят четвертого мы с Евгением Витковским занялись его архивом. И сразу же обнаружили немало стихотворений, прежде неведомых. Это было неожиданно. Казалось, чего другого, а уж стихи-то его знаем неплохо. Трудно понять, почему он не вспоминал эти вещи, а другие, тогда же написанные, и в разговорах, к слову, цитировал строкой-двумя, и на вечерах читал. Поэты нередко в отношении к сделанному руководствуются «капризом любви», который — вне уловимой со стороны логики. И всё равно удивительно, что среди *невспомнившегося* обнаружили истинные лирические шедевры.

...Так мы летим четой крылатой  
К безвестной цели, напрямик,  
И пусть паденье будет платой  
За этот обретенный миг,

Пусть нас двоих на гребне страсти  
Затопит смоляная мгла,  
Пусть я опять сорву с запястий  
Ремни Икарова крыла...

Впрочем, найденное, судя по всему, так и не дало реального представления о том, сколько и чего он написал. «Лакуны» среди бумаг

очевидны. И по сию пору размеры утраченного могу представить себе весьма приблизительно. Изредка просверкивают осколки. То Семён Липкин в мемуарном очерке цитирует виртуозную строфу из поэмы конца двадцатых годов. То Элизбар Ананиашвили припомнит двустипшие из другой поэмы, чуть более поздней. Несколько лет назад, на вечере памяти поэта Юлия Нейман прочитала восемь строк из иронического сочинения, обращенного некогда Штейнбергом к ближайшему другу, Арсению Тарковскому:

«Адью», — сказал француз гитаре  
И подарил гитару мне,  
Она висит с картиной в паре  
На белой каменной стене.

Картина та изображает  
Арсениуса на стене,  
Он гордо руку простирает  
И гордо восклицает: «Не!»

Вильгельм Левик рассказывал про очень смешную, тому же Тарковскому посвященную поэму «Штаны», от которой уцелело лишь «Посвящение». А Илья Френкель вспоминал о целом цикле небольших «южных» поэм, по которым, из одной в другую, кочевал забавный персонаж по имени Симкха Баклажан... Тексты не найдены. Всё меньше надежд, что найдутся.

Биография Штейнберга не способствовала сохранности его архива. Хотя начиналась она совершенно безоблачно.

Он родился в Одессе, одиннадцатого декабря 1907 года. По отцу, знаменитому и преуспевающему врачу Акиму Петровичу Штейнбергу, происходил от первых одесских поселенцев, от одного из тех трехсот способных к торговле евреев, которые повелением Екатерины Великой в девяностых годах XVIII века были перевезены сюда, по большей части — из Польши, дабы самым деятельным образом принять участие в сотворении порто-франко. Правда, проследить это по сохранившимся документам навряд ли удастся. По причине, опять же, вполне «одесской». Дело в том, что дед поэта, весьма состоятельный «владелец заводов, домов, пароходов», про заводы не знаю, но дома и пароходы действительно были, несколько доходных домов и пароходство, скромное такое, по словам отца, снабжавшее российским хлебом всего лишь Францию и еще несколько европейских стран поменьше, так вот, сей дед вовсе не имел желания отдавать никого из многочисленных сыновей своих (чуть ли не десятерых) в доблестную русскую армию. Усвоив, что единственного сына не призывают, он и оставил при себе, на своей фамилии, одного, остальных же «распределил» — по документам — среди бездетных дальних родственников и добрых



знакомых, за деньги в Одессе тогда и не такое было возможно, как, впрочем, и позже.

Учился Штейнберг в реальном училище святого Павла, где часть предметов преподавалась по-немецки, этим языком он владел в совершенстве. В двадцать втором семья перебралась в Москву. Годом позже рано и без устали начавший рисовать подросток поступил в студию Харламова, был такой русский импрессионист, а затем перешел к Юону, у которого и подготовился к поступлению во ВХУТЕМАС. Двадцатые годы, — быть может, лучшее время за всю историю этого учебного заведения, там директорствовал Фаворский, а среди преподавателей — Вишпер, Флоренский и другие, им под стать. Штейнберг пошел на Керамическое отделение, однако научиться хотел всему — и сразу. Живописью занимался по классу Штеренберга, графикой — у совсем еще молодого, но весьма изысканно-мастеровитого Таубера. В двадцать седьмом на два года вернулся в Одессу, он не объяснял, отделялся «личными обстоятельствами», эпизод остался туманным. Времени, впрочем, не терял — в Институте изобразительных искусств осваивал технику литографии, офорта, гравюры, ксилографии в классе старого художника, немца Заузе, приехавшего в Россию еще в середине восьмидесятых годов прошлого века, да так и осевшего в Одессе до самой смерти в 1939 году. О нем, одесской знаменитости, кстати, упоминает в мемуарах Дон-Аминадо...

Затем Штейнберг вернулся во ВХУТЕМАС, закончить который ему, правда, не пришлось. Как раз в это время, после яростных официозных нападков на «старое искусство», Фаворский вынужден был уйти, училище на несколько лет переехало в Ленинград. Штейнберг счёл бессмысленным отправляться вослед — всего-то за дипломом. Всё, что ему требовалось от учения, он успел уже получить: равно уверенно владел кистью, карандашом, пером, резцом, чувствовал себя сложившимся художником и не видел нужды подтверждать сие документально, только время терять. Тем более что ни Рембрандт, ни Дюрер, ни Калло, ни Босх, которым он поклонялся, никаких таких дипломов не имели.

А главное — он писал и печатал стихи, которые начались позже живописи, но сразу и ясно увидел Штейнберг именно поэзию основным делом своей жизни. Живопись и поэзия как бы поменялись местами — бесконфликтно, до конца жизни сосуществовали мирно, разве что никогда не бывали одновременны: либо — стихи, либо — картины.

Живопись и рисование он считал вторым, но не второстепенным своим занятием. И совершенно профессиональным. Начать хотя бы с того, что Штейнберг сам грунтовал холсты и, подобно старым мастерам, «выдерживал» их годами, прежде чем положить первый тончайший слой краски. Охотно работал в такой сложной технике, как темпера. Был очень придирчив в выборе *материала* и *инструмента* — красок и кистей. Предпочитал кисти тонкие, мягкие, слой за слоем прорабатывал ими многократно всё про-

странство холста, никогда не спеша к завершению, оставляя уже записанный холст на месяцы, а то и годы, чтобы вернуться — по какому-то ему одному внятному импульсу — и снова надолго переключиться на другое. Чаще всего одновременно бывало в работе несколько вещей. Общее число дошедших до нас живописных произведений — меньше полусотни. Большинство — не датированы. Почти за каждым — вереницы эскизов, от первого, как правило, маленького *композиционного* очерка, стремительного и обобщенного, до тщательно отделанного, в размер холста, на который и переносился без изменений, ложась под кисть и краски. Между этих двух стадий — различные «промежуточные варианты», попытки уйти от начального замысла и — практически всегда — возвращение к нему же. И еще — зарисовки деталей, фигур, фрагментов пейзажа. У каждой картины — целая *визуальная история* сосредоточенной, сфокусированной работы над нею.

Иное дело — графика: сотни и сотни рисунков, от беглых набросков до скрупулезно проработанных листов. Техника — любая: перо и сангина, сепия и уголь, пастель и акварель, карандаш и фломастер. Возникали они своеобразными вспышками — и время каждой такой вспышки можно обозначить довольно оп-ределённо.

Уцелело, по счастью, и некоторое количество деревянных скульптур Штейнберга, выполненных в середине пятидесятых — начале шестидесятых годов и словно бы «предсказавших» более поздние поиски и находки признанных ваятелей. Это, кстати, видно и в части рисунков — в своеобразных эскизах неосуществленных скульптур.

В живописи и графике Штейнберга поражает разнообразие форм и направлений работы, жажда объять необъятное. Вот строго реалистический, психологически убедительный, «медитативный» портрет. Рядом — грустно-иронический «Пикник», в стиле ретро: дамы в кринолинах, мужчины в котелках и с тросточками, громоздкий фото-монстр на треноге, автомобиль, о котором, верно, писал ещё Ходасевич. Пейзаж, взятый, кажется, с натуры («Штейнберг никогда не писал с натуры, но всегда помнил о ней», — сказал Липкин), соседствует со «Сказанием о невидимом граде Китеже» — чуть ли не первой картиной, над которой он стал работать по возвращении из лагеря. Она символична — и автобиографична: себя поместил художник в лодку, медленно скользящую между густо одетыми зеленою склонами, себя, погружённого в мысленное созерцание Града, ушедшего на дно, чтобы сохранить чистоту духа даже в недрах ГУЛАГа... Или — серия живописных и графических притч-антиутопий, запечатлевших видения «городов будущего», где созданная человеком так называемая «вторая природа» полностью вытеснила «первую», внешне приняв ее формы, тем самым ещё отчётливее подчеркнув безнадежную свою безжизненность. Это писано задолго до всеобщих нынешних разговоров о нависшей над человечеством экологической катастрофе.

Картины, повторю, возникали медленно, годами, рисунки — напротив — спонтанно, почти мгновенно, целыми пачками. Так что нет здесь привычного, милого сердцу искусствоведа разграничения на «периоды», — все направления существуют параллельно и одновременно, не смешиваясь, не мешая друг другу. Это было бы эклектикой, когда бы не связывалось между собой прочно-напрочно единым в дением мира и твёрдостью руки автора. Это — многообразие жизни, органическое и далеко не всегда гармоничное сочетание рационального и метафизического, яви и сна, мысли и чувства.

Думается, если бы Штейнберг занимался только изобразительным искусством, его имя отнюдь не затерялось бы среди самых известных современных имен художников. Но тогда... не было бы поэта Штейнберга.

Печататься он начал в двадцать один год. В начале тридцатых его стихи появлялись в «Новом мире», «Молодой гвардии», «Красной нови», «Литературной газете», самых, как сейчас выражаются, престижных изданиях. Нечасто, но заметно — большие, броские, крепко слаженные вещи.

...И сквозь это дыхание, бегущее навкося,  
Я почти осязал чистоту бытия,  
Первозданное солнце, тяжёлую плавкость  
Горизонта, нервический профиль ружья  
И сугробы, где на снеговой полусфере,  
Словно шкуры, лежали убитые звери...

Это — «Волчья облава», навеянная «Смертью волка» Альфреда де Виньи, опубликованная во всеми читавшейся «Литературке» и неожиданно отозвавшаяся впоследствии в знаменитом мандельштамовском:

...Потому что не волк я по крови своей,  
И меня только равный убьёт.

В ранних стихах, естественно, возникают видения детства-отрочества-юности — Одессы.

Я вижу город детства моего,  
И мне не надо больше ничего.  
Доходный дом, в котором я родился,  
Домовый двор, которым я гордился...

Прошлой осенью мы с Алёной Яворской из Одесского литмузея отыскиали по справочнику «Вся Одесса» этот дом: Канатная, 62. И я узнал его мгновенно — благодаря точности описания, нет, характеристики, изображения, образа.

И дерево, рогатое полено,  
Уткнувшееся головой в песок, —

всё еще там, посреди двора. Но когда попытался угадать маршрут, в стихах, в «Пожарище», прочерченный, не вышло, да и не могло получиться. Той Одессы больше нет.

Впечатление такое, что он стихосложению не *учился*, не *совершенствовался* в нем. Редкостный, врождённый дар — глубина и полнота созвучий (глубоко- и полно-звучие) при абсолютном музыкальном слухе. И смолоду — полное отсутствие рифменной экстравагантности (хотя в других, например, в Кирсанове, с которым знаком был, по его словам, «с детского сада», вместе туда ходили, он эти фокусы весьма ценил). *Рифменное ожидание* при чтении его стихов неизменно оправдывается, но... не так, как предполагалось; то есть рифма возникает *там*, где ждёшь её, да чаще всего *не та*, какую ждёшь. Эта способность, повторю, врожденная, была доброт-но обработана, доведена до блеска. Даже в пустяках — экспромтах и эпиграммах — Штейнберг не позволял себе ни малейшей небрежности. Понимал, что приблизительность созвучия — не только неряшливость стилистическая, но и неточность смысловая, содержательная. Та самая «тридцатиградусная водка».

Поэтика Штейнберга сложилась очень рано. Впоследствии все её изменения касались лишь частных, штрихов и обертонов, но не звучания и не пластики стиха. Здесь всё связано со всем, чего осознанно сделать невозможно, самые неожиданные, останавливающие взгляд метафоры, сравнения, эпитеты проясняются тем, что им предшествует и наследует, самим стихом, и случайных нет среди них. Нередко эти связи сложны, неочевидны, чтение таких стихов — занятие недосужее, они рассчитаны на встречное читательское движение, усилие, внимание. Иначе ускользнут, не раскроются. Как во «Взморье»:

...Пред ней висит, как призрак бытия,  
Горящий край небесной плащаницы,  
И влажное дыханье затая,  
Летают рыбы, как снопы пшеницы, —

евангельский мотив становится внятным лишь спустя восемнадцать строк после внезапностью раздражившего сравнения:

Нет, нет! Я вижу в темноте двоих,  
Смолящих запрокинутое днище.  
Они поют среди трудов своих,  
Как пел тогда генисаретский нищий...

«Тогда» — это в день насыщения тысяч алчущих двумя рыба-ми и пятью хлебами...

«Он точный мастер», — сказал Олеша о Шенгели. Можно повто-рить — о Штейнберге, лучше не скажешь.

При такой манере письма, где живописная изобразительность есть прежде всего *образ мысли*, особое значение приобретает деталь, её безошибочная многозначность.

О детали в стихах как-то зашёл у нас разговор. И Штейнберг так невзначай поинтересовался, способен ли я сочинить стихотворение на заданную тему. Ну, разумеется, какие проблемы. Тогда, говорит, вот вам задание. Тема старая, как мир: он и она. Любит она его, как и положено, безоглядно, препятствия преодолевает, через испытания проходит, общественным мнением пренебрегает, словом, вкладывает в это чувство всю себя. А потом вдруг выясняет, что он того не стоит. При этом требуется передать длительность этой истории, смену времен года, обстановку русской деревни, вроде бунинской, в общем, создать стихотворную новеллу. «И на всё на это, — заключил Штейнберг, — вам дается, — тут он сделал долгую паузу, как отточие обозначил, — две строчки». Помолчал, удовлетворенно наблюдая мое замешательство. И сочувственно: «Можете?» — «Нет, конечно». — «Не вы один. Я тоже не могу. А безвестный автор частушки справился с задачей играючи: «Я любила, грязь топтала. Он дурак, а я не знала». И в этом «грязь топтала» всё есть, без обмана».

В начале тридцатых годов в Москве образовалась «великолепная четверка» поэтов, старшему из которых не было и двадцати пяти: Арсений Тарковский, Мария Петровых, Аркадий Штейнберг, Семён Липкин.

Среди шутов, среди шутих,  
Разбойных, даровитых, пресных,  
Нас было четверо иных,  
Нас было четверо безвестных, —

вспоминал недавно Липкин в стихотворении «Квадрига».

Почему они не «пробились» в литературу тогда же, в тридцатых?

Судьбы их литературные сложились похоже, почти одинаково. Многолетние занятия поэтическим переводом, где каждый добился «классического» признания. И поздний, в пятьдесят-шестьдесят лет, выход к читателю (за исключением Штейнберга, но у него были и другие, с позволения сказать, «отличия» от товарищей, например, два каторжных срока).

В воспоминаниях о Штейнберге Липкин попытался ответить на этот вопрос. Он пишет, что на фоне «революционной новизны», подавляюще-преимущественной в тогдашнем стихосложении, их приверженность к традиционной строгости формы, к регулярному ритму и точной рифме, выглядела подозрительной, чуть ли не оппозиционной. Да и темы, лирические сюжеты как-то не вписывались в общестиховое русло.

Объяснение внятное, но, пожалуй, недостаточное. Попробую дополнить. Возможно, думается мне, им не хватило *массы*.

В сущности, от всякой первоначально возникшей группы в литературе остаются трое-четверо. Так — с акмеистами, имажинистами, футуристами; с прочими — и того скромнее. Однако исходная, то есть «критическая» — для взрыва-прорыва к читательскому вниманию и признанию — *масса* всегда намного внушительней, на первых порах туда зачисляются и «посторонние» (скажем, Пастернак или «парнасец» Лившиц — в футуристы), и вовсе довольно случайные молодые люди (не говорю о не настолько одаренных, чтобы выдержать *стайерское* пребывание в поэзии, люди талантливые, но с *коротким дыханием* — тема отдельная). Достаточно просмотреть манифесты, сборники, афиши выступлений двадцатых-тридцатых годов — многие имена можно только в академических комментариях нынче сыскать, а иных и там нету. *Масса* — своего рода «ракета-носитель», чтобы вывести на орбиту «экипаж» (из двух-трёх, ну, четырёх поэтов), а потом сгореть в плотных слоях околотитературной атмосферы. Кое-какие осколки остаются неподалеку от литературы. Но не в ней. А тут — четверо равных. Иных. Разных. Лидеры без команд. По известной театральной формуле, нет свиты, чтобы сыграть короля.

К середине тридцатых годов, если точно, к концу тридцать пятого, печатать Штейнберга перестали. Докипала «борьба с формализмом», в мессиво которой ненароком угодило одно его стихотворение, помещенное в «Красной нови», никакое не «формалистическое», кондово-традиционное, разве что — нерифмованное. Этого оказалось достаточно, чтобы имя поэта оттиснулось в редакторских «чёрных списках». Остальным из «четвёрки» приходилось не слаще. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Раньше других заметив надвигающиеся тучи, Георгий Шенгели к этому времени прочно обосновался в переводной редакции Гослитиздата — и привлёк всех четверых, вместе с многими другими поэтами, и знаменитыми, и безвестно-молодыми, к необъятному делу: переводу поэзии народов СССР. Попадание в такую *нишу* давало возможность не только выжить, но и сносно жить. Работы было много, заработки неплохи. Штейнберг увлёкся: переводческие задачи помогали развивать версификационную изобретательность, пробовать силы в разных жанрах, оттачивать технику. Отношения с редакторами складывались превосходно: заказы он выполнял быстро и классно, не подводил. Хотя этих — «заказных» — переводов друзьям никогда не читал.

Причиной тому — случай. Как-то бился он над переводным стишком, в котором были такие технические сложности, что никак не давались. И вдруг — получилось, да так удачно — кому бы похвастаться! — расширяет. А тут как раз заглянул к нему Липкин. Штейнберг, едва открыв дверь, гостеприимно предлагает: «Сёма! дай-ка я тебе почитаю один перевод!» — «Стоп, Аркадий!

Сперва ответ: если бы тебе за работу ни копейки не платили, ты бы стал это переводить?» — «Ты с ума сошел!» — «Тогда не читай...» И — как отрезало: с тех пор, кроме как на «заказных» же вечерах, он читал только *своих* поэтов, а что издавали их и деньги платили, так тому обстоятельству иногда благопрятствовали...

Посулив нищету, тридцатые годы сменили гнев на милость. Штейнберг помногу месяцев жил в облюбованной Тарусе, писал стихи, переводил, рыбу ловил, возился с моторками и парусами. Хорошо зарабатывал. К июню тридцать седьмого дом закончил строить.

С домом, кстати, связана любопытная история. В один из штейнберговских заездов в Москву, за провиантом, мать рассказала ему, что заходил поэт Мандельштам и спрашивал: правда ли, что Штейнберг построил дом в Тарусе и нельзя ли в том доме пожить?.. Лет двадцать спустя Штейнберг рассказал об этом Надежде Яковлевне. Она не поверила: если бы что-то подобное было, она обязательно знала бы. Но мама, говорил Штейнберг, далекая от литературы, тем более — современной, придумать «поэта Мандельштама» не могла. К тому же известным фактам ее рассказ не противоречит. В эти месяцы Мандельштам метался по знакомым в поисках жилья, Таруса ему годилась — близко от Москвы и в число запретных для него городов не включена. Штейнберг сокрушался, что не смог ему помочь, просто не знал, где искать. И, по-моему, напрасно: не исключено, что Мандельштам пострадал бы почти на год раньше. Потому что в ночь с первого на второе ноября Штейнберга арестовали.

Он чудом вернулся из лагеря ровно два года спустя (см. публикацию в книге: «Следственное дело № 4788»). Такой же беззаботный, шумный, весёлый, опыт неволи, казалось, не оставил следа — он различим лишь в стихах:

Когда, под красною чертою,  
Гласит невзрачное число,  
Как, в сущности, я мало стою  
И, если уж на то пошло,  
Как я немного строить буду,  
В чертополох преобразясь  
Иль попросту в земную грязь,  
Распределённую повсюду...

Потом — война, которую он прошел от Северного Кавказа до Бухареста, где в октябре сорок четвертого — второй арест. Три года мытарств по тюрьмам. Наконец, приговор — восемь лет, Ухта, лагерь Ветлосян.

Я День Победы праздновал во Львове.  
Давным-давно я с тюрьмами знаком,  
Но мне в ту пору показалось внове  
Сидеть на пересылке под замком...

Именно «в ту пору». Вообще-то опыт у зека-повторника уже был: первый арест — накануне двадцатилетия Октября, так что встречать исторические даты в застенке — не привыкать-стать.

Был день как день: баланда из гороха  
И нищенская каша — магара.  
До вечера мы прожили не плохо.  
Отбой поверки. Значит, спать пора...

И праздничный обед. И не менее праздничный ужин. Протокольная обыденность тюремного быта с часовым механизмом.

Мы прилегли на телогрейки наши,  
Укрылись чем попало с головой.  
И лишь майор немецкий у параша  
Сидел как добровольный часовой...

Львовская пересылка была офицерской: пленные офицеры вермахта, офицеры Красной Армии, набранные СМЕРШем по всему Западному фронту, бывшие офицеры Белой Армии, четверть века мирно прожившие в Чехии и возвращённые Сталиным на родину, чтобы развеяться лагерной пылью на Воркуте и Колыме. Штейнберг изумлялся, что в жизни не видывал столь исступленных адептов Сталина, никакие энкаведешники, ни первомайские толпы не сравнимы с теми «беляками». Не было предела их восторгу, когда по пражской брусчатке печатали победный шаг красноармейские колонны, ведомые офицерами в сверкающих золотом погонах. Эти погоны, возвращённые армии взамен «революционных» петлиц и кубарей, произвели на бывших «золотопогонников» неотразимое впечатление. Великой заслугой Сталина, за которую все грехи ему простятся, они считали слом хребта — навсегда! — Германии, исконному, злейшему врагу России. Ради этого — жертвы не чрезмерны. Он взял реванш за них, побитых в августе четырнадцатого. Теперь и помереть не жалко... И что, быть может, всего поразительней: не было в них ни капли благородства и милосердия к побеждённым — к параше их! Позолота дворянского воспитания, европейской культуры как бы осела на пальцах сурово потрепавшей их судьбы. К пленным немцам они, к войне не причастные, относились, как к низшей расе, угодившей к ним в рабство. Что беда сближает, что рабство уравнивает — ложь.

Между событием и стихами — двадцать лет. «Кто-то должен был об этом написать», — сказал Штейнберг, впервые прочитав мне «День Победы».

У Фроста есть стихотворение про то, как обитатель глухого городишки «спалил свой дом и, получив страховку, всю сумму выложил за телескоп». А любопытствующим объяснял, что всюду, где люди живут, «хоть кто-то должен разбираться в звёздах»...



Происходящее кажется нам незабываемым, но память не только теряет, она искажает. Мы знаем историю, которая никакая не наука, а лишь собрание сведений о том, о чём «кто-то должен написать». И всякий раз, когда тяжело, когда вести дневник — самоубийственное безумие, а высказывать, что думаешь и видишь, по мнению большинства, — глупость, непременно является некто, уверенный, что «кто-то должен об этом написать». И пишет...

Штейнберг говорил, что, по его наблюдениям, в лагерях неизбежно и прежде всех — без шанса уцелеть, — погибали те, кто относились к своему *сроку*, как к чудовищной несправедливости, *перерыву* в жизни, который надо не пережить — переждать, а не как к самой жизни, к одному из ее проявлений, пусть крайнему, психологически тяжелейшему, но неукоснительно следующему общим для всего живого закономерностям. Понимающие это *могли не выжить*, непонимающие *не могли выжить*. И еще он любил повторять, что важнейшее свойство жизни — ее соборность, что любая часть, малый сколок с неё несёт в себе признаки и приметы целого. И что это знание дали ему годы лагерей Приамурья и Ухты. После тюремных лет, в Ветлосяне, к нему пришла любовь. И вернулись стихи.

У него почти нет любовной, интимной лирики. Исключение — лагерные стихи 1947–48 годов.

...Благословляю подневольный хлеб,  
Тюремный склеп и нищую суму,  
Благословляю горький гнет судеб,  
Он звал меня к порогу твоему...

Острота чувства предельна, попытки его защищать безнадежны, клятвы и обещания бессмысленны, разлука таится в каждом начинающемся дне.

...Ни ты, ни я не обесчестим ложью  
Еще никем не понятый устав,  
Мы можем лишь почуять руку Божью,  
Наш приговор во взглядах прочитав.

Последнее стихотворение цикла не завершено. Она уходит с этапом, в другой лагерь. Писать об этом — выше сил. Черновик истерзан вариантами — слова, слова, слова, слово к слову нейдёт. Лишь две строки:

Тебя увезут в товарном вагоне  
Бог весть куда, за край небосклона...

Он вышел осенью пятьдесят второго, кончился срок. Опыт подсказал, что попытка возвратиться в Москву может обернуться третьим арестом. Штейнберг остался в Ухте — «вольнонаёмным». Меньше чем через полгода умер Сталин.

Шестого марта, с нерассветшего еще утра развешанные по всему посёлку тарелки репродукторов хрипели похоронными маршами. И Штейнберг ушёл в лес — по не тронутому таянием снегу, за несколько километров. Траурное эхо доносилось и туда. А он прислушивался к себе, пытался понять: что чувствует. Восемь лет он засыпал и просыпался с мыслью о том, что на двадцать восемь лет моложе Сталина, что переживёт его. Это случилось. Но радости не было. Так он узнал, что не умеет радоваться смерти. Ничьей.

С середины лета того же года он — снова в Гарусе, изредка наезжая в Москву. Пишет, переводит, рисует. Большинство вещей, вошедших в «Тарусские страницы», создано в ту пору. Плюс переложение якутских эпических сказаний «Богатырь на гнедом коне» (к слову, узнав, что бывший его учитель Таубер очень бедствует, Штейнберг настоял, чтобы книга вышла с его иллюстрациями), «Стихи» Топырчану, «Сказание об Андриеше» Букова и многое другое. Но всё это он считал только подступами к главному делу жизни — к Мильтону, к «Потерянному Раю».

Однако сперва была поэма «К верховьям». Она автобиографична. Это автобиографичность особого рода — поэтическая. Не одного — нескольких персонажей наделил поэт своими чертами, поделил между ними свое пережитое. Это и моторист, вышедший из тюрьмы и заново осваивающий ощущение свободы, и крепко сбитый цыганского вида «дядька» (здесь — и портретное сходство), из жизни которого каторжная судьба вырвала, выкрала десяток лет, и призрачный таёжный путник, взглядом провожающий с берега мимо проплывающую чужую жизнь.

...Ты должен правды гнёт жестокий  
Изведать на своем горбу  
И отыскать её истоки,  
Пока не вылетел в трубу...

Несколько слов о датировке: 1963–1967. Это — не более, чем жёсткое обозначение временных границ текста. Замысел выходит за обе границы, нарушает их. Первые строки, наброски обнаруживаются ещё в самодельном черновом блокноте, исписанном в лагере, и относятся к концу сороковых годов («Был Иов Господом вознаграждён...» и другие), есть они и в разрозненных листках, случайно сохранившихся от начала пятидесятых. Такою же «размытою» видится и дата завершения поэмы. Формально это, конечно, день, когда записана последняя строка. Но отточие в конце её — своего рода соединительный знак, беспрепятственно ведущий к цели Штейнберга, к «Потерянному Раю». Как знать! Вероятно, и не удалась бы ему попытка передать по-русски это грандиозное сочинение о мироздании, гармонически уравновешенном в противоборстве Добра и Зла, когда бы не этот взгляд вокруг, в глубину и ввысь — с крохотного обитаемого острова, суденышка, медленно тянущегося по реке времён к ее верховьям...

Он никогда не торопился, не ускорялся. Неутомимый поиск единственно-нужной строки его, казалось, даже бодрил. Иногда ради четверостишья изводилось полтора десятка страниц. При этом последний окончательный вариант не *зачёркивает*, но *вбирает* все предыдущие. Вероятно, такова природа властной энергии его стихов.

Но он умел и *держат* паузу, великолепно *ленился*, предаваться *праздности*, без которой поэзия невозможна: если ты целиком и постоянно занят, стихи не придут — некогда и некуда. Штейнберг как будто всегда готов был отвлечься, заняться чем-нибудь другим. Кропотливость многовариантной работы удивительным образом сочеталась с легкостью импровизации. Реакция на прочитанное, услышанное, происходящее вокруг была мгновенна, точна и остроумна. Несколько пришедших на память случаи.

Вечером попалась ему на глаза страница «Юности» — стихи Винокурова, как бы о войне, с уморительной концовкой: «Мы Гитлера прогнали, негодяя...» Утром, по телефону, я услышал двадцать строк пародии: «История, как борозда, прямая...».

По прочтении солидной пачки стихов Бродского начала шестидесятых: «Бродский — это такой Фишер в поэзии. Он решил стать чемпионом мира по стихам...».

Выслушав рассказ об очередном суде над диссидентами: «Диссидент думает, что, если он спрыгнет с шестого этажа, дом станет пятиэтажным...».

ЩДЛ. Начало семидесятых. Мы увидели объявление о заседании в Малом зале клуба «Родина» (будущее общество «Память»). Зашли полюбопытствовать. Любопытства хватило минут на двадцать. Выходя, Штейнберг шепчет мне на ухо: «Старик, они — славянофилеры». Позже этот неологизм увенчает эпиграмму:

Он был обычным стукачом  
И занимался делом тёмным,  
Но стал, пронюхав, что почём,  
Славянофи́лером погромным...

Молодой поэт, кажется, киевлянин, пришедший стихи почитать, вместо этого битых два часа доказывает необходимость конфедеративного переустройства СССР. Наконец, уходит. Штейнберг задумчиво глядит на захлопнувшуюся дверь и печально произносит: «Бедный конфедераст»...

Лимонов, ещё не эмигрант, в гостях у Штейнберга живописует свои эпатажные выходки; хозяин терпеливо внимает — и предостерегает: «Эдик, у государства нет чувства юмора»...

Непоспешность работы создавала иллюзию, как бы это поточнее, непродуктивнее, что ли. Избытка свободного времени. Не помню случая, чтобы кто-либо из друзей и бесчисленных добрых знакомых, пожелавших прийти в гости, получил отказ на том основании, что хозяин дома «работает».

Все мы понимали, что и стихов он написал не так уж много, всего на одну книгу наберётся; и переводчиков немало можно назвать, несравненно больше него переложивших «на язык родных осин»; и для живописца несколько десятков картин, гуашей, пастелей — небогатый улов за полвека. И как-то не приходило в голову сложить всё это. А когда сложили, оказалось — много.

Он производил впечатление человека счастливого, не был обделён — любовью, друзьями, признанием понимающих. Но всё же изредка проскальзывала, можно было заметить, горечь от неизданности стихов, цену которым он знал. Да и нам мудрено их недооценить — читая.

А когда однажды некто молодой и восторженный стал убеждать его в том, что место в русской поэзии ему обеспечено, Штейнберг поморщился. И сказал, что русская поэзия — это такая армия, где взводами командуют генералы.

*Вадим Перельмутер*  
*май 1997*

СОБРАНИЕ  
СТИХОВ



# ИСКАТЕЛЬ КЛАДОВ





\* \* \*

Набегают голубые тени;  
День истлел. На западе темно.  
В этой грусти, в этом запустении,  
Что земля, что небо — всё одно.

На полянах, на просёлке пыльном —  
Никого; крапиве благодать.  
Лишь по колеям автомобильным  
Возраст века можно угадать.

Я сойду к заборам и домишкам,  
К рыболовам, спящим над рекой,  
К старым ивам, что полны с излишком  
Гордой, человеческой тоской.

Лес миную, обогну овраги  
И бегом, густую пыль клубя,  
Вниз, к реке, чтоб в неподвижной влаге  
Не увидеть — угадать себя.

Там, изрытый зыбкими кругами,  
Сломанную ветку ухватив,  
Он висит в пространстве, вверх ногами  
Обращённый, словно негатив.

Но в глазах, в изборождённой коже,  
В каждой капле с радужной каймой,  
Наобум, я различаю всё же  
Возраст века, вечный возраст мой.

1940

## ВЗМОРЬЕ

Вот скопище первоначальных крох,  
Правдоподобных, как сухой горох.  
Здесь прозябает, кожные покровы,



И влажное дыханье затая,  
Летают рыбы, как снопы пшеницы.

Я вижу хижину. Темным темно.  
Уже созвездия, как домино,  
Приучены к игорному порядку.  
Я вижу хижину; сухую прядку  
Её волос; глубокое окно,  
Очерченное фонарём; я вижу  
Расплёсканную световую жижу,  
Кривую дверь, готовую проклясть  
Вошедшего; условное окружье  
Забора, жёлтого от седины,  
Да ворох вёсел, бдящих у стены,  
Как таитянское оружие.

Но где же бороздители морей,  
Где сыновья и внуки рыбаей,  
Где силачи в брезентовых одеждах?  
Плывут они в слабеющих волнах,  
Иль, может быть, на чистых простынях  
Лежат врастяжку с лептами на веждах?  
Нет-нет! Я вижу в темноте двоих,  
Смолящих запрокинутое днище.  
Они поют среди трудов своих,  
Как пел тогда генисаретский нищий.  
Приятные мужские голоса  
Зовут луну, и, словно розга, вскоре  
Небесно-голубая полоса.  
Пересекла загадочное море.  
Рыбак, по возрасту ещё школяр,  
Глядит на нежный перпендикуляр.  
Он перелистывает, как решебник,  
Волну, волну... Ответа нет, как нет,  
Лишь на волнах играет беглый свет,—  
То забавляется луна-волшебник.

И юноша, мечтательный простак,  
Готов бежать за уходящим валом.  
Но вот уже к черно-зелёным скалам  
Причаливает лодка «Рудзутак»,  
И выжимая воду сапогами,  
Идут кормильцы на глухой песок.  
Они во мраке кажутся богами,  
Создавшими и запад и восток.

А там, вверху, у стёртого порога  
Здоровый пёс коричневых мастей  
Разлётся, как индейская пирога,

И молча ждѣт владельцев и гостей.  
На кухне, средь хозяйственного скарба,  
Густеет чад: рыбачка жарит карпа.  
Он повернулся набок: ах, злодей!  
И лысый Ленин с календарной датой,  
Прищурившись, глядит как завсегдатай,  
Как верный друг животных и людей.

Закрыв глаза, я вижу каждый атом,  
Я вижу царственное вещество.  
Мне море кажется денатуратом,  
А эти люди — пламенем его.  
Девятый вал, на берег набегая,  
Спешит назад; за ним волна другая.  
Всему конец — прогулке, темноте.  
Земля не та, и небеса не те.  
Я ж снова мальчик с карими глазами,  
Играю лодками и парусами,  
Играю камешками и судьбой,  
Летучей рифмой и самим собой.

1932

\*\*\*

Кроме женщин, есть ещё на свете поезда,  
Кроме денег, есть еще на свете соловьи.  
Хорошо бы укатить неведомо куда,  
Не оставив за собой ни друга, ни семьи.  
Хорошо бы укатить неведомо куда,  
Без оглядки, без причины, просто ни про что,  
Не оставив ни следа, уехать навсегда,  
Подстелить под голову потёртое пальто,  
С верхней полки озирать чужие города,  
Сквозь окно, расчерченное пылью и песком.  
Хорошо бы укатить неведомо куда,  
Запотевшее окно обстреливать плевком,  
Полоскать в уборной зубы нефтяной водой,  
Добывать из термоса дымящийся удои,  
Не оставив ни следа, уехать навсегда,  
Раствориться без остатка, сгинуть без следа,  
И не дрогнуть, и не вспомнить, — как тебя зовут,  
Где, в какой стране твои родители живут,  
Как тебя за три копейки продали друзья,  
Как лгала надменная любовница твоя.  
Кроме денег, есть ещё на свете облака.  
Слава Богу, ты ещё не болен и не стар.



Мы живём в двадцатом веке: ставь наверняка,  
Целься долго, только сразу наноси удар!  
Если жизнь тебя надула, не хрипи в петле,  
Поищи себе другое место на земле,  
Нанимайся на работу, зашибай денюгу,  
Грей худую задницу на Южном берегу!  
Или это очень трудно — плюнуть счастьем вслед,  
Или жалко разорить родимое гнездо,  
Променять имущество на проездной билет,  
Пухлые подушки на потёртое пальто...  
Верь солдатской поговорке: горе — не беда!..  
Хорошо бы укатить неведомо куда,  
Не оставив ни следа, уехать навсегда,  
Раствориться без остатка, сгинуть без следа,  
С верхней полки озираешь чужие города,  
Сквозь окно, зашлёпанное проливной луной,  
Сквозь дорожный ветер ледяной...

1928–1929

## ВОЛЧЬЯ ОБЛАВА

Невысокие свищут кустарники. Иней  
Притворяется прочным. Томпаковый бор  
Над шестнадцатиградусной, мерзлой пустыней  
Лапы вытянул, словно камчатский бобёр.

Это бледное небо до скуки знакомо  
Председателю Клинского волисполкома.  
Он не смотрит на небо. Он ищет врага,  
Он обшаривает голубые снега,  
Ветровейные, где на полотнище сивом  
Отпечатаны когти опрятным курсивом.

Я пытаюсь начать разговор. Вороньё  
Виноградинами костянеет на ветках,  
И слова примерзают (пустое враньё!)...  
Сколько слов у меня неуместных и ветхих!..  
Председатель не слышит. Он смотрит вперёд,  
Он привычно рукою двустволку берёт —  
Геометрию дамаскированной стали...  
И курки осторожно на цыпочки встали.

Папироза затоптана в снег. Тишина  
Подымается вверх и становится ржавой.  
Тишина тяжелеет. Внезапно она  
Разрешается выстрелами и облавой.

Безымянного бора гудит материк;  
В воронёных стволах задыхается порох,  
И нацеленной мушкой я вижу троих  
Исполинских волков. Настоящих. Матёрых.  
Но последняя ставка в весёлой игре  
Ожидала бродяг на покато́м бугре,  
Где сугроб на сугробе и льдина на льдине.  
Вот они повернули, ломая кусты,  
Шевельнули ушами, поджали хвосты,  
Добежали и замерли посередине.

Посылая зрачками глухие огни,  
Меж барханами снега стояли они  
На чугунных своих полусогнутых лапах;  
И, смакуя глазами отъявленный запах,  
Словно идолы на безнадежном снегу,  
Наблюдали за мной. Я забыть не могу  
Их мерцающий взгляд, равнодушный и хмурый,  
Их насыщенные электричеством шкуры.

Мы расстреливали неподвижную стаю.  
Тела хвоя и щелкали пули, пока  
Мне почудилось — я на дыбы вырастаю,  
И турецкие рёбра разъяли бока.  
Я услышал глазами такой небывалый  
Неестественный вкус тишины, кислоту  
Асептических льдин, логовины, увалы  
И дыханье, густеющее на лету.

И сквозь это дыханье, бегущее навкось,  
Я почти осязал чистоту бытия,  
Первозданное солнце, тяжёлую плавкость  
Горизонта, нервический профиль ружья  
И сугробы, где на снеговой полусфере,  
Словно шубы, лежали убитые звери.

Прислонившись к сосне, я промолвил себе:  
— Погляди же в глаза неподкупной судьбе.  
Эта жизнь высока и честна, как машина.  
Подойди ж к ней вплотную, как волк и мужчина,  
И скажи ей: — Руками людей и стропил  
Истреби меня так же, как я истребил!  
Если ж это не так, и ветрами влекома  
Обернётся налево дорога твоя,  
Ты ладонь протяни, ничего не тая,  
Председателю Клинского волисполкома.  
Он торжественно, как подобает врачу,  
Засмеётся и хлопнет тебя по плечу.  
Смех его из ребенка становится взрослым.

Этим смехом своим и горячей рукой  
Он научит тебя драгоценным ремёслам,  
Обиходу работающей мастерской,  
Убивать и творить непокорные вещи,  
Слушать времени голос спокойный и вещей.

Я не волк, а работник, — и мной не забыт  
Одинокой работы полуночный быт.  
Ты меня победил, председатель! Возьми же  
Добровольное сердце мое и пойдём  
За санями. Ложбинкою, кажется, ближе.

Вот мы шествуем запорошённым путем,  
Снова кланяются косогоры, поляны...  
Я кричу от восторга, шатаюсь, как пьяный,  
Наконец, за отсутствием песен и слов,  
Я палю в небеса из обоих стволов.

И в чащобах, ощерившись, слушают волки  
Аккуратное щёлканье тульской двустволки.

1930

\* \* \*

Ещё с утра запасливые тучи  
Копили гром и нагнетали зной,  
Чтобы к полудню, словно спирт летучий,  
Пролился дождь над хижиной лесной.

Желанный гость, свояк цветам и травам,  
Всеми живому кровная родня,  
Он властно ржёт, трясёт руном кудрявым,  
Поёт и пляшет и зовёт меня.

Зовёт меня на всех наречьях,  
Зовёт меня,  
Далеким гулом стад овечьих  
Зовёт меня,  
Зовёт меня свободным блеском,  
Прохладой дня,  
По всем полям, по перелескам  
Зовёт меня.

Озёрами и ручейками  
Зовёт меня,  
Кузнечиками и сверчками  
Зовёт меня,  
Осокорём тысячелистым

Стелясь, дразня,  
Цветочной пылью, птичьим свистом  
Зовёт меня.

Разоблачёнными лугами  
Зовёт меня,  
Бубенчиками и рогами  
Зовёт меня,  
Играя плавными лесами,  
Кусты клоня,  
Бесчисленными голосами  
Зовёт меня.

Он зовет, неугомонный,  
Бьёт ногами в небеса.  
Как морские анемоны,  
Колыхаются леса.

Сбив зонты косматых кашек,  
Тронув каждый корешок,  
Ураган казачьих шашек  
Зелень жадную обжег.

Как воздам я, чем отвечу  
Этой сече мировой?  
Я пойду дождю навстречу  
С обнажённой головой.

Пусть взбесившаяся влага,  
Ледяной воды родник,  
Охмелит меня, как брага,  
Натечёт за воротник.

А когда иссякнут хляби  
И туманы, уходя,  
Выжмут гроздь спелой ряби,  
Виноградины дождя,

В бесконечное мгновенье  
Я припомню, как во сне,  
Влажных губ прикосновенье  
И мурашки по спине!

1940



\* \* \*

Взглянул с горы я на Бирнамский Лес;  
Гляжу,— и вдруг, мне показалось, будто  
Он движется...

Макбет

Оперённый ветвями, плющом оплетённый,  
То ныряя, то вновь появляясь на миг,  
Бормоча, издавая невнятные стоны,  
Через пни и колоды он шёл напрямик.

Он шагал по жнивью босиком, приминая  
Курослепы, лишённые жёлтых голов,  
Хохотал и гугукал, как птица ночная,  
И бранился, подошвы свои наколов.

Там, где ивы седые мечтают о братстве,  
Где тростник увядает в вечернем дыму,  
Мы сошлись, невзирая на сотни препятствий,  
Невзирая на дождь, невзирая на тьму.

Мы сошлись у ручья, прилегли, помолчали,  
И когда под корнями уснула вода,  
Мы тихонько запели, как в самом начале  
Нашей дружбы,— как в те молодые года.

Мы запели о жизни единой и разной,  
О товарищах наших по детской игре,  
О бессмертных трудах и о вечности праздной,  
Как разбухшее сердце на ветхой коре.

1928

\* \* \*

Всё наскоро, не достигая цели,  
Всё начерно — так я дышу, живу,  
В чужих домах, на улице, в постели,  
Среди людей, во сне и наяву.

Как будто я у звучного колодца  
И пить хочу и медлить не могу.  
Вот, добегу — и жизнь опять начнётся  
Младенчеством на райском берегу!..

Всё начерно — ошибки да помарки.  
Всё наскоро — так я мой гнёт несу,  
Мой свет несветлый и мой жар нежаркий,  
И поздних слез бесплодную росу.

Я знал не страсть — посмертный слепок страсти,  
Я знал не день — слепые вспышки дня,  
Не счастье, нет! лишь вечный сон о счастье  
Обманывал, как женщина, меня.

Один! Один... Протягиваю руку —  
Безлюдна жизнь и комната пуста.  
Душа поёт, но я не верю звуку,  
Его в себя вобрала темнота.

В ней гложут краски, увядает пень,  
Как фонари на улицах кривых.  
И злобный бог, не знающий забвенья,  
Прощает мёртвых и казнит живых.

1930-е

## ЗАБВЕННОЕ

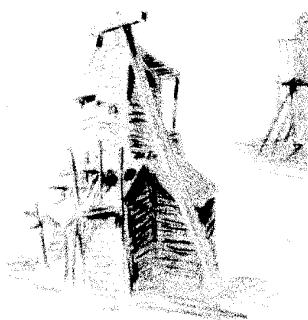
Шёпот листьев, робкий шорох  
Раздаётся за окном:  
Постоялый двор в Мещёрах  
Околдован тёмным сном.

Ель стучит в окошко веткой,  
Сонный омут бередя.  
Два конька на крыше ветхой  
Почернели от дождя.

Будто кровь из красной ранки,  
Вдоль строшил течет смола,  
И плакун-трава сквозь дранки  
Волчьей шерстью проросла.

Развелись хвощи лесные,  
Загустела лебеда,  
И наличники резные  
Покосились кто куда.

А когда-то было дело,  
Развесёлая судьба!



И гостями не скудела  
Пятистенная изба.

В этом царстве смертной лени,  
На распутье трёх дорог,  
Сколько разных поколений  
Опустевший дом сберёг!

Приходили дегтегоны  
К постоялому двору,  
Тарангасик одноконный  
Заявлялся ввечеру,

И присуха всех красавиц,  
Расторопный, молодой,  
Коробейник-ярославец  
С финикийской бородой,

И касимовский татарин,  
Отолстивший свой живот,  
И одетый, словно барин,  
Молоканский верховод,

Дроворубы, звероловы,  
Конокрады, лесники,  
Люд разбойный и торговый,  
Всех мастей, любой руки,—

Поднимались без печали  
На тесовое крыльцо,  
Улыбаясь, отвечали  
На офенское словцо,

Пили штоф единым разом,  
Заводили шум и гам  
И моргали хитрым глазом  
Понимающим дружкам.

Ну, а нынче — вышел порох.  
Кто был пьян, тот стал тверёз.  
Постоялый двор в Мещёрах  
Опустел и в землю врос.

На его порог широкий  
Не идет ни друг, ни враг,  
Лишь вороны да сороки  
Залетают на чердак.

Смолкли тульские двустволки,  
Измельчал собачий род,

И непуганные волки  
Бродят около ворот.

И хозяин зуб на зубе  
Не удержит, — занемог! —  
Если гость в медвежьей шубе  
Когтем пробует замок.

1936

## ИСКАТЕЛЬ КЛАДОВ

Und zu enden meine Schmerzen  
ging ich einen Schatz zu graben.  
Goethe\*

Покинув теплоту своей постели,  
Люблю мечтать и бредить наяву,  
Шататься без определённой цели  
По городу, в котором я живу.  
Дома лежат в угрюмом беспорядке —  
Здесь новичку дороги не найти,  
Лишь кое-где, как вспаханные грядки,  
Дымятся магистральные пути.  
Лишь кое-где, молчанье прерывая,  
Автомобильный пропоёт рожок,  
Да фейерверк последнего трамвая  
Погаснет, рассыпаясь в порошок.  
Да иногда неведомый прохожий  
Шмыгнёт к стене, от сырости дрожа,  
Да шевельнутся под бараньей кожей  
Бессонные ночные сторожа.  
На западе, как ведьма молодая,  
Вдоль неба, что закатом сожжено,  
В который раз, о будущем гадая,  
Ночь рассыпает звёзды, как пшено.  
И под струёй загадочных созвездий,  
Обрызганные млечной синевой,  
Любовники слипаются в подъезде,  
Марая спины краской клеевой.  
Они молчат. Их теплотой согрета,  
Ночная тьма сгущается быстрее.  
Им кажется: здесь слишком много света,  
Здесь слишком много звёзд и фонарей.

\* И решил, с судьбою споря:

Клад заветный я открою.

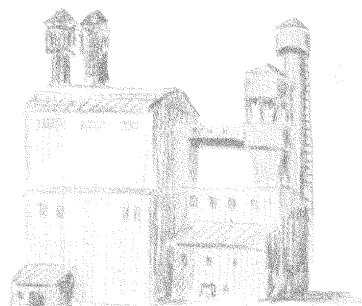
Гёте («Кладоискатель», перевод В. Бугаевского)

И все огни, изнемогая, вянут,  
Мертвеют, словно дряхлые цветы.  
Но я не буду, как всегда, обманут  
Поверхностным покровом темноты.  
Я темноту поглажу против шерсти,  
Там, где она прочней и тяжелей,  
И разом свет забьёт из всех отверстий,  
Из всех её бесчисленных щелей.  
И станет ясно: что казалось раньше  
Величественным на пути моём —  
Лишь только тень той самой великанши,  
Которую мы Вечностью зовём.  
Она живит бесформенную грудю  
Земного праха, неба и воды,  
И, как Линкей, я различаю всюду  
Её неизгладимые следы.  
Я вижу город, окруженный мраком,  
Военный лагерь на краю земли,  
Где жизнь расположила бивуаком  
Свои передовые патрули.  
Я вижу площадь, где над храмом старым  
Сомкнулись доски, как пчелиный сот,  
Где укусом и русским скипидаром  
От укреплений временных несёт.  
На перекрёстке воздух пахнет кровью  
И ждут гостей накрытые столы.  
Там жарят сталь, как вырезку воловью,  
Там варят суп из камня и смолы.  
А позади, на груди юрской глины,  
Стоит редут у крепостной стены —  
Ни дать ни взять колодезь журавлиный,  
Но страшной высоты и глубины.  
Над ним порхают детскими шарами  
Два голиафа, означая вход,  
И стенгазета в деревянной раме  
Висит в дверях, как телеграфный код.  
Здесь нет людей и света слишком мало,  
И самый воздух гуще и сырей,  
В глубокой тайне здесь берёт начало  
Густая сеть подземных галерей.  
Куда ни глянь, в чугунные корыта  
Бьёт чёрный порох из несчётных дыр,  
И вся земля тоннелями прорыта,  
Как муравейник, как швейцарский сыр.  
Дома кружатся, словно карусели:  
Счастливым путь! Ни пуха, ни пера!  
Вот сварщики на корточках присели,  
Как чумаки у жаркого костра.

И к северу от городских становищ  
Дорогою небесно-голубой  
Идёт троллейбус «Лазарь Каганович»,  
Наполненный смеющейся толпой.  
И вспомнил я листву моих акаций,  
Затерянных на берегу морском,  
Листву герба, счастливый смех вакаций  
И финский нож за школьным кушаком.  
Мне вспомнился подросток косолапый,  
Искатель кладов с фонарём в руках,  
Шагающий по дну турецкой сапы  
В потрёпанных, отцовских башмаках.  
Я вспомнил ночь в подземных коридорах,  
Сердцебиенье полной тишины  
И рыхлые породы, на которых  
Мои следы навек закреплены.  
С доверчивостью, свойственной мальчишке,  
Я подружился с этой тишиной.  
Она со мной играла в кошки-мышки  
И осыпала пылью земляной.  
Она меня, как белку, приручала,  
И я кружился в колесе времён.  
Я ни конца не видел, ни начала,  
Я видел сон, но не кончался он.  
И темнота казалась полумаской,  
Клочком тафты над чьим-то влажным ртом,  
И ноги утопали в глине вязкой,  
Скользили пальцы в месиве густом.  
Трещал огонь, и за его пределом  
Кишели тени, тьма сгущалась в газ,  
Она текла и стала твёрдым телом,  
Когда фонарь разбился и погас.  
И лишь тогда, почти лишённый зренья,  
На грани сна, на грани детских лет,  
Увидел я, как в день миротворенья,  
Беспомощный новорождённый свет.  
Но проходя своим путём размерным,  
Он розовел, он рос быстрее меня,  
Он понемногу становился верным  
Законам наступающего дня.  
Плечо к плечу мы вышли из пещеры  
Туда, где воздух тает, словно лёд,  
Где небо цвета пламени и серы  
Всё в радугах из чёрных волн встаёт.  
И мне открылся берег, оперённый  
Деревьями и пеной голубой,  
Кривые зубья солнечной короны,  
Хребты земли, к которым льнёт прибой.

И мне открылась в чистоте нетленной  
Сокровищница золотых песков —  
Единство человека и вселенной.  
Составленной из тысячи кусков.  
С тех пор ясней я видел год от году  
Завидный жребий, что достался нам,—  
Прокладывать сквозь братскую природу  
Широкий путь грядущим племенам,  
Буравить землю, пестовать избыток  
Цветущих сил, владеть судьбой людской,  
Чтоб жизнь и смерть, как драгоценный слиток,  
Сверкнули нам под ржавую киркой.

1934



### МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Лежит на нем камень тяжелый,  
Чтоб встать он из гроба не мог.  
Лермонтов

Уставя фанфары, знамёна клоня,  
Под сдержанный плач оркестровой печали,  
Льняным полотном обернули меня  
И в типы мои формалин накачали.

Меня положили на площадь Звезды,  
Средь гуликих клоак, что полны тишиною;  
Прорыли каналы для сточной воды  
И газовый светоч зажгли надо мною.

Мой прах осенили гранит и металлы,  
И тонны цветов расцвели и завяли,  
И мальчик о воинской славе мечтал,  
И девушки памятник мой рисовали.

Вот слава померкла, и стёрты следы,  
Цветы задохнулись от уличной пыли.

Меня положили на площадь Звезды,  
Чтоб мёртвое имя живые забыли.

Но я не забыл содроганье штыка,  
Который меня опрокинул на глину.  
Я помню артикул и номер полка,  
Я знаю, как надо блюсти дисциплину.

Ремень от винтовки, удавка, ярмо,  
Сгибающее обреченные шеи,  
Окопные рыжие крысы, дерьмо,  
Которое переполняло траншеи.

Обрубок войны, я коплю и храню  
Те шрамы, что не зарубцуются навек,  
Ухватки солдата, привычку к огню,  
Растрезанных мышц производственный навык.

Я знаю, кто нас посылал на убой  
В чистилище, где приучали к ударам.  
Клянусь на штыке, я доволен собой,  
Я жил не напрасно и умер не даром!

Недаром изведал я вечный покой,  
Запаянный гроб, жестковатый и узкий,—  
И так не существенно, кто я такой —  
Француз или немец, мадьяр или русский.

Когда боевые знамена взлетят  
И грянет в литавры народная злоба,  
Я — старый фантом, безыменный солдат —  
Воскресну из мертвых и выйду из гроба.

Я снова пушусь по реке кровавой,  
В шеренгах друзей и во вражеском стане,  
Везде, где пройдут за последней войной  
Последние волны последних восстаний.

И, вырвавшись на обнаженный простор,  
Где мертвые рубятся рядом с живыми,  
В сиянии солнц, как забытый костёр  
Растет мое неизвестное имя!

1932

\* \* \*

В сумерках едва краснеет  
Лодка прикованная к столбу.  
Упрямый рыбак дрожит от холода.



Везде накурено, темно,  
И только сырая вода сохранила  
Последние отсветы дня.

Две девочки молча сидят на заборе.  
В поселковых дачах зажглись огоньки.  
Осенняя ночь, словно Чёрное Море,  
Кружится и воет в пустынных полях.  
Хотя б до рассвета она замолчала...  
И красная лодка всю ночь напролёт  
Скрипит и мотается взад и вперёд,  
И трётся бортами о сваи причала,  
Смеётся и плачет всю ночь напролёт.

1928

\* \* \*

В бессчётный раз, а может быть — в  
последний,  
То ластясь, то ругая поделом,  
Ко мне приходят марева и бредни  
Сумерничать за письменным столом.

Неужто недодуман, недосказан  
Хаос пристрастий, мыслей и речей,  
И бедный чорт опять писать обязан —  
Правдивей вдвое, вдвое горячей?

А жизнь цветёт; ей на смех бормот жалкий:  
То мысль блажна, то форма не под стать...  
Нет! видно, легче выстрелить из палки,  
Чем вынуть сердце, душу опростать!

Как развернуть повествованье это?  
Его неймёт ни уговор, ни злость, —  
Проклятая застенчивость поэта  
Застряла в горле, словно рыба кость.

ок. 1930

\* \* \*

Долго ли мне ещё скитаться,  
Пробавляясь тёплым нарзаном?  
Много ли мне ещё осталось  
Места на бульварных скамейках? —  
Девочки становятся старше,  
Мальчики шалеют от пива,  
Музыка играет Шопена  
И кавалерийские вальсы.

1928

\* \* \*

Метнулись тени по воде, пустеет вечер неживой,  
Фарфоровые небеса полны беззвездной синевой;  
Над затуманившейся головой зияют небеса  
и вспыхивают у ворот невидимые голоса,  
Шатаются по мостовой, не зная сами почему,  
И сделавши под козырёк, проваливаются во тьму.

Ветер бьет в лицо,  
Треплет пальцецо,  
Ветви гнет дугой,  
Топают ногой.  
Улицы метёт  
И растёт... растёт...

1928



\* \* \*

Ты меня не понимаешь, Маргарита!  
Я теперь уже не мальчик безбородый,  
Я покинул это старое корыто,  
Больше плавать я на нём не в состояньи!  
Я совсем не поступаю безрассудно —  
Жизнь докажет правоту мою на деле:  
Пусть меня повесят, если судно  
Не развалится на будущей неделе!..

1928

\* \* \*

Незабываемые сумерки, забрызганные светом,  
Обвалы чёрного дождя, удары каменного ветра;  
Я знаю горестную молодость погибшего  
бульвара,  
Я вижу белокурых девушек, гуляющих  
в обнимку,  
Я слышу тихие шлепки, безжалостные поцелуи,  
Которыми они тайком обмениваются друг  
с дружкой.

1928

\* \* \*

Я странный мальчик, молодой прохожий,  
Карман мой пуст, и речь моя темна.  
Я только плод, покрытый смуглой кожей,  
Хранящий родовые семена.

Простой сезонник, временный рабочий,  
Я выполняю заданный урок,  
День отбатрачу, но к началу ночи  
Расчёт беру, — и снова за порог.

Ночь проведу под прошлогодним стогом,  
И снова в путь, едва забрезжит день,  
По бесконечным северным дорогам,  
Вдоль безымянных сёл и деревень.

Иду один, по сторонам глаза,  
Пою стихи, чтоб было веселей;  
От солнца порыжелла бумага  
Косоворотки старенькой моей.

1930



\* \* \*

Каждую ночь за дощатым забором  
Море мычит, как фабричный гудок.  
Вытянув шею, тряся глянцевитой губой,  
Раздувая глаза, слепые от бешенства,  
Бьётся оно о края кристаллической корки,  
Топчет стекло и вминает в прибор  
Вязкие пряди смолы и матросской махорки.

Каждую ночь повторяется та же история:  
Шаровые мельницы глухо скрежещут во мраке,  
Золото звёзд оседает на ругутные волны,  
И плывут корабли неизвестно куда...

1928

\* \* \*

Брожу в лесу, угрюмо обрывая  
Увядший лист, опавшую траву.  
Куда ни глянь — земля полуживая,  
Простуженная, бредит наяву.

Её знобит, она кричит: — Не надо!..  
Но смерть близка. Последнее тепло  
Истаивает в воздухе, и стадо,  
Как листопад, лужайки замело.

Чем дальше в лес, тем горше и суровой  
Меня встречает облетевший дуб,  
Тем глубже тьма, тем жалобней коровий  
Тяжёлый взор, линияльный бархат губ.

Тем явственней приметы увяданья,  
Когда, остановившись у куста,  
Досужий ветер молвит: — До свиданья,  
До лучших дней!.. И снова немота.

Не мне согнуть, не мне переупрямить  
Уставшее от жизни вещество, —  
Но уходя, я вырежу на память  
Изображенье сердца моего.

Столетний дуб, что видел нашу встречу,  
Среди других деревьев изберу  
И навсегда клеймом любви отмечу  
Изрытую морщинами кору.

1930-е

## ВОСХОЖДЕНИЕ НА БЕЗЫМЯННУЮ ГОРУ

Горы уступами тянутся вверх,  
Ручьи падают с камня на камень вниз.  
Облака висят между небом и землёй,  
Как частый бредень для ловли солнечных рыб.

Вброд пересекаю шёлковые ручьи;  
Одолеваю подъёмы, вот-вот подберусь к облакам;  
Как рыба на суше, разеваю рот;  
Сердце своё с трудом по горам волоку.

Слепну от света, барахтаюсь в облаках,  
Кашляю, словно в горле рыба кость;  
Горы дымятся — глотаю дым;  
Слышу ропот ручьёв, но не вижу их.

Свежей рыбой пахнет ледник.  
Горное солнце похоже на снежный ком.  
Узкий ручей пробивает насквозь  
Белую плоть облаков, висящих в тени.

Горы кончились — нет пути.  
Ручьи достигли моря — дальше нельзя.  
У ног моих рваные облака.  
Пятнистая рыба скачет в синей воде.

1928

\* \* \*

Я лежу в Ардоне на скамейке,  
Положив под голову портфель,  
Терпеливо ожидаю чуда —  
Кто б скорей меня увёз отсюда.

Тени пролетают на машинах  
Из Орджоникидзе в Алагир,  
Буйволы бредут путём забытым,  
Звёзды мчатся по своим орбитам...

Я ж лежу, счастливый, одинокий,  
В необъятной темноте ночной,  
Сам себя своим дыханьем грею,  
Тихо поворачиваю шею,

Бережно вытягиваю ноги,  
Складываю руки на груди.  
Смутных жалоб и призывов полный,  
Как бутылка, брошенная в волны.

1928–1930



\* \* \*

...Одна лишь уцелела.  
Три другие,  
Изъеденные яростным снованьем  
Смычка молниеносного,  
заныли  
И лопнули.  
Одна струна осталась,  
Последняя, звучащая струна

И плачет на-голос...

Кипшка баранья!

Ты сетуешь, не понимая смысла,  
Не разумея неисповедимой,  
Бессмертной воли Мастера, ведущей  
Тебя на смерть.

А смерть — не за горами!..

Ты захлебнёшься канифольной пылью  
И, повинувшись двум различным силам:  
Слепому натяжению колка  
И человеческой воле, воплощённой  
В мелькающем смычке, —

всем телом бедным

Заговоришь.

Всем существом своим

На явном языке заговоришь

И наконец умрёшь,

повиснешь рядом

С подругами.

Умрёшь и онемеешь...

А Мастер кинет скрипку и смычок.  
Он устремит колющий взгляд на небо,  
И вспыхнет небо тысячами звуков;  
Глаза опустит — небо замолчит.  
Он сгорбится, поджарый, словно скрипка,  
Легко взмахнёт рукой смычкоподобной,  
И отзовутся гулкие долины,  
Метнутся громы от холма к холму.  
Он подойдёт к реке — испить водицы.  
И прозвенят стеклянным звоном волны.  
Свернёт с тропинки, лугом зашагает, —  
Начнут цветы и травы гомонить.  
И тьмы и тьмы крылатых музыкантов,  
И свистуны лесные, пёстрый сброд  
Пичуг разноголосых,  
И зверьё,  
Ютящееся в чащах непролазных,  
И сами чащи,  
Папоротник тёмный,  
Кустарники и грузные деревья,  
Болота, окаймлённые осокой,  
Рудые скалы, синие озёра,  
Земля и камень, воздух и вода,  
Людской тоске ответят.

Сам же Мастер

Не вымолвит ни слова.

1938

\* \* \*

Спиной к движенью, лежу неподвижно,—  
Один из многих, старый, разутый,  
На верхней полке лежу неподвижно,  
Как чемодан артиста эстрады.

Гляжу в окно, опираясь на локоть,  
И жизнь течёт, как песок между пальцев:  
Столбы, мосты, бараки и склады,  
Палатки дорожно-ремонтной бригады...

И всюду я,— молодой, весёлый,  
Шагаю по шпалам, живу, работаю,  
Пью с рыбаками тёплую водку,  
Торгую в сельском кооперативе,

Детей обучаю правилам счёта,  
С ружьём за спиной иду на медведя,  
И летней ночью в лесничьей сторожке  
Целую дрожащую фельдшерицу.

1935

\* \* \*

Давид проснулся на чужой кровати,  
Схватил бумажник, деньги сосчитал  
И мигом успокоился;

подбросил

Худые руки, словно пару вёсел,  
Согнул дугою спину, сколько мог,  
Пока хребет не хрустнул, как замок,  
Потёр глаза и поглядел, зевая,  
На женщину, которая давно,  
Раскинув белокурое руно,  
Лежала молча, словно неживая,  
Но не спала...

В окно ломился гром

И, выругавшись, уходил обратно.  
Казалась лампа мыльным пузырьём,  
Несущим пыль и радужные пятна.  
И женщина смотрела в потолок,  
Высокий, чистый, без щелей и трещин.  
Он был почти незрим. Он был далёк,  
Как флер д'оранж, что с детства ей обещан,  
Как крахмаленная простыня,  
Хранимая до свадебного дня.

Меж тем постель наскучила Давиду.  
Его стегала злоба, словно кнут.

Он вытащил свои часы, для виду,  
Воскликнул: — Чёрт!.. — оделся в пять минут.  
Скорей. Скорей... Он пнул ногою кресло,  
Застёгиваясь, уронил бокал,  
Одеколоном рот прополоскал  
И стал прощаться.

В нём опять воскресло  
Вчерашнее сознание нищеты,  
Бездомности, бездетности, сиротства...  
Он вглядывался в скромные черты  
Её лица, ища приметы сходства  
С другим лицом...

.....  
.....  
Мы все такие: путаем и спорим,  
Судьба же дарит нам озноб и зной,  
И бесполезную, как дождь над морем,  
Любовь конторщицы хмельной.

1932

#### ВОСПОМИНАНИЕ О ПОЕЗДКЕ В ФИЛИ

Я был в незабвенных Филях,  
Где воздух лежит на полях  
Бок-о-бок с большими ромашками.  
Темнело.  
Горькая тишина окружала меня.  
И с каждым ударом часов  
Грядя отдалённых лесов  
Сжималась и падала камнем  
На дно неподвижного неба.

А там, в заколдованном парке,  
Рыдает виола да гамба  
И пары плывут, как байдарки,  
Закинув прекрасные головы.

Над ними качается ветер,  
Деревья костры подождгли,  
И вязкая патока ночи,  
Дымясь, заливают Фили.

Трамвай пробирается ночью  
По старой дороге лесной,  
Объездчики ближних колхозов  
Сошлись под столетней сосной,  
Скрипят заводские ворота,  
И, брызнув пунцовой листвой,



Двойная звезда самолёта  
Жужжит над моей головой.

Один на крутом берегу  
Стою между прошлым и будущим.  
Мне пары не надо. Я жив,  
Я счастлив таким одиночеством.

Стою, добровольный привратник,  
Среди холодеющих трав,  
Дыханье пространства и времени  
В огромное сердце вобрав.

1936

### ВЕЧЕРНЯЯ ХРОНИКА

С известных пор мой дом осиротел:  
Гармошка и гитара — не у дел,  
Висят костюмы в платяном шкапу,—  
Я разлюбил веселье и толпу.  
Мне не приносят завтрака в кровать,  
Меня не приглашают танцевать,  
Я разучился верить и любить;  
Не понимаю: как теперь мне быть?

Настала ночь, а я, как перст, один,—  
И тошно мне от собственных картин.  
Не усидеть за письменным столом,  
Томительно скучая о былом...  
Взмывает кверху папиросный чад,  
На полках книги разные торчат.  
Писать стихи? Но это всё — не то!  
И я снимаю с вешалки пальто.

Купив цветок на Земляном Валу,  
Я вдруг остановился на углу:  
Куда держать? — Знакомых растерял,—  
Поэты — ненадёжный матерьял!  
И вот стою, упрямый ротозей,  
Без денег, без любовниц, без друзей...  
Передо мной открыты все пути,  
А я ни с места, словно взаперти.

Не может быть, чтоб в городе таком  
Твою хандру считали пустяком!  
Доверься лишь заботливой судьбе  
И ты найдёшь подругу по себе.  
Она умна, добра и молода,

Она тебя не бросит никогда,  
Ищи её, как заповедный клад,  
И жизнь твоя опять пойдёт на лад.

Но, прислонясь к фонарному столбу,  
Я темя нерешительно скребу:  
Передо мной открыты все пути,  
Но я не знаю, где её найти!  
Возможно, что на площади Страстной  
Она играет пряжкой поясной,  
И ждёт меня, глядит во мрак ночной,  
И хочет познакомиться со мной...

Она меня увидела во сне,  
Она всю жизнь мечтала обо мне,  
Ей нравятся мои глаза и рот,  
Ее интересуется самолёт,  
Движения созвездий и веков,  
Камилл Коро и Пушкин и Лесков,  
Поездки в отдалённые края,  
Короче, — всё, чем увлекаюсь я.

Ну что нам стоит — встретиться в саду  
И мигом объяснить на ходу,  
Присесть на деревянную скамью  
И в тот же вечер основать семью?  
Любя друг друга с каждым днем сильнее,  
Полсотни лет мы прожили бы с ней  
И умерли в один и тот же час,  
И внуки бы похоронили нас.

В тени берёз, на Ленинских Горах,  
Найдёт покой наш бездыханный прах...  
Там ландышами пахнет тишина  
И вся Москва отчетливо видна.  
Она полнеба заняла собой,  
Её дыханье, как морской прибой,  
Она гудит, как разъярённый шмель, —  
И сладок мне мой одинокий хмель!

Шагай, поэт, по улице кривой  
И будь доволен матушкой-Москвой!  
Она тебя не выдаст и не съест,  
У ней в запасе множество невест.  
Великий город на семи холмах  
Тебя не кинет, бедного, впотьмах,  
И ты счастливый вытянешь билет —  
Сегодня, завтра, через десять лет...

декабрь 1935

## ЛЕСОРУБ

Коню поклажа тяжела  
И он бредет едва-едва.  
Лежит студёная зола,  
А под золой растёт трава.

Приходит старый лесоруб,  
Валит сосну в последний раз —  
Поёт, не разжимая губ,  
Глядит, не поднимая глаз.

Какую песню он поёт?  
В какой руке зажат топор?  
А на деревьях снег и лёд,  
И на снегу горит костер.

Но лесоруб во власти сна,  
Ему и жизнь не дорога.  
Безмолвно падает сосна,  
Вздыхая вечные снега.

Старик садится у окна,  
Похлёбку чёрную варит,  
Он только смотрит на меня  
И ничего не говорит.

Он только смотрит на меня,  
Зажав топор в худых руках.  
Попона моего коня  
Висит на старческих плечах.

Давно пора проститься мне,  
А он не говорит со мной,  
И трещлет ветер на спине  
Лохмотья кожи ледяной.

Кружится ветер полосой,  
Метёт по лесу дым и чад,  
А лесоруб идет босой  
Туда, где топоры стучат.

Стучат, как дятлы, топоры,  
И вижу я — костры во мгле,  
Большие белые костры  
Горят на каменной земле.

1932

\* \* \*

Пред рассветом, улицей безлюдной  
Ты идешь сквозь тишину и тьму.  
К тридцати годам уже не трудно  
По ночам шататься одному.

Ты идешь — неведомый прохожий,  
В маскарадном блеске пиджака;  
Над тобой, как мёрзлые рогожи,  
Низко провисают облака.

Нет ни человека, ни трамвая,  
Даже твердь небесная мертва!  
И сжимает спазма горловая  
Все твои наивные слова.

О, не верь тоске, лишённой речи,  
И молчанью ночи прекословь!  
Есть ещё негаданные встречи,  
Есть ещё и дружба и любовь!

Где всего тяжеле затиханье,  
Где хандра особенно сильна—  
Ты почувешь жаркое дыханье  
Из полуподвального окна.

Под железной вывеской пекарни —  
Вечный человеческий уют:  
Старики и молодые парни  
Тесто месят, песенки поют.

Нет на свете ничего дороже,  
Чем работа за чужим окном,  
Клубы дыма, волны тёплой дрожи  
В скорбном одиночестве ночном.

1935



## ХРЕБТЫ

Высоко — над нами — над волнами,—  
Как заря над черными скалами,  
Веет знамя — Интернационал!  
Блок

День ото дня, час от часу, тяжеле  
Становятся деревья. День за днем  
Растут дубы, грубеет сила елей  
И крепнет кедр на камне ледяном.

В глухих горах, среди орлиной мощи,  
Где в тучах зреет дождевой улов,  
Раскинулись нетронутые рощи,  
Живое море листьев и стволов.

Безмолвное святилище. Зелёный  
Воздвигнутый среди роскошных трав  
Обширный храм, где жирные колонны  
Поддерживают общий архитрав.

Не ведая в твердыне заустенья,  
Каким богам они посвящены,  
Здесь достигают гордые растенья  
Предельной высоты и толщины.

Здесь первенцы разборчивой природы,  
Отверженные пасынки земли,  
Беспольный хвоц и мох белобородый  
Последнее убежище нашли.

Убежище от солнца и метелей,  
Тенистый рай у снеговой черты,  
Где с каждым днём становится тяжеле  
Земля, образовавшая хребты.

Где с каждым днём становится угрюмей  
Страна хребтов, где с каждым новым днём  
Старее храм растений и раздумий,  
И тайный бог, что обитает в нём,

Закрыв глаза, смакует воздух дикий  
И, позабыв о листьях и цветах,  
В непроходимых джунглях ежевики  
Блаженно спит с улыбкой на устах.

Он сладко спит, не чувствуя, не зная,  
Что сны осуществились наяву.

Вокруг него кружится жизнь лесная,  
Ползут ужи, олени мнут траву,

Стоит козёл среди суровой чащи,  
И над журчаньем серного ключа,  
Над рощами, как метеор блестящий,  
Пернатый сброд проносится, крича.

Седой кабан, производитель вдовый,  
Скучающий среди лесных дорог,  
Легко несёт свой торс многопудовый  
В кустарники, где поживает бог.

Живой бурдюк, налитый жёлчной кровью,  
Нечаянно забредший в райский сад,  
Он медленно подходит к изголовью  
И нюхает... Потом назад, назад!

Зажмурившись, он добежал до края  
Сухой скалы и вырос на ветру.  
А там, внизу, коварно замирая,  
Ведет поток азартную игру.

Вода течёт, меняет счёт на нечет,  
Волнуется и — подытожив счёт,  
Дубовые колоды рвёт и мечет  
И камешки вдоль берегов влечёт.

И презирая мстительность ущелий,  
Наполненный костлявой лебедой,  
Безумный мост, как детские качели,  
Зажмурившись, метнулся над водой.

В последний раз сошлись у переправы  
На братский пир волшебные костры,  
Чадят котлы, дымок взлетает бравый,  
Как юбки, развеваются шатры.

Куда ни глянь — загадочные дали  
Нырют в тишину и темноту...  
И табор спит. Египтяне устали,  
Им больше кочевать не вмоготу.

Глотая дым, лаская камень старый,  
Они лежат на берегу реки.  
Едва бубнят поджарые гитары,  
И кипяток пускает пузырьки.

Невдалеке от этого привала  
Я прикорнул на связке тростника.  
Я бодрствовал. Меня обуревала  
Надменная цыганская тоска.

В расселинах молчит ночная влага  
И падает по капле с высоты.  
Передо мной, как смятая бумага,  
Лежат непримиримые хребты.

Здесь я скитался, ревностью казнимый,  
Но страсть моя брела за мной везде.  
Во всех ручьях я видел образ мнимый,  
Повторенный в безжалостной воде.

Мой каждый стон удваивался эхом,  
И, сонное достоинство храня,  
Ехидный лес немилосердным смехом,  
Как нищего, преследовал меня.

В разгаре дня, когда потели горы  
И зной гудел на сотни голосов,  
Я видел встречу Фауны и Флоры  
На рубеже оврагов и лесов.

Я созерцал столетнее молчанье  
Лесных озер, я слушал птичий гам  
И ликование, бляенье, мычанье  
Оленьих стад, бегущих по холмам.

Но я устал в единоборстве праздном  
С самим собой. Дорога тяжела.  
Она меня путем винтообразным  
На самую вершину привела.

Там я упал, и ночь меня застала,  
Свежая пыль на мой убогий кров,  
Где я в слезах лежал у пьедестала,  
Пред алтарем обугленных хребтов.

Скудеет жизнь, и сердце увядает,  
Молчат хребты, деревья пьют росу,  
И в полусне я слышу, как блуждает  
Невидимая музыка в лесу.

Вот замерла, вот зазвучала снова,  
Играя в прятки с грузной тишиной...  
Как при нажатии яблока глазного,  
Вселенная двоится предо мной.

Пускай хребты не удостоят взглядом,  
Пускай в костре остывшая зола —  
Я песню ждал — она со мною рядом,  
Я ждал зарю — так вот она пришла!

И лучшего душа моя не знала,  
Взлетевшая с орлами наравне,  
Чем эти звуки Интернационала,  
Сквозь бурелом дошедшие ко мне.

А музыка светлеет понемногу,  
Смеется, плачет, за руку берёт,  
Выводит на проезжую дорогу,  
Зовёт меня, и я иду вперёд.

Там копошатся рваные палатки,  
Рыдают ивы, прыгает трава,  
И женский голос, молодой и сладкий,  
Выводит незабвенные слова.

Она поёт, и солнцем разогретый  
Дымится луг, и с четырёх сторон,  
Как молнией, как световой ракетой,  
Весь окоём мгновенно озарён.

Кричат дрозды, о чём не знают сами,  
В седых морях бесчинствует вода,  
Плывут суда под всеми парусами,  
И, как пшеница, всходят города.

Охотники выслеживают зверя,  
Под облаками самолёт снуёт...  
Я вновь люблю, всему по-детски веря,  
И слушаю, как женщина поет.

И надо мною орлиными кругами,  
Невнятные обыденной мечте,  
Увенчанные вечными снегами,  
Парят хребты в небесной пустоте.

1933–1934

## ПОСВЯЩЕНИЕ

Я научился добрый суп варить,  
из крупной соли, в каменном горшке...  
Арсений Тарковский

В таком переулке, что не разобрать  
Съедобное именованье, ты варишь



Испытанный суп, мой весёлый собрат,  
Мой добрый, мой нелицемерный товарищ!  
Давай-ка присядем с тобой на кровать  
И станем горячую снедь смаковать,  
Пока накрывает хозяйка, и лампа  
К шагам твоего пятистопного ямба  
Прислушивается, пока, умилен,  
Пускается в слезы фламандский лимон.  
Пока, равновесие дыма нарушив,  
Табачным обилием упоена,  
Одетая розовым заревом кружев,  
Откроется в ночь крестовина окна...

Но бледные звёзды морозны и гулки,  
И длятся запутанные переулки.  
Ты медлишь, и пусть меня чёрт поберёт —  
Я где-то торчу у Петровских ворот!  
Мне трудно дышать в этой клетке оконной,  
Мне трудно писать в этой тряске вагонной,  
В моем запустеньи, в изгнании моем  
Мне кажется — я холостяцкая ветошь,  
Я полуголодный, бензиновый светоч,  
Коптилка небес и пустой водоём.  
Мне даже работа моя надоела —  
Дорваться бы до настоящего дела,  
Сломать свою жизнь и пойти на завод!  
Ты знаешь? — когда тебя утром зовёт  
Гудок, это неопишимо дико,  
До сердцебиенья, до нервного тика.  
Подумаю — постельная тяжесть. И вот  
Настойчивый голос. Ты нужен, ты должен  
Проснуться, и как бы ты ни был ничтожен,  
Ты нужен. Ты должен проснуться. Вставай.  
Шныряет по улицам первый трамвай.  
И этот настойчивый голос: ты нужен.

Ты должен проснуться! Мой добрый собрат,  
Ты ладишь с Парнасом, ты с музами дружен,  
В таком переулке, что не разобрать  
Съедобное именованье, на ужин  
Ты варишь испытанный суп, и луна  
Дымящимся варевом упоена...

Я только что понял, что дело не в этом,  
Я тоже на паспорте значусь поэтом,  
Но дело не в этом, и звёздная ночь,  
И всё, что я выдумал звёздною ночью  
(Да будь она трижды изорвана в клочья!),  
Отверженному не сумеет помочь!

Мой нелицемерный товарищ, послушай,  
Мне кажется, это бессмысленный случай,  
Нелепые бредни — ну как же я мог  
Закрывать свою дверь на потайный замок,  
Ведь я обожаю огромный, растущий,  
Наполненный запахом влажной земли,  
Вмещающий звёзды, вмещающий тучи,  
Зелёные материки, корабли,  
Хранящий всегда неизменный порядок,  
Тропическое оперение радуг,  
Плавильные печи, бряцание лир,  
Болезни, полки металлических бестий,  
Одетый морозом, в железе, в асбесте,  
Мой неповторимый, единственный Мир,  
Твой неповторимый, единственный Мир!..

Ты знаешь, коллега, насколько опасен  
Изменчивый труд составителя басен.  
Я только — до дна — раскопаю стихи,  
Где корни словесные девственно наги,  
Плохие чернила возьми да стеки  
На кончик пера — и пятно на бумаге!  
Потом эти рифмы! Ты скажешь — пустяк.  
Но помни, на литературных путях  
Все средства годятся. Для стихотворенья  
Почувствуй себя на публичной арене,  
Сломи свою гордость — на черта она!  
А точная рифма для строчки важна.  
Прими ж эту сказку. Когда-нибудь снова  
Для вольного братства и крепкого слова  
Мы, встретившись вместе под кровом твоим,  
По этому поводу поговорим.

1931

\* \* \*

Настало время воли зимней,  
Когда душе преграды нет  
И во сто крат гостеприимней  
Уют жилья, тепло и свет.

Леса уснули беспробудно,  
Дороги вымерли навек,  
Лишь небу, как всегда, нетрудно  
Ронять на землю снег да снег.

Гляжу из-за оконной рамы  
На тяжкий путь, пройденный мной.

Ухабы, рытвины и ямы  
Покрыты ровной пеленой.

И сквозь гранённые кристаллы,  
Запорошённые пургой,  
Не отличает взор усталый  
Одну утрату от другой.

Кто б ни был ты, мой друг последний,  
Мы встретимся с тобою здесь.  
Страхни морозный прах в передней,  
Пальто на вешалку повесь.

Снежинки падают. Не тронь их.  
Мы будем в сумерках, вдвоём,  
По отпечаткам лап вороньих  
Гадать о будущем своём.

1935



\* \* \*

За дверью, заколоченной гвоздями,  
Живёт моё обидчивое детство.  
Оно, что год, становится упрямей,  
Ему постыло всякое соседство.

Оно живёт в полуподвальной келье,  
Как злая вековуша-недотрога,  
И никогда ни горе, ни веселье  
Не преступают мшистого порога.

Никто его не слышит и не видит,  
Ему везде мерещатся обманы:  
А вдруг большая девочка обидит?  
Подымет на смех мальчуган румяный?

А я старею на мирской тропинке,  
Среди людей толкусь по белу свету  
И отвечаю жизни без запинки,  
Как подобает русскому поэту.



Тяжело в неприсутственный день холостому.  
Захлебнёшься до смерти холодной тоской,  
Сунешь саблю подмышку и выйдешь из дому  
И — давай колобродить в толпе городской.

На базаре торгуют веселые вдовы,  
Из шашлычных кухонный доносится чад,  
Лимонарщики хвалят напиток фруктовый  
И лезгинские кузни звенят и стучат.

Не зайду к армянину, в саду не присяду  
И румяными девками пренебрегу.  
Я над здешней рекой забываю досаду  
И люблю на пустынном стоять берегу.

Одинокий как перст молодой офицерик,  
В белом кителе, в белой фуражке стою  
И швыряю вишневые косточки в Терек,  
Проклиная бесславную долю свою.

Я давно это место держу на примете.  
Не отсюда ль, коня повернув на отлёт,  
Горбоносый джигит в полинялом бешмете  
Самодельную пулю мне в сердце пошлёт?

Я смеясь призываю черкесскую пулю,  
Я стою на часах у сиротской судьбы,  
Сдвинув набок фуражку, я смерть караулю,  
Как живая мишень для учебной стрельбы.

Я ищу утешенья в минутной свободе.  
Знаю — родины мне не видать никогда.  
Нас везде поджидают, с курками на взводе,  
Ингуши, осетины, чечня, кабарда...

В одичалых селеньях, в угрюмых аулах,  
Что парят на границе небес и земли,  
За саженными стенами башен сутулых,  
Словно ангелы смерти они залегли.

21 октября 1934

\* \* \*

Как скучно мне влачить безлюбую,  
Безоблачную жизнь мою!  
Я не жую краюху грубую,  
Я воду ржавую не пью.

Я не дружу с ворами ловкими —  
Решёток нет, постель мягка...  
И малярными ночёвками  
Не тещу сердца рыбака.

О, награди меня утратою,  
Лиши меня свободы вновь,  
Пошли мне вновь любовь проклятую,  
Благословенную любовь!

Гони меня тропой нехоженной,  
Где всё на свете — нипочём,  
Стегай наотмашь плетью кожаной,  
Хлещи пастушеским бичом!

Пусть обездоленный, ограбленный,  
Смерть повстречавший наяву,  
Я повалюсь под старой яблоней  
На прошлогоднюю траву,

И там, дыша землёй родимою,  
Не подымая сонных глаз,  
Сквозь сеть ветвей, сквозь Майю мнимую,  
Увижу небо в первый раз.

3 сентября 1940

\* \* \*

В вагоне надымлено. Медная мелочь  
Привычно сиротствует в брючных карманах,  
И тени деревьев, как поздние слёзы,  
Бегут по щекам утомлённых молочниц.

Молчат пассажиры на жёстких скамейках,  
Мужчины мечтают, а женщины дремлют.

Мне каждый мужчина годится в отцы,  
Годится мне каждая женщина в матери.

За окнами небо чернеет сурово,—  
И люди, наскучив своей тишиной,

Заводят беседу, и каждое слово  
Могло быть заведомо сказано мной.  
И небо волнуется справа и слева,  
Бесшумно плывёт за дубравой дубрава,  
И синее солнце, как спелая слива,  
В студёное озеро кануть готово.

Я мог бы ребёнком гулять в этих рощах  
И розовых бабочек шапкой ловить.

Я мог бы учиться на медные деньги,  
Я мог бы родиться в семье землемера,  
В любом городишке, в деревне любой,  
В том маленьком доме с кирпичной трубой,  
Что тает, как сахар, в воде голубой.

1935

\* \* \*

Утоли мою жажду, лесная река,  
Напой меня досыта нежной водой!  
Я тебя умоляю, не медли, пока  
Отражается месяц в тебе молодой.

Отвечает река: — Если хочешь, испей,  
Наклонись и отведай студеной волны,  
Отвори водоёмы лесов и степей,  
Кровеносные жилы живой тишины.

Одинокая вышь затрубила вдали,  
И притихла. Вокруг ни души, ни огня,—  
И глубокая ночь, от небес до земли,  
Раздается по швам, не вмещая меня...

1936

\* \* \*

Четвёртый час. Рассвет взъерошил кровлю  
И гулко постучал в окно:  
— Протри глаза! Тебе пора на ловлю,  
Пока в лесу ещё темно.  
Пока трава пропахла влажной псиной,  
Пока не высохла роса,  
И тянет застоялой древесиной  
От мельничного колеса.

Я тороплюсь, расталкиваю ивы,  
Вдоль берега бегу бегом,  
И вот уже, смущённый и счастливый,  
Стою над смутным бочагом.  
Передо мной, меняя облик шаткий,  
Туманы бродят у земли,

Ворчит камыш, и на тройной рогатке  
Лежат тяжелые комли.

Среди других, что вырубают чащи,  
Я только жадный рыболов.  
Я лишь охотник, истово следящий  
За тенью красок, тенью слов.  
Но после ловли, досыта натружен,  
Я вновь иду сквозь лес и ночь,  
И счастлив я, когда могу на ужин  
Добычу в лагерь приволочь!

1930-е

\* \* \*

Льёт грибной. Не образумлюсь. Лягу.  
С головой накроюсь.  
Тёмный лес,  
Словно губка, всасывает влагу,  
В рост идет, накапливает вес.

Устремляясь по диагонали,  
Под углом к природе, ко всему,  
Льёт грибной.  
Давно коров пригнали.  
Сплетничают сумерки в доме.

По старинке, огонек вздувают,  
Истово играют в дурачки,  
Загораются и забывают  
То иголку с ниткой, то очки.

А когда стихают, увядая,  
Старые часы, в последний миг  
Тихо входит Полночь молодая  
И ко мне под одеяло — прыг!

Влажная, кидается с размаху,  
Яблоком антоновским дарит,  
Оправляет смятую рубаху  
И рассказывает, говорит,

Заикается, слова глотает,  
Пальцами проводит по лицу, —  
А грибной, как бабочка, летает,  
Осыпая мокрую пыльцу.

1936



\* \* \*

От юных лет, уженье на заре  
Души моей любимая забава...  
Заросший пруд, осока в серебре  
И наглухо замкнутая купава.

Еще горит последняя звезда  
Над влажной ширью заливного луга,  
И две стихии — воздух и вода,  
Покачиваясь, трутся друг о друга.

Ещё молчат гречишные поля,  
Точа по капле аромат медовый,  
И два пространства — небо и земля,  
Как женщины, обнять меня готовы.

Редеет ночь. Пастух зовет коров.  
И мнится мне — я облачко над бездной,  
Я поплавок на грани двух миров,  
Кристалл земли в растворе ночи звездной.

1930-е

\* \* \*

Облетела листва. Скоро выпадет мелкий  
Первый снег на железнодорожные стрелки,  
В желобах и канавах отыщется приют;

Скоро выпадет снег, словно хлебные крошки,  
На горбатую кровлю кирпичной сторожки,  
Где голодные ветры его расклюют.

Что ж подарит мне юность моя на прощанье? —  
Буферов дребезжанье. составов качанье,  
Станционных буфетов надтреснутый звон?

Или виденный мной сквозь ребристые шторы  
До полушки ограбленный мир, на который,  
Не дыша, надвигается зимний сезон?

За Днестром, на далёком степном перегоне,  
Я играл на рояле в товарном вагоне,  
И наверно, с того злополучного дня

Полюбил воспевать городские пейзажи,  
Человеческий быт и промышленность, даже  
Если нет никого, кто бы слушал меня.

И теперь я уже не желаю возврата,  
Ни жены-подхалимки, ни друга, ни брата.  
Я вмещаюсь в толпу незнакомых ребят,

Растворюсь, разольюсь по заводам, по сёлам,  
Стану всюду желанным и вечно весёлым,  
Изменюсь навсегда, от макушки до пят.

Скоро спрячется горе под первой порошей;  
Я отправлюсь в какой-нибудь город хороший,  
Неизвестно за что приглянувшийся мне.

И под сдавленный шёпот бездомной метели  
Проводник разнесёт пассажирам постели,  
Папироску зажжёт, — и пойдут, как во сне,

Семафоры и водонапорные башни,  
Рандеву на площадке, дорожные пашни  
У глухого окна с непрозрачным стеклом.

Молодая соседка скользнёт втихомолку,  
Заберётся на самую верхнюю полку,  
Обдавая меня материнским теплом.

1929–1930

\* \* \*

День догорел за лесами кудрявыми,  
Ветер вечерний в ракигах шумит;  
Липовым цветнем, увядшими травами  
Пахнет невнятно, и сердце щемит.

В кубовом небе Большая Медведица  
Семь поминальных костров разожгла.  
Всё потемнело — одна еще светится  
Тусклой латуню волна от весла.

Будто слеза по утраченной матери,  
Искра звезды в обмелевшей Оке...  
Вон, с фонарями застыл на фарватере  
Бакенщик сонный в худом челноке.

Вон, в деревнях огоньки замаячили,  
Тени метнулись по сизой горе:  
Только проснулись мы, только мы начали,  
Детство моё. а уж ночь на дворе!

Сумерки летние, лживое марево!  
Что же вы нынче напомнили мне  
Этого смуглого, этого карего  
Мальчика с длинным ножом на ремне?

Что же вы нынче напомнили наново  
В раннюю ночь над туманной рекой  
Этого дикого мальчика странного  
С жадной душой и тяжелой рукой?

Разве затем я подслушивал иволгол,  
Выбрал убежищем здешний лесок,  
Некогда сердце доверчиво выволокл,  
Словно челнок, на прибрежный песок?

Разве затем я на греблю росистую  
Шёл по утрам сторожить голавлей,  
Думал, что с мельницей вместе я выстою  
Вечным юнцом средь лесов и полей?

Видно, теперь я напрасно аукаю,  
Жду не дождусь, а уйти не могу.  
Липами пахнет над спящей излукою,  
Нет никого на другом берегу.

Всё расточил я, что было мне дадено.  
Ночь на дворе... темнота... забытьё...  
То ли уведено, то ли украдено,  
То ли потеряно детство моё.

конец 1930-х

## ПОЖАРИЩЕ

Я вижу город детства моего,  
И мне не надо больше ничего.  
Доходный дом в котором я родился,  
Домовый двор, которым я гордился,  
Гнилого неба маленький кусок,  
Печной трубы опухшее колено,  
И дерево — рогатое полено,  
Уткнувшееся головой в песок.

Я вижу город, где меня встречали  
Былой любви восторги и печали.  
Я вижу пыль его дрянных садов,  
Я вижу гавань, полную судов,  
Окраины, заставы и задворки,  
Органчики, бумажные цветы,

Плеск поцелуев, запах дынной корки  
И женский смех на грани темноты.

Здесь я мечтал в мансарде заповедной,  
Здесь я кичился нищетой наследной.  
Я жил один. Мне было всё равно.  
По вечерам я отворял окно  
На море крыш, на тлеющие гребни  
Кирпичных гор, на городской предел,  
И я не знал, что может быть волшебней  
Живого сна, который мной владел.  
Передо мной дымились пирамиды  
И подымались сомкнутой стеной  
Висячие сады Семирамиды,  
Учебники науки жестяной.

И я зубрил наглядные уроки:  
Глубокий двор и горизонт широкий.  
Подмяв локтями гипсовый карниз,  
Я до отказа наклонялся вниз,  
В бродило тьмы, где золотой калачик  
Изображал насыщенный хлеб людской  
И голоса трудолюбивых прачек  
Переполюнялись подлинной тоской.

Я совершал далёкие прогулки,  
Торчал часами в каждом переулке.  
Облюбовав какой-нибудь фасад.  
Я голову закидывал назад,  
Потом кидался со всего размаху,  
Как на арену — головой вперёд,  
Под бутафорский купол у ворот.  
Похожий на черкесскую папаху.

Кого искал я? Что меня влекло  
На лестницу, обитую железом?  
Она, как орудийное жерло,  
Вела мой шаг по винтовым нарезам.  
Я подымался и, не чуя ног,  
Дрожащим пальцем нажимал звонок.  
Дверь отворялась. Лёгкие воланы  
За ней мерцали, белизной дразня.  
Но этот рай, постылый и желанный,  
Дыханьем лжи окаменил меня.  
И тени, что слетались к изголовью —  
Благословить двойных объятий плен,  
Глухие просьбы, шёпот клятв: «I love you...» —  
«Ich liebe dich...»

Всё это прах и тлен.

Я строил храмы, опьянённый зодчий,  
И вот — лежат в развалинах, в пыли,  
У ног моих... Бессовестные ночи!  
Они меня вокруг пальца обвели!

И снова ночь — коварна и тениста.  
Всё затопила смоляная тьма.  
Подобно книгам в лавке букиниста,  
На мостовой валяются дома,  
И между ними, в каждом промежутке,  
Где гаснет даже месяц молодой,  
Таятся опечатанные будки  
С гремучей газированной водой.

Я шествую вдоль улицы пустынной,  
Сжав кулаки, поросшие щетиной,  
И вижу город моего стыда:  
Он был, он есть, он будет навсегда,  
Как узелок, завязанный на память,  
Как след происхождения моего,  
Я не могу его переупрямить,  
И мне не надо больше ничего.

Пусть он сгорит со всеми потрохами —  
Доходный дом, где я грешил стишками,  
Домовый двор, наполненный трухой,  
Вся эта гниль, весь этот скарб сухой,  
Чумные стены, дыры и заплаты,  
Заборов угловатые края...  
Пускай сгорят лачуги и палаты,  
А заодно и молодость моя!

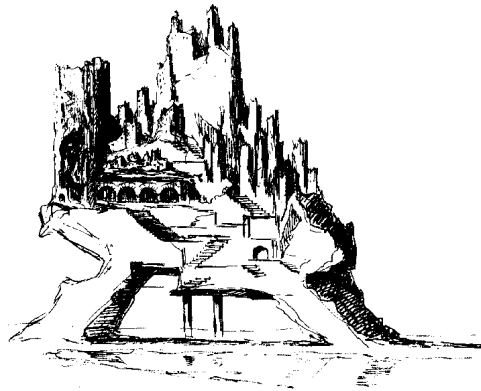
Беспечной спичкой, праздничным огарком  
Ему судьба, как пальцем, погрозит,  
Назло громоотводам и флюгаркам  
Негаданная молния сразит.  
Иль, может быть, играющие дети,  
Куря табак в заброшенном клозете,  
Затеют бой, свернут газетный жгут  
И незаметно город подожгут...

Быть может, ночью мне поможет случай,  
Слепой зарёй иль на исходе дня:  
Из всех щелей прорвётся дым колючий,  
И вспыхнет эпидемия огня.  
Под хлопанье простынь и полотенец,  
Развешанных на гулких чердаках,  
Проснётся в зыбке розовый младенец  
С египетскими змеями в руках.

Он кажется подростком безбородым,  
Он слишком юн, чтоб довершить свой суд,  
Но небеса подушку с кислородом  
К его губам, как соску, поднесут.  
Теперь огонь мужает с каждым часом,  
Он ширится, он обрастает мясом,  
Бодает стены козлорогим лбом,  
Мурлычет, изгибается горбом...  
Гори. гори, мой город обречённый,  
Летучим пеплом прыгай по волнам!  
Пушкай твои беспомощные стоны  
О мужестве напоминают нам.

Когда ж, сражённый солнечным ударом,  
Весь в пламени умрет последний дом,  
На черепках, на пепелище старом  
Мы новый город за ночь возведём.  
Из гекатомбы переулков тесных  
Он вырастет, как дерево, живой,  
Дыша грозой, касаясь туч небесных  
Своей неукротимой головой.

1932 (?)



# ХИЖИНА В ЛЕСУ





\* \* \*

Она стоит всё там же, где стояла,  
Затерянная посреди тайги.  
Густое торфяное одеяло  
Глушит неосторожные шаги.

Развесив лапы над землей пахучей,  
Косматых елей тёмные шатры  
Оберегли ее на всякий случай  
До лучших пор, до нынешней поры.

Залётная лазоревая птица  
Расщebetалась ото всей души,  
И тень моя, скользя со мной, ложится  
На шёлковые стрелки черемши.

Нога во мхах по щиколотку вязнет,  
И сладкой схваткой сердце сведено,  
Когда опять его хмелит и дразнит  
Лесное приворотное вино.

От можжевела тянет хмарью тонкой,  
Медовым дымом дышит зверобой,  
Меж диких трав, мерцающая сизой плёнкой,  
Просыпан гонобобель голубой.

На заросли душистой облепихи,  
На каждый куст, на каждый стебелёк,  
Едва лучась, торжественный и тихий,  
Небесный отсвет благодатно лёг.

Исполненное радостного смысла,  
Мгновение остановило бег.  
В последний раз качнулось коромысло  
Весов Судьбы, чтоб закоснеть навек.

И хижина, сколоченная грубо,  
Стоит, не потая передо мной  
Ни кругляков бревенчатого сруба,  
Ни лебеды на кровле земляной.

Как позабытый бред, как морок давний,  
В последний раз мне явлены теперь  
Крест-накрест заколоченные ставни,  
Щелистая, разохшаяся дверь.

И некуда от наважденья деться,  
Лишь только бы не знать разлуки впредь,  
Мне б только надышаться, наглядеться  
И жизнью захлебнувшись, — умереть.

1948

Ветлосян

\* \* \*

Снежный саван сходит лоскутами  
За неделю побурев едва.  
На пригорках и буграх местами  
Показалась прелая трава.

И земля, покорствуя сурово,  
И страшна, как Лазарь, и смешна,  
В рубище истлевшего покрова  
Восстаёт от гробового сна.

Будто выходцы из преисподней,  
Отчуждённо жмутся по углам  
Перестарки жизни прошлогодней,  
Разнопёрый, безымянный хлам.

Ржавые железки да жестянки,  
Шорный мусор и стекольный бой,  
Цветников зловещие останки  
За щербатой, дряхлой городьбой.

В грозном блеске правды беспощадной,  
Льющейся с лазурной вышины,  
Некуда им спрятаться от жадной,  
Молодой весны!

Им деваться некуда от света,  
Не уйти от властного тепла.  
Горе тем, которых сила эта  
Из могилы на смех подняла!

Горе тем, кто маете весенней  
Предал сердце, сжатое в комок,  
Муку неминучих воскресений  
Одиноко выплакать не мог.

И рывком одолевая стужу,  
Раскатясь, как снеговой ручей,  
Призрак страсти изbleвал наружу  
Горстку опозоренных мощей.

апрель-май 1948,  
лагерь Ветлосян



\* \* \*

Страх разрушенья, страх исчезновенья  
Меня не смог ни разу уколоть;  
Я не пугаюсь грубого мгновенья,  
Когда моя изношенная плоть  
Утратит жар, что дан ей был на время,  
Как погасает искра налету.  
Но отвергая детскую мечту,  
Бессмертия бессмысленное бремя,  
Я думаю о неизбежном зле  
И не боюсь распада.

Мне не надо  
Ни рая, ни чистилища, ни ада,  
Ни даже вечной жизни на земле.

Воистину меня страшит иное:  
Остолбененье старости людской,  
Её самодовольство записное,  
Безверье, сухость, чопорный покой;  
Боюсь лишиться молодых стремлений  
Бог весть куда, в какую глушь и дичь,  
Боюсь увязнуть в паутине лени,  
Всезнания бесплодного достичь.  
Боюсь придти к заведомым пределам,  
Где, может быть, подстерегает страх  
Небытия, преображенья в прах,  
Разлуки с жизнью, расставанья с телом...

1940

\* \* \*

Где я найду себе место  
В этой юдоли?

Нигде.

Листья кудрявого рдеста  
Мягко лежат на воде.

Пчелы — бесполое сестры —  
Лепят затейливый дом,  
Маленький поползень пёстрый  
Тоже мудрит над гнездом.

Гады в заброшенной яме  
Грозным клубком сплетены,  
Травы кишат муравьями,  
Реки рыбёшки полны.

В поймах, в дубраве зелёной  
Занята каждая пядь.  
Негде в земле заселённой  
Даже могилу вскопать.

Кинусь к лесным захолустьям —  
Не продерусь ни на шаг.  
Листья лепечут — не пустим,  
Вон убирайся, чужак!

Лугом пойду или полем —  
Гонят цветы на большак,  
Злаки твердят — не позволим,  
Вон убирайся, чужак!

Только что скроюсь в трясину —  
Шипом встречает змея.  
Нет человеческому сыну  
Даже в болоте жилья.

Злобно глумясь, негодуя,  
Жизнь раздружилась со мной.  
Где ж себе место найду я  
В этой юдоли земной?

1944  
Бухарест



\* \* \*

Опять безумный и влюблённый,  
Как двадцать лет тому назад,  
Стремлюсь душой испепелённой  
Всё в тот же заповедный сад.

Всё та же темнота глухая,  
Всё тот же тонкий звон в ушах,  
Всё тот же ключ, не затихая,  
Бормочет в сонных камышах.

И я, навстречу смутным елям,  
Опять на счастье и беду,  
Заворожённый прежним хмелем,  
Тропинкой прежнюю бреду.

Бреду туда, где еле светит  
Всё тот же месяц молодой,  
Где вновь меня никто не встретит  
Над мёртвой прудовой водой.

1943, Кисловодск

\* \* \*

...мы тогда стояли  
В большой станице, в нескольких верстах  
От города Ростова, и вокруг  
Прославленная простиралась Область  
Донского войска, ходуном ходила  
Несжатая пшеница, вдоль дорог  
С деревьев осыпались абрикосы,  
Изнемогали дыни на бахчах,  
И двадцатифунтовые арбузы  
Раскалывались, выпятив наружу  
Бесстыжую малиновую мякоть.  
И просто, и наивно, как во сне,  
Не прерывая вечного течения,—  
Ему же несть начала и конца,—  
На огородах и в садах фруктовых,  
Среди полей и заливных лугов,  
Куда ни глянь, к чему ни приклонись,  
На суше и воде, земле и небе  
Свершалось чудо жизни. Это было  
Преполовенье лета. Каждый день  
Казался новым чудом, невозможным,  
Немыслимым, и всё же сотворённым,  
И зори возникали на востоке,

Прохладные, как розовый чихирь,  
К полудню солнце, разомлев, метало  
Блистающие пики золотые,  
И белые, что кипень, облака  
Клоками каймака лениво плыли  
В медовой сыти сумерек вечерних...

1948

## НАСЛЕДНИК

Которая по счету миновала  
Земная ночь, опять оставив мне  
Могильный холмик пепла у привала  
Да пепел звёзд в студёной вышине.

Опять качнулась зыбка заревая  
И розовый проснулся небосклон,  
Свивальники тумана разрывая.  
Как полотно младенческих пелён.

И словно рай, никем не заселённый,  
Сияющий по самые края,  
Ждет окоём прохладный и зелёный  
Обетований Книги Бытия.

Гляди, Наследник, сколько хватит зренья,  
Адамовым проклятьем заклеимён!  
Бессчётную зарю миротворенья  
Опять встречай на рубеже времён!

Ещё людская речь не прозвучала,  
Ещё леса и пажити пусты,  
А ты начни свой краткий путь сначала,  
До сумерек, до новой темноты, —

Когда погаснет свет, умолкнет слово,  
Созвездья разгорятся на ветру  
И волны одиночества ночного  
Прихлынут вновь к привальному костру.

17 декабря 1950

## ВЕТЛОСЯН (фрагмент)

Я жил в особенной стране,  
Непознаваемой извне,

В стране, где время, как во сне,  
Меняло свой исконный ход;  
Мгновеньем день казался мне  
И вдруг растягивался в год,  
Сбивался с толку, путал счёт  
И превращал календари  
В какой-то непонятный код,  
В хаос разрозненных колод,  
Чтоб за оградю, внутри,  
Перешагнув через порог  
В тот обособленный мирок,  
Я жизни жалкой не берёг  
И отбывал кабальный срок.

Я жил в отверженной стране,  
От государства в стороне,  
В стране, беспамятной, как смерть,  
В стране, бессвязной, словно сон,  
Где городьба, за жердью жердь,  
То на подъем, то под уклон,  
Петляла вдоль холмов, служа  
Обозначеньем рубежа.

Я жил в потерянной стране,  
Как будто в озере, на дне,  
Как в застоявшемся пруде,  
В прозрачной, как слюда, среде,  
Не то во льду, не то в воде,  
В среде, которая была  
Подобьем жидкого стекла.

Там, за бревенчатой стеной,  
За городьбою крепостной  
В четыре метра вышиной,  
Не знали ни добра, ни зла,  
Ни состраданья, ни стыда;  
Без них исправно шли дела,  
Топились печи, как всегда.  
Клубами вился дым из труб,  
В котлах варился мутный суп,  
И каждым утром, ровно в семь,  
Насущный хлеб давали всем.

О, этот хлеб! Он был ценой  
Последней радости земной:  
Смотреть на дальний кряж лесной.  
Он был ценой, — ломоть ржаной, —  
Отказа от заветных прав,  
Утраченных навеки мной,

И платою за рабский нрав,  
За прилежание к труду,  
За повседневную страду  
Существованья на виду,  
За пребывание в аду,  
Где запереться на замок,  
Хотя б на миг, никто не мог  
И оставаться одному  
Не дозволялось никому.

Наш будничный, убогий ад,  
Куда на счастье и беду  
Тринадцать лет тому назад  
Меня по щучьему суду  
Загнали в странную среду, —  
Напоминал на беглый взгляд  
Давнишний, рубленный посад,  
Окраинную слободу,  
Былой острог сторожевой,  
В глуши поставленный Москвой,  
Чтоб на Зырянщине впервой  
Ввести исконный свой уклад  
И закрепить порядок свой.  
Он, словно с древних пор, подряд  
Стоял и в нынешнем году  
Твердыней кривды вековой,  
И островерхий палисад  
Из лиственницы и сосны,  
И вышки по углам стены,  
И часовые, и конвой,  
По-видиму, сохранены  
Как памятники старины.

Нас было много: тысяч пять,  
А иногда и с лишком шесть.  
Порою численность опять  
Снижалась плавно до пяти,  
Чтоб в гору сызнава полезть  
И к верхней цифре доплзти.  
Хоть нас держали взаперти,  
Но все ж оказывали честь,  
Стараясь досконально счесть,  
Не отступая ни на пядь,  
И дважды в сутки звонари  
Благою подавали весть:  
Мол, можете и пить и есть,  
Кто хочет, волен лечь и сесть,  
Ты вправе бодрствовать и спать,  
Но будь на месте, хоть умри,



Покуда, в должностном поту,  
С окурком жеванным во рту,  
Дежурный подведет черту:  
Все налицо, все на счету...

1960



\* \* \*

Жизнь отжита, а сызнова — едва ли  
Достанет сил для злого бытия.  
Меня застигла ночь на перевале,  
И эта ночь — последняя моя.

Её волшебное прикосновенье  
Льёт на душу целительный бальзам,  
Она дарит незнание и забвенье  
Натруженным, всевидящим глазам.

Крупницы счастья, жалкие соблазны,  
Тернистый путь и перевал крутой  
Расплавилась в хаос однообразный,  
Укрылись милосердной темнотой.

14 декабря 1947  
Ветлосян

\* \* \*

Вернись ко мне, бывшее вдохновенье,  
Зажги свои сигнальные огни,  
И лицемерных уст прикосновенье  
Повинностью привычной затени!

Истлело всё, что нам казалось раем,  
Любовь и жизнь почти замкнули круг,  
Лишь мы с тобой никак не умираем  
И трудимся, не покладая рук.

Мы тратим страсть без счета, без оглядки,  
Швыряем на кон, как заветный грош,  
Хоть знаем, что с партнера взятки гладки,—  
Для игрока — и проигрыш хорош!

1948  
Ветлосян

\* \* \*

Благословляю полдень голубой,  
Благословляю звёздный небосвод —  
За то, что он простёрся над тобой  
И лишь тобою дышит и живёт.

Благословляю торные пути,  
Пробитые сквозь дебри бытия:  
Они меня заставили придти  
Туда, где пролегла тропа твоя.

Благословляю все плоды земли,  
Благословляю травы и цветы —  
За то, что для тебя они выросли,  
За то, что их не оттолкнула ты.

Благословляю подневольный хлеб,  
Тюремный склеп и нищую суму,  
Благословляю горький гнёт судеб —  
Он звал меня к порогу твоему.

Благословляю бег ручьёв и рек,  
Разгон струи, летучий блеск волны —  
За то, что в них глаза твои навек,  
Как в ясных зеркалах, отражены;

И каждого холма зелёный склон —  
За то, что он тебе под ноги лёг,  
И самый прах земной — за то, что он  
Хранит следы твоих усталых ног.

Скитания без цели, без конца,  
Страдания без смысла, без вины,  
И душный запах крови и свинца,  
Саднивший горло на полях войны.

Весь этот непостижный произвол  
Благословляю — с жизнью наравне —  
За то, что он меня к тебе привёл,  
За то, что он привел тебя ко мне.

13 сентября 1948  
Ветлосян

\* \* \*

Нас не одно и то же поле  
Растило в давние года,

Но против разума и воли  
Мы обручились навсегда.

Мы не одной и той же песней  
Взбалаканы от первых дней,  
Но встреча наша тем чудесней,  
И цепи наши тем прочней.

Жизнь отковала эти звенья  
И закалила в добрый час,  
И языку сердцебиенья  
Насильно обучила нас.

Мы разных станов, разной крови,  
Но стоит нам сойтись вдвоём,  
И мы тотчас же в каждом слове  
Родные звуки узнаём.

И нет роднее в целом свете,  
Чем этот стык, возникший вдруг  
В блаженном стоне междометий,  
В безмолвной перемычке рук.

24 августа 1948  
Ветлосян



\* \* \*

Этот морок нагрязнул, неожиданный, непрошенный,  
И наутро — гляди:  
Опустела душа, как скворешник заброшенный,  
Одичалого сердца не стало в груди.

То ли ночи его приманили белёсые,  
Бесконечные, словно века,  
То ли зори на западе, рыжеволосые,  
Золотые, как сон, облака...

Разве сыщешь его! Улетело, бедовое,  
В странный сумрак ночной,  
Улетело, на счастье и гибель готовое,  
Ради властной улыбки одной.

Улетело навек, ради взгляда капризного  
Из-под выгнутых диких бровей,

Ради алой зари, расплывшейся сызнова,  
Отражённой в окошке светлицы твоей.

И, почуяв, что время настало заветное,  
Улетело оно,  
Чтобы крылья разбить о твоё безответное,  
О твоё заревое окно.

30 июня — 1 июля 1948  
Ветлосян



\* \* \*

Нет, я не тот, о ком тебе мечталось  
В девическом тумане заревом,  
Чья память свято на сердце осталась,  
Чье имя лишь молясь мы назовем.

Не мне светил огонь твой сбережённый,  
Ты некогда была не мной горда —  
Покорной женской гордостью, зажённой  
В свободные, счастливые года,

И не ко мне ты шла тайком из дому,  
Не обо мне вечернею порой,  
Закрыв глаза, прижав к плечу родному,  
Делилась ты со старшею сестрой.

Нет, не со мной ты коротала ночки,  
Качаясь в чайке на крутой волне,  
И в смертный час в немецкой одиночке  
Ты плакала без слез не обо мне.

Не про меня ты песни распевала  
В январский холод, в августовский зной,  
Скитаясь от привала до привала  
С трофейным автоматом за спиной.

И на груди платок мой не хранила,  
И в крестный путь опять идя сама,  
Не целовала смытые чернила  
Последнего, прощального письма.

Непрошенный, неравный, непохожий,  
Я — только тень любви твоей быллой,

Случайно подвернувшийся прохожий,  
Чужой бобыль со скрипкой подолой.

Но все твои утраты и ошибки,  
Погибшие, несбыточные сны  
В стихах моих, в моей цыганской скрипке,  
Как на скрижалях, запечатлены.

И есть во мне какая-то кровинка,  
Последняя, как звёзды на заре,  
Она тебе родней цветов барвинка,  
Засушенных в отцовском «Кобзаре»,

Она тебе родней надежд ушедших,  
Родней воспоминаний прежних дней —  
О первых снах, о первых робких встречах,  
И собственной судьбы твоей родней.

И в судный день, когда среди пустыни  
Нам было повстречаться суждено,  
Когда бокалы сомкнуты и ныне  
Нацежено венчальное вино,

Ни ты, ни я, не обесчестим ложью  
Ещё никем не понятый устав,  
Мы можем лишь почуять руку Божью,  
Наш приговор во взглядах прочитав.

7 августа 1948  
Ветлосян

\* \* \*

Какой-то мир возник меж нами  
Июльской ночью голубой —  
Взлелеянный моими снами,  
Твоей тоской, твоей борьбой.

Ещё он чужд и непонятен,  
Ещё ему названья нет —  
Текут сплетенья странных пятен  
Из света в тень, из тени в свет.

Чуть видимый, полупрозрачный,  
Он ждёт и манит и зовёт  
Туда, где, словно полог брачный,  
Простёрся бледный небосвод,

Где молодой барвинок хрупкий  
Никем доселе не примят

И страстно расточают любки  
Новорожденный аромат.

Во имя снов моих, во имя  
Сомнений трепетных твоих,  
Возник он — в сумеречном дыме —  
Волшебный мир для нас двоих.

Полны покоем изначальным  
Его долины и холмы,  
И воздухом его венчальным  
Одни с тобою дышим мы.

Тебе нейдет в этом мире,  
Еще не постигаешь ты  
Ни глубины его, ни шири,  
Ни первозданной красоты.

И так мучительно желанны,  
Так бесконечно далеки  
Его пустынные поляны  
И взвихренные тростники.

Ты хочешь свеять вещей морок  
С души двоящейся своей,  
Но он тебе до боли дорог  
И всё родней, и всё живей.

Ты рвешься из тенет постылых  
И веришь и не веришь снам —  
Ни взять, ни оттолкнуть не в силах  
Судьбу, завещанную нам.

1948



\* \* \*

Ты чуешь, и знаешь, и любишь, и веришь,  
Но только одна, не вдвоём, не со мной,  
И скупо объятъя на скрупулы меришь,  
Стену воздвигаешь за новой стеной.

Упрямую ласку, невольное слово  
Ты топчешь, ведя отступлениям счёт.  
Ты женскую кровь ненавидеть готова  
За то, что она в твоих жилах течёт.

И сердце, на миг отпустив на поруки,  
Ты вновь замыкаешь в глухую тюрьму,  
Чтоб вновь уронить одичалые руки  
И жадно и слабо глядеть в полутьму.

Он горше смолы — этот странный напиток  
Сомнений и веры, любви и тоски.  
О нём говорят лепестки маргариток  
Постылой гордыне твоей вопреки.

И музыкой страсти, как будто впервые,  
Заветную рану твою бередя,  
О ней говорят голоса грозовые  
В серебряном плеске и звоне дождя.

О нём иступлённо пророчат закаты,  
Зовут его ветры и ночью и днём,  
И тучи, и дым от костра языкатый  
Всё небо застлали, вещая о нём.

Ведь ты же сама лишь его поминаешь,  
Плененное сердце томя взаперти,  
И чуешь, и веришь, и любишь, и знаешь  
Судьбу, от которой вовек не уйти!

Ведь ты же сама улыбалась, бывало,  
И жалила душу больнее ножа,  
Сама ввечеру лепестки обрывала  
На юной ромашке, про нас ворожа!

Убей, не жалея, осмелся, попробуй  
Сойтись в топоры с подступившей судьбой,  
Сожги, если можешь, презреньем и злобой  
Живучую связь между мной и тобой,

И плача, припав к оскорблённой надежде,  
Ищи в полутьме уцелевшую нить,

Чтоб снова связать её крепче, чем прежде,  
И сызнова верить, и знать, и любить.

16–17 июля 1948  
Ветлосян

\* \* \*

Приюти меня в сердце глубоком своём,  
Отлучи от тоски, уведи от беды,  
Как в ночи принимает степной водоём  
Бледный луч бесконечно далёкой звезды.

Приюти меня в сердце своём навсегда,  
Материнским покоем своим успокой,  
Как речную струю, не оставив следа,  
Растворяют просторы пучины морской.

Охрани меня тайной любовью своей  
От лукавых людей, от меча и огня,  
На четыре на стороны света развей  
Наважденья, которые мучат меня.

Помолись за меня, наклонись надо мной,  
И скитальческий прах неиссчётных дорог  
Смой прощеньем своим, словно дождь проливной,  
Воскрешающий землю в назначенный срок.

Дай на счастье мне добрую руку свою,  
Маяком загорись в предвечерней тени,  
И на смертной меже, на последнем краю  
Сероглазой улыбкой, как солнце, блесни.

21–23 июля 1948  
Ветлосян

\* \* \*

Я сумерки твои унылые люблю,  
Движенье каждое внимательно ловлю,  
Когда, под бременем судьбы изнемогая,  
Ты проклинаешь страсть, что, как петля тугая,  
Твоё дыхание сдавила намертво,  
И шарить пальцами у горла своего,  
Не в силах справиться с мучительным разладом,  
И всё же, чувствуя меня с собою рядом,  
Запретной нежности сдаёшься в плен навек,  
И смотришь искоса, не подымая век,



Склоняешься ко мне, боясь промолвить слово,  
И вдруг, опомнившись, отпрядываешь снова,  
Чтоб вновь припасть к плечу желанного врага,  
Ты так понятна мне, близка и дорога.

между 4 и 10 сентября 1948  
Ветлосян



\* \* \*

Ещё заря мятежной крови  
Горит на западе моём,  
Ещё мне странно, словно внове,  
Остаться с женщиной вдвоём,

Ещё под звездным небосклоном  
Я вижу отроческий сон,  
Стыдом любви преодолённым  
До основанья потрясён.

Ещё меня в волшебном круге  
Урочный держит приворот —  
Туманные глаза подруги,  
Её блаженный, нежный рот

И осязаемый руками  
Смятенных кос огонь живой,  
И выдыхаемый рывками  
Чуть слышный клёкот горловой.

Так мы летим четой крылатой  
К безвестной цели, напрямик, —  
И пусть паденье будет платой  
За этот обретенный миг!

Пусть нас двоих на гребне страсти  
Затопит смоляная мгла,  
Пусть я опять сорву с запястий  
Ремни Икарова крыла,

И мы, очнувшись утром ранним  
Всё в той же клетке, взаперти,

В глаза другу другу слепо глянем,  
Чтоб не узнать и не найти.

И пусть я знаю, что нарушу  
Обет, соединивший нас,—  
Но душу обменять на душу  
Мне страшно, словно в первый раз.

24 ноября 1948 — 25 ноября 1952,  
лагерь Ветлосян

## СТРОФЫ ИЗ ВЕТЛОСЯНСКОГО БЛОКНОТА И ДРУГИЕ НЕЗАВЕРШЕННЫЕ СТИХИ

\* \* \*

Покая нет душе моей голодной,  
Ни жаждущему сердцу моему.  
Я жребия смоковницы бесплодной,  
Доколе жив — вовеки не приму.

Рождённый в муках, муками повитый,  
Не отрекись от матери родной.  
Благословляю ветер ледовитый,  
Секущий ливень и палящий зной.

Дорожных кремней режущие грани,  
Лесных кустов колючки и шипы  
И ярость человеческой толпы,  
И суету сует её стараний...

28–30 декабря 1947

\* \* \*

Не говори, что сердце снова молодо,  
Мне не уйти от скуки и тоски,  
Душа полна безмолвия и холода,  
И первый снег ложится на виски.

28 декабря 1947



\* \* \*

Отмеченный печатью роковой,  
Он кончился, мой год сороковой.  
Досыта наигравшись, до отвала,  
Судьба меня на Север изблевала  
И кинула в пустыне снеговой.

30 декабря 1947

\* \* \*

Был Иов Господом вознаграждён  
И трижды, и четырежды возвышен  
Противу прежнего. Опять стада,  
Ему принадлежащие по праву,  
Его тавром клеймённые, топтали  
Бессчётными копытами траву  
Лугов его и пастбищ неоглядных.  
Опять восстал из пепелища дом —  
И трижды, и четырежды прекрасней  
Того, другого дома — шире, выше  
Он был: гораздо выше, без сравнения!  
Опять его пристройки окружали  
И службы всевозможные. Опять  
Рабы и слуги Иова трудились  
Согласно повелению его  
И трижды, и четырежды прилежней  
Тех, прежних слуг, рабов и домочадцев,  
И было втрое, вчетверо их больше,  
Чем в те года...

...и появились дети  
В его дому, просторном и высоком...

январь 1948

\* \* \*

...И если нам с тобой не по дороге,  
Зачем же ты мне послана судьбой,  
Как эта ночь, как лунный серп двурогий,  
Как здешний снег пушисто-голубой?

11 января 1948



\* \* \*

Ты показал воочью  
Тщету ребячьих дел,  
Разул меня, раздел  
И кинул зимней ночью...

4 февраля 1948

\* \* \*

С каждым днём спокойней и покорней,  
Мёртвое молчание храня,  
Я слежу, как отсыхают корни,  
До сих пор питавшие меня.

4 февраля 1948

\* \* \*

Последнее время, бывает,  
Я музыку слышу во сне.  
Погибшая жизнь запеваёт  
На самое на ухо мне.

Упрямо склонясь к изголовью  
Плетёт несуразную дичь,  
И снова морочит любовью,  
Которой вовек не достичь.

Зовёт к одиноким страданиям,  
Твердит, что воскреснуть пора,  
Подавленным, страстным рыданьем  
Тревожа мой сон до утра.

И падают слёзы всё чаще,  
И так по-ребячьи горяч  
Её безутешный, щемящий,  
Хватающий за душу плач...

29 февраля 1948



\* \* \*

Природе-исполинке  
Смешон мой тихий стон.  
На крохотной пылинке  
Зачат я и рождён.

Минутный, безымянный,  
Скольжу я вместе с ней  
Сквозь вихри и туманы,  
Меж яростных огней.

Но воля мировая  
Мне приказала: «Будь!»  
И цель не открывая,  
Размежевала путь.

От края и до края  
В пылающей ночи  
Скрещаются, играя,  
Слепящие лучи.

И словно пламень жидкий,  
Объемлют небосклон  
Развернутые свитки  
Пророческих письмён.

И каждое мгновенье  
С начала до конца  
Хранит прикосновенья  
Единого Творца.

Но время и пространство,  
Их вечный, вещей клич,  
Миров непостоянство  
Мне суждено постичь.

Комок частиц белковых,  
Затерянный во мгле,  
Я жизнь влачу в оковах  
На маленькой Земле...  
.....

3 марта — 1 апреля 1948

\* \* \*

Жена ли ты, любовница, подруга ль,  
Не уловлю я, не пойму —

Но жжёт меня, как раскалённый уголь,  
Тоска по сердцу твоему.

Звездой последней утреннего неба,  
Залогом будущего дня,  
Глотком воды, куском насущным хлеба  
Ты стала нынче для меня.

октябрь 1948



\* \* \*

Не в друзья прошусь — в единоверцы,  
Чтоб, как хлеб, делить житьё-бытьё,  
Чтобы настежь распахнуло дверцу  
Сердце нелюдимое твоё...

осень 1948

\* \* \*

Когда блаженных слёз туманная волна  
Вскипает, к горлу подступая,  
И спящая душа, наития полна,  
Бредёт, как пифия слепая,

Вдоль стен тюрьмы своей, ища рукою дверь  
И мёртвым тяготясь молчаньем,  
Вдруг речью мерною заговорит, — о, верь  
Её пророческим вещаньям!

10 октября 1948

\* \* \*

Тебя увезут в товарном вагоне  
Бог весть куда. за край небосвода...

3 ноября 1948

\* \* \*

Когда ни божества, ни слёз, ни вдохновенья,  
И громозвучный мир — внезапно глух и нем,

И не на годы счёт — на нищие мгновенья,  
Душа несъятая ведёт, Бог весть зачем...

6 ноября 1948

\* \* \*

От высокоширотных параллелей,  
Укоренясь над вечной мерзлотой,  
Вторгается в болото войско елей  
Передовую цепью негустой,

Где, выгнав каждый стволник трехаршинный,  
Один другого жальче и кривей,  
Едва живёт урман суховершинный,  
В лишайниках, свисающих с ветвей.

От тех урочищ, выстояв сурово,  
Спускаются громадные леса  
На юг страны, где их встречает снова  
Безлесная степная полоса.

Леса, по мере продвиженья книзу,  
Меняются согласно поясам,  
Заместо хвойной лиственный ризу  
Вздыхая к потешлевым небесам.

Желтеет лес, и крепнет запах пряный,  
И с каждым днём всё явственней видны  
Уступы хвой среди листвы охряной,  
Густая зелень ели и сосны...

(начало 1960-х)

\* \* \*

Право на труд и право на отдых,  
Право кататься на теплоходах,  
Право на социальное обеспечение.  
На лечение, на бесплатное обучение,  
На культурное, вежливое обращение,  
На радиоактивное облучение,  
Право курить дешёвый табак,  
Право стрелять бездомных собак,  
Право спать со своею женой,  
Право на холод, на дождь, на зной...  
И если подумать здраво —  
На чёрта нам это право?

(начало 1960-х)

\* \* \*

Налитой до краёв алкоголем  
И слюняво топыря губу,  
Он идёт, словно глиняный Голем  
С колдовским заклинанием на лбу.

.....  
И с какой-то улыбкой дурацкой  
На ребристой ступеньке стоит,  
И при помощи лестницы адской  
Он съезжает в шашлычный Аид.

И цветные гранитные плиты  
И бетонные своды над ним,  
Как стеклянной лазурью, облиты  
Сверхъестественным светом дневным...

(конец 1950-х)



\* \* \*

Мы проиграли наши судьбы,  
Поставив на неверный цвет.  
Что делать? Умереть, уснуть бы...  
Кто знает правильный ответ?

(начало 1960-х)

\* \* \*

...И я скажу Пилату:  
Послушайте, Пилат!  
Вам платят не по блату  
Проконсульский оклад.

.....  
Служители порядка,  
Ловцы пропащих душ!  
Моя цена — тридцатка,  
Обычный, средний куш.

К назначенному сроку  
За несколько монет —  
Алямс, четыре сбоку,  
И ваших больше нет!



Всего за три десятка  
Серебряных монет,  
И дело сходит гладко —  
Меня на свете нет.

Не так уж это много,  
Платите, ради Бога!

И я за эту цену  
Готов пойти на сцену...

(начало 1960-х)



\* \* \*

Я не был никому врагом,  
А это очень плохо,  
Особенно когда кругом  
Враждебная эпоха.

\* \* \*

Отпусти меня с миром, раба Твоего,  
Разрешь мой обет, развяжи мои руки!  
Я в дорогу с собой не возьму ничего,  
Кроме памяти вечной и вечной разлуки.

\* \* \*

Не истреби его, смотри!  
Пускай он бродит до зари,  
Угрюмый, жадный и поджарый,  
Кружит у твоего жилья,  
Охотясь за твоей отарой,  
Боясь горящего смолья  
Боясь двустволки-бескурковки  
И красных тряпок на верёвке...

.....  
Ты сам себя ограбить можешь,  
Разбив последнее звено,  
И вместе с волком заодно  
Ты что-то слепо уничтожишь  
Заветное в себе самом.  
Ты станешь сам дворовым псом,  
Нерассуждающей собакой,

Без лести преданным служакой,  
Довольным порцией костей,  
Овсянкой в специальной миске,  
И за хозяйские огрызки  
Ты станешь лаять на детей  
И ненавидеть иноземцев,  
Американцев или немцев,  
Ты станешь по команде жить,  
Держать равнение на парадах,  
Летать в космических снарядах  
И заключённых сторожить...

.....  
Держа винтовку навесу,  
Оставь же их бродить в лесу  
И сам останься гордым, злобным,  
Архангелом волкоподобным,  
Тем, кто отвергнул Божью власть  
И предпочёл на землю пасть  
И быть вовек своим единым  
Невольником и господином...

(начало 1960-х)

Стихи, сочиненные во сне ночью,  
на 13 марта 1981 г.

В белёсом густом тумане,  
Лесной тропой,  
Скользят бесшумные лани  
На водопой...



\* \* \*

Он построен трудом человечесьим,  
Укреплён человечесьим трудом,  
А теперь отплатить ему нечем —  
Опустел, обезлюдел мой дом!

Подкосились дубовые балки,  
Хоть исправно топор их тесал.  
Стекла выбиты; тёмный и жалкий,  
Полон стужи покинутый зал.

Не житье средь такого содома!  
Дай Господь, обойти стороной  
Нищий остов, развалину дома,  
Что построен был некогда мной!

Злая сырость давно его гложет:  
Разобрать его впору да сжечь!  
Третий год иль четвертый, быть может,  
Как не топлена русская печь.

Словно щуря окно слуховое,  
Он под снегом поник и дождем...  
Не один ты на свете, нас двое,  
Злополучный, оставленный дом!

Накопили мы силу воловью,  
Да некстати растратили враз, —  
Чёрным горем, неверной любовью  
Пошатнуло, обрушило нас.

Ты на жребий не жалуйся лживьей,  
А хозяйские слушай слова:  
Мы ещё повоюем, мы живы,  
И любовь невозбранно жива!

Не кручинься, товарищ сосновый, —  
Станешь краше дворцов и хором!  
Я приду к тебе с доброй основой,  
С наостренным моим топором.

Всё устрою не хуже, чем было,  
Печь налажу, поправлю трубу,  
Вереи подыму и стропила,  
Грязь и плесень со стен отскребу.

Я вернусь молодым чудодеем,  
Не сегодня, так завтрашним днем;

Пусть однажды мы дело затеем —  
Десять раз, если надо, начнем!

Десять раз, если надо, разрушим,  
Чтоб воздвигнуть как следует, вновь,  
Дом невиданный с гребнем петушьим  
И людскую, простую любовь.

1939

\* \* \*

Примерещились мне камышовые плавни,  
Заалтайских лесов очарованный сон.  
Домосед неусидчивый, баловень давний,  
Там я радужных селезней бил не в сезон.

Помню тёмный урман, зыбуны моховые,  
Ропот вод, потревоженных дробью литой,  
Ледяную струю Саралы, где впервые  
Увидал я в бакыре песок золотой.

А ещё я смешки вспомянул, отговорки,  
Женский голос, что был и упрям, и нетвёрд.  
Абаканскую пыль, огороды, задворки  
И заборы дощатые с росчерком «Форд».

Это всё миновало, и мне не в догадку:  
Сколько лет позади, сколько зим впереди?  
Сыпь, слезовая соль, как в бездонную кадку,  
Разымай мои раны, томи, береди!

Уведи меня вспять по Сибирской дороге,  
Прожитая, разутая правда моя,  
Шерстью вышей кисет в пересыльном остроге,  
Приласкай, как жена, и ужаль, как змея!

Уведи меня к ружьям нечищенным, к сёдлам,  
К самодельным бутарам, к привальным кострам,  
Кинь под ноги красавицам, нежным и подлым,  
Усыпляй по ночам и буди по утрам.

Примани меня снова к хакасским затонам,  
К снеговому приволью бескрайних полей  
И в мороз колдовской на рассвете студёном  
Жидким золотом солнца мне горло залей.

Чтоб русалочий голос, знакомый и свежий,  
По тайге закружил бы меня на авось,

Чтоб в лесной глухомани, в трущобе медвежьей  
Мой потерянный клад, моё сердце нашлось!

1940–1948

### ПЕСНЯ

Льётся с подоконника  
Отсвет голубой,  
Дальняя гармоника  
Плачет вперебой.  
И плывет печальная,  
Серебром звеня,  
Жалоба прощальная  
Отжитого дня.

Над лесными падыми,  
Вдоль глухих полян.  
Призрачными прядями  
Стелется туман.  
Облачные заводи,  
Смутный дым костра,  
Зарева на западе —  
Стынут до утра.

И душе-затворнице  
Нынче вышел срок,  
Не сидится в горнице,  
Тянет за порог —  
Показать ли наново  
Молодую статью,  
Счастья ль бесталанного  
В сумерках искать?

Песню, что ли, горькую  
Слушать ей невмочь,  
Или мучит зорькою  
Северная ночь,  
Или дня увядшего  
Отсвет голубой  
Ласково и вкрадчиво  
Манит за собой?..

9 июня 1948 — 25 ноября 1952,  
лагерь Ветлосян

## СЛОВО

Я в пустыне мирской  
Тридцать лет проскитался,—  
Видно, жребий такой  
Мне сыздетства достался.

И земные пути,  
До последнего края,  
Довелось обойти,  
Будто в жмурки играя.

А кого я искал —  
Не пойму и доселе,  
Меж потоков и скал  
Осетинских ущелий,

Средь зырянских снегов,  
В черноморской лазури,  
Вдоль глухих берегов  
Половодной Уссури.

Но мерещилось мне,  
Словно отзвук былого,  
Наяву и во сне  
Заповедное Слово.

Всех времён череду,  
Их конец и начало,  
Всю людскую страду  
Это Слово вмещало.

Раззвенелось оно  
По родному раздолью,  
До отказа полно  
Ликованьем и болью.

Увело за собой  
Через горы и реки  
И с народной судьбой  
Обручило навеки.

Брёл я следом за ним  
По равнинам польнным,  
По тущобам лесным,  
По холмам и долинам.

В камышах Иртыша,  
На заре, средь разлива,

Недвижим, не дыша,  
Поджидал терпеливо.

На развилках дорог  
Заднепровья степного  
До рассвета стерег  
Заповедное Слово.

И над смутной Окой,  
У забытых затонов,  
Слушал чуткий покой,  
Полный песен и звонов.

И куда ни взгляни,  
Рассыпались в туманах  
Золотые огни  
Деревень безымянных.

За пределом земли,  
У зубчатой границы,  
Польхали вдали  
Городские зарницы.

И не счесть голосов,  
Что звучат, словно вести  
От полей и лесов  
От фабричных предместий.

То ли в гости зовут,  
То ли плачут, смеются...  
Там, где люди живут,  
Там и песни поются.

Здравствуй, доля моя,  
Приворотное зелье —  
Хлебный запах жилья  
И хмельное веселье!

Здравствуй, бор моховой  
У Шексны нелюдимою,  
Здравствуй, вечно живой  
Оклик воли родимой!

Я присвоил тебя,  
Хоть не горстью — щепотью,  
Ненасытно любя  
Всею душою и плотью.

Наша долгая связь  
Крепче веры и крови

И растёт, воплотясь  
В каждом сказанном Слове.

Здравствуй, светлая весть  
О лесах и поречьях,  
Средь которых не счесть  
Голосов человеческих!

Где, обычай храня,  
У костра, на причале,  
Плотогоны меня  
Добрým Словом встречали.

Где случайный сосед  
Приглашал меня на дом  
И, расправив кiset,  
Угощал самосадам.

И чужое тепло  
От табачного дыма  
Мне на сердце легло,  
Прикипев нерушимо.

Отгорели года,  
Словно угли привала.  
Не оставив следа,  
Жизнь, как сон, миновала.

От костра до костра  
Пролегла, прошумела,  
Ни кола, ни двора  
Прибережь не сумела.

Ни друзей, ни родни  
Средь метели слепящей,  
Лишь сугробы одни  
До студёные чащи.

Не отыщешь вокруг  
Ни своих, ни сторонних, —  
Снег да ветер, сам-друг,  
Свищут в гнездах вороньих.

Да звенит издали  
Голос медного рога,  
Где в алмазной пыли  
Пропадает дорога.

За зубчатой грядой  
Кличет Слово, как прежде,



Как ловец молодой  
В лебединой одежде.

Словно Див на дубу,  
Кличет ветру навстречу,  
Вызывая судьбу  
На последнюю сечу.

И серебряный зов  
Бьёт по елям косматым  
И гудит меж стволов  
Многokратным раскатом.

Ты повсюду со мной,  
Ты ведёшь меня снова,  
Трепет жизни родной,  
Заповедное Слово!

Ты со мною везде,  
Спутник доли бродячей,  
В безысходной нужде,  
В мимолетной удаче.

Мы шагали вдвоём,  
Не сдаваясь упрямо,  
Под уклон, на подъём,  
Шли всё прямо и прямо.

Наобум, налегке,  
Колдовскими ночами,  
Верный посох в руке  
И сума за плечами.

Не окончен наш путь  
По тропинкам по узким —  
И пока моя грудь  
Дышит воздухом русским,

И пока я живу  
На земле ненаглядной  
И томлюсь наяву  
Страстной памятью жадной.

И пока я пою  
И душа не ослепла,  
И пока восстаю,  
Словно Феникс, из пепла,—

Как живое зерно,  
Что воскреснуть готово,

Ты со мной заодно.  
Заповедное Слово!  
6–20 февраля 1952  
Асфальтовый рудник

## ДУМЫ ПРО ПУГАЧЁВА

То не тучи полдень обложили,  
Не Урал-гора к морю подступила,  
Не дремучий бор стеною вырос  
По-над поймой Волги многоводной —  
То на ранней зорьке петушиной  
Выходили в поле несметные рати,  
Несметные рати счастье-волюшку брати.

На поле сам царь-батюшка пресветлый,  
Государь Пётр Фёдорович Третий.  
В золотом зипуне изумрудном,  
В папахе бобровой с верхом собольим,  
В сафьяновых алых сапожках,  
Обошь — аксамитовая лента,  
Оплечь — казацкая сабля.  
Он конём буланым править изволит,  
Горячит его плетью шелковой,  
Без пути-дороги степью гонит.  
Праворучь — Салават-башкирин,  
Леворучь — Батырбек-татарин,  
А ещё — генералы, адмиралы,  
А ещё — атаманы, есаулы,  
Все полковники, подполковники,  
Государеву делу помощники,  
Государеву слову послушники,  
Государеву горю печальники.

Поглядел царь-батюшка пресветлый,  
Таково поглядел из-под ладони  
На четыре на стороны света:  
Впереди — ковыльное раздолье,  
Чернобыл волновой, чабрец луговой,  
А ещё — далёкие туманы,  
А ещё — высокие могилы.  
Позади дружина боевая,  
Ратный люд и конный и пеший,  
Кто обут, кто босой, кто с клинком, кто с косой,  
Кто с пищалью-ружьём, кто с дрекольем-дубьём,  
А и кто при таранах длиннорылых,  
А и кто при тугих самострелах,

Казаки в седле, мужики на земле,  
Как кому от рожденья положено.  
Поглядел царь-батюшка пресветлый  
На своё неисчислимое войско,  
Таково поглядел и слово молвил:

— Гей вы, детушки, вы, ребятушки,  
Чернокостный род, аржаная кровь,  
Мастеровщина да подёнщина,  
Пастухи, звероловы да пахари,  
Всеми миру Божьему работники,  
Всей громаде кормильцы-добытчики!  
В чисто поле вы не силком пошли,  
Не принудьём, не подневольём,  
А своим желаньем-охотой,  
А своей несносной досадой,  
Стародавней обидой нестерпимой.

И за то я вас жалую навечно  
Всей родимой землёй святорусской,  
Со удобьями, неудобьями,  
Со горами-долинами, холмами-равнинами,  
Со степями, лугами да пашнями,  
А ещё — лесами дремучими,  
А ещё — водами текучими,  
Ловом рыбным, гоном звериным,  
Пчельной бортью, птичьим гнездовьем,  
Ягодой, грибом да орехом.

А ещё вас жалую солью,  
Красной медью, белым железом,  
Кожей, копытом и рогом,  
Льком, льном и пенькою,  
Шерстью овечьей, щетиной кабаньей  
И хозяйством беспоплинным, безданным.

Жалую вас древним благочестьем,  
Верой дедовской да прадедовской,  
Бородою, знаменьем двуперстным  
И пречистым крестом осьмиконечным.

А ещё вас жалую волей  
Нерушимой до скончанья света,  
Безбоярщиной, бездворянщиной,  
Бездворянщиной, безгосподщиной,  
Жалую законом и правдой,  
А закон один — как счастливым быть,  
А правда одна — как весёлым быть.  
Живите, детушки, невозбранно,

Поживайте, ребяташки, прохладно,  
Живите-поживайте, добра наживайте,  
Добра наживайте, меня поминайте!

— А скажи-ка нам, царь-батюшка пресветлый,  
Всё отдал ты чёрному народу,  
Что ни есть, ничего не жалея,  
Раздарил горюну-трудоимцу —  
Что же ты слугам своим оставил,  
Генералам да адмиралам,  
Атаманам да есаулам,  
Полковникам, подполковникам,  
Помощникам, послушникам, печальникам?  
И ответь нам, царь-батюшка пресветлый,  
Что же ты самому себе оставил,  
Чем себя порадуешь, потешишь?

— Не забыл я слуг своих верных,  
Не забыл, не обделил наградой.  
Я степного им орла оставляю,  
Круглоглазого беркута степного,  
Крылья в две сажени размахом,  
Клюв горбатый, ухватистые когти.  
Как они орла того изловят,  
Спутают саженные крылья,  
Зануздают клюв и выколют очи,  
Отнесут орла царице-паскуде,  
Тут им немка золота отсыплет  
Безо всякой меры и счёта,  
А не хватит — столько же добавит.

И себя не обошёл я, не обидел,  
Я оставил себе колесо на столбе,  
Да просторную клетку железную,  
Да тяжёлую колоду дубовую,  
Да умелого мастера заплечного.  
Рубаха-то на нём кумачёвая,  
Ремешком наборным подпоясана,  
Шаровары на нём канифасовые,  
В голенища смолёные заправлены.  
Он по месту по лобному похаживает,  
Русы кудри рукой охорашивает,  
На топор исподлобья поглядывает,  
Лезвие легонько поглаживает.

20–23 февраля 1952  
Асфальтовый завод, Ухта

## ПУТЬ-ДОРОГА

1

Отгулял, такой негромкий,  
День последний декабря.  
У лесной, зубчатой кромки  
Тлеет поздняя зря.

И кругом лежит печальный,  
Словно выпавший навек.  
Бесконечный, безначальный  
Снег да снег, и снова снег...

Дымно-серый, бледно-сизый,  
Осенив земной предел.  
Он, как сын, прощальной ризой  
Тело матери одел.

За усталыми холмами,  
Серебрясь в вечерней мгле,  
Лебедиными крылами  
Распластался по земле.

Ни обоза, ни машины...  
Лишь за лесом меркнет свет  
Да косматые вершины  
Смотрят путнику вослед.

И грозят рогами сучьев,  
Машут лапами ветвей,  
Хлопья снега нахлобучив,  
Словно шапки, до бровей.

Зорким взглядом провожая,  
На прощанье говорят:  
— Сторона у нас большая,  
Знай, шагай всю жизнь подряд!

Не собьёшься, брат, с дороги,  
Приведёт куда-нибудь,  
Где крутой, а где пологий,  
Тот же самый санный путь!

2

Путь-дорога, без исхода!  
Не тебя ли здешний люд  
Бодро мерил год от года,  
Не чинясь, куда пошлют?

Хороша ты, столбовая,  
В зимовой своей красе —  
И шагает, напевая.  
Человек, такой, как все.

За плечами жизни много  
И немало впереди...  
Расстелись пред ним, дорога,  
К дальней правде приведи!

Ты ему в наследный жребий  
От младых ногтей дана.  
В бороде, как соль на хлебе,  
Крупно блещет седина.

Страстью каторжной измаян,  
Гневной памятью гоним,  
Он шагает — сам-хозяин  
И всегда хозяйство с ним.

У него в походной торбе,  
Где насущный хлеб да соль,  
Неоплаченные скорби.  
Неоплаканная боль.

Он силен поджарым телом,  
Но обид несмытый стыд  
На гайтане пропотелом  
В ветхой ладанке висит.

Да звенит, не умолкая,  
Будит снежные поля  
Воровская, колдовская,  
Злая песня бобыля.

3

Воротись к нему, беспечный  
Смех ребячий, хоть во сне,  
Протянись тропею млечной  
В недоступной вышине!

На кресты угрюмых ёлок,  
Вдоль проезжего пути,  
Белый морок, нежный полог  
Милосердно опусти!

Дай дойти разбитым бродням  
До сверкающей межи,

Снегопадом новогодним  
Душу вновь заморози!

И снежит, снежит охочий,  
Тароватый небосвод,  
В терема январьской ночи  
Гостя шопотом зовёт.

Будто светлый праздник детский  
Правит он исподтишка,  
Полной горстью, по-соседски,  
Сыплет звёзды из мешка.

То спшибаясь в поединке,  
То кружась, как мотыльки,  
Опускаются звездинки  
Лучезарны и легки.

По лесам, по голым склонам  
Разлетаются из тьмы,  
Словно взвешены в студёном,  
Грузном воздухе зимы.

Неприметно оседая,  
Гаснут в мареве ночном,  
Там, где спит земля седая  
Под могильным полотном...

4

Долог путь до Беловодья! —  
Дикий лес да буйный снег...  
Только тлеющая нодья  
Согревала твой ночлег.

Там, где в холоде скаженном  
Стынет горная гряда,  
Где бежит под льдом саженым  
Енисейская вода,

Где не сыщешь человека  
Средь болотных, топких мест  
И заказаны от века  
Пеший ход и конский езд —

Землю кровную повсюду  
Ты прошёл, во все концы,  
Чуя правду, веря чуду,  
Словно деды и отцы.

Исследил ее, не зная,  
Где судьбы твоей предел.  
Широка страна родная!  
Ты в скитаньях поседел.

Но в конце или в начале,  
Как её ни назови,—  
Горше не было печали,  
Жарче не было любви,

Краше не было свободы,  
Плена не было тесней,  
И теперь, седобродый,  
Ты, как прежде, скован с ней,

Скован горем и любовью,  
Скован верой и мечтой,  
Всею плотью, всею кровью  
Всею жизнью прожитой!

5

Самоцветы небосвода  
Гаснут, в воздухе скользят...  
Хороша твоя свобода,  
Да стерпеть её нельзя.

Так бессильно и тревожно  
Ты глядишь в слепую тьму —  
Человеку невозможно  
Быть в дороге одному.

С каждым шагом крепнут звенья,  
Тяжелеет цепь вдвойне —  
Нет прощенья, нет забвенья  
Ни одной твоей вине.

И скорбит о блудном сыне  
Снеговых просторов гладь,  
Шёпот Матери-Пустыни,  
Только слов не разобрать.

И снежит, снежит морозный,  
Бездыханный небосвод,  
Неживой поскребкой звёздной  
Обсеяв торф болот.

Видно, все свои светила,  
Янтари да хрустали



Ночь до крохи расточила  
Сирым пасынкам земли.

Расточила и ослепла,  
И роятся нынче в ней  
Вихри призрачного пешла  
Вместо праздничных огней.

Как притопнут, как присвистнут —  
Мёрзлый пар спирает грудь,  
Ноги вязнут, крылья виснут,  
Не пройти, не пропорхнуть!

6

В чистом поле, в небе мгlistом  
Веют мёртвые снега,  
И, дразня, бренчит монистом  
Захмелевшая пурга.

Где-то там, в лесах, за Брянском,  
Запевают вдалеке  
На цыганском, на гитанском,  
На гитарском языке.

Рвётся к звёздам голос трубный  
Окрылённым серебром,  
И гудят глухие бубны  
По оврагам, словно гром.

Все преграды, все основы  
Рушат небо и земля,  
И трясётся ствол сосновый  
От макушки до комля.

Пусть гуляет ветер свежий  
И метёт из края в край!  
Не обманет путь проезжий,  
Лишь надежды не теряй!

Ты увидишь, вечный странник.  
От дороги на восток  
Расписной, как тульский пряник,  
Деревянный городок.

Твой ли путь не светел снова,  
Ты ли с делом не знаком,  
У тебя ли нет стального  
Топора под кушаком?

Сколько б ты ни вывел петель  
По тропам страны родной,  
Все равно, Господь свидетель,  
Воротишься к ней одной.

7

Так ступай дорогой страдной  
Вдоль заснеженной Руси  
И нагой душою жадной  
Всё стерпи и все снеси.

И не тешь себя, не радуй,  
Полюби свой непокой,  
Пусть живой твоей наградой  
Будет правый суд людской.

Ты ещё никем не знаем.  
Брагу в честь твою не пьют.  
Но, как прежде, за Дунаем  
Копья русские поют.

Облака чреватые громом,  
Вещим пламенем полны,—  
Знать, опять пора шеломом  
Зачерпнуть донской волны.

Знать, пора заветным Словом  
Отчураться от беды,  
На великом тракте новом  
Встретив старые следы.

Где же твой рубеж последний,  
Предначертанный судьбой?  
Иль в грядущем, как наемни,  
Тяжкий труд и смертный бой?

И чего ты ищешь? Что там  
Ждёт тебя в пути твоём?—  
Поворот за поворотом,  
За уклоном вновь подъём.

Скорбный снег белеет строго,  
Стужа за сердце берет,  
И безмолвная дорога  
Все ведет вперед, вперед.

26 февраля — 15 марта 1952  
Асфальтовый рудник

## ЛЕС

На крайнем рубеже земном,  
Под сенью призрачных небес,  
Объятый беспробудным сном,  
Раскинулся дремучий лес.

Сквозь грозовые облака,  
В туманной дымке слюдяной,  
Он кажется издалека  
Зубчатой крепостной стеной.

Он полон вещей тишины,  
Он полон зоркой темноты,—  
Кольцом болот окружены  
Его деревья и кусты.

И неоглядно широки,  
За серебром речных излук,  
Лежат зыбучие пески  
Бог весть — на сколько вёрст вокруг!

Не отыскать к нему дорог,  
Ни малой тропки не найти —  
От первых дней на вечный срок  
Его минуют все пути.

Когда мне было десять лет,  
Я в этот лес забрёл впервой,  
Глядел. дивясь, на бересклет  
С живой пылающей листвой.

Я пил дыханье влажных трав,  
Простёртых в беспробудном сне,  
И к небу голову задрал,  
Следил за белкой на сосне.

И так доступна и близка,  
Ко мне склонялась в те года,  
Сквозь призрачные облака,  
Дерев зубчатая гряда.

И в сонной чаще разлита,  
Везде ждала меня она —  
Всевидающая темнота,  
Всезнающая тишина.

В ней чудилась такая страсть,  
Такая власть и торжество,

Что я дрожал, боясь упасть  
От стука сердца моего.

Ладони стиснув на груди,  
Я жадно звал немую тьму:  
«Приди... приди... приди... приди...» —  
Шепча неведомо кому.

И словно эхом порождён,  
Из древних дебрей в тот же миг  
Ответный зов, крылатый стон  
Души младенческой достиг.

С тех пор я стал и слаб и стар,  
Но, в сердце свято хороня,  
Унёс я песен странный дар,  
И он доньне у меня.

Он у меня, тот талисман!  
Лишь стоит веки мне сомкнуть,  
Я вижу небо и туман,  
Знакомый лес и верный путь.

Стремясь к нему, как блудный сын,  
Я вижу снова, издали,  
Дремучий рай, в кольце трясин,  
На крайнем рубеже земли.

Я вижу тот ребячий след,  
Проложенный в траве густой,  
И огнелистый бересклет,  
И бурелом, и сухостой.

И кажется, что жизнь сама  
Здесь растворилась в забвении...  
Опять безмолвие и тьма  
Лепечут песни мне свои.

И, словно символы судьбы,  
Овеянные тишиной,  
Тысячелетние дубы  
Склоняют кроны надо мной.

13–15 февраля — 2–3 марта 1948  
Ветлосян



К ВЕРХОВЬЯМ



## К ВЕРХОВЬSSM

### Заметки в стихах

«...движение реки —  
пена сверху и глубокие течения внизу.  
Но и пена есть выражение сущности!»  
Философские тетради

Всю ночь буксирный катер юркий  
С теченьем бился грудь о грудь,  
И моторист кидал окурки,  
Всю ночь дымя, чтоб не заснуть.  
Окурки с маху относило  
Назад, к бурлящему винту,  
И завихряло, и гасило,  
Раструсивая налету.

Окурки мчало по орбите,  
Подхлестывая и кружа,  
Туда, где чудищем подбитым  
На тросе волоклась баржа;  
Едва один, метнувшись криво,  
Терял на полпути накал,  
Как вскоре, после перерыва,  
Другой, мерцая, возникал.

Баржа была широкобока  
И шла — считай, что порожнём;  
Она сидела неглубоко,  
Её подразгрузили днем.  
Осталась фрахта в брутто-тоннах  
На круг — не больше тридцати,  
Для получателей районных,  
На пристани, в конце пути.

И вместе с грузом на посуде  
Остались, тоже до конца,  
Попутные, чужие люди:  
Две девушки и два юнца,  
Угрюмый дядька лет под сорок

И тощий старичок рябой;  
Их после разных отговорок  
Нестрогий шкипер взял с собой.

Вчера, под вечер, при аврале,  
Когда он руки потирал,  
Довольный тем, что забирали  
Последний пиломатерьял,—  
Просители явились разом  
К нему, на палубный настил;  
Для форсу подразнив отказом,  
Добряк-хозяин всех пустил.

Теперь, среди сырого мрака,  
Дремали гости на барже...  
Одна из девушек, однако,  
Как будто выспалась уже.  
Во тьме, вслепую ставя ноги,  
Замлевшие во время сна,  
Полна томленья и тревоги,  
Корму покинула она.

Она пробралась правым бортом  
Туда, где вахтенный матрос  
В брезентовом плаще потёртом  
Спиною к брашпилю прирос;  
Сперва о времени несмело  
Осведомилась, а затем  
Сконфузилась и онемела  
Не находя уместных тем.

Сквозь тусклый воздух еле-еле  
Угадывались берега.  
Непроницаемо чернели  
Не то кусты, не то стога,  
И тени, липкие, как дёготь,  
Вставали в близости такой,  
Что их, пожалуй, перетрогать  
Могла бы девушка рукой.

Там пучеглазые растенья  
Ползком тащились рядом с ней,  
Дремучие переплетенья  
Не то ветвей, не то корней;  
Вся полоса береговая,  
Вдоль неба, как смолистый дым,  
Передвигалась, прикрывая  
Одно созвездье за другим.



Матрос в молчании бесстрастном  
Смотрел на дымную кайму,  
И справа белым, слева красным  
Мигали бакены ему;  
Роняя чешую цветную,  
Огни спускались по реке,  
И подступив почти вплотную,  
За мысом гасли вдалеке.

Явленьем девушки сторонней.  
Был раздосадован речник.  
Он отвернул свой нос вороний  
И спрятался за воротник;  
Брезгливую гримасу скорчив,  
Припоминал итог зимы,  
Когда он стал неразговорчив,  
Досрочно выйдя из тюрьмы.

Февраль вернул ему свободу,  
Зато оставил без жены;  
Он променял завод на воду,  
Пустился в плаванье с весны,  
Из рейса в рейс, живёт как может  
И за душой не держит зла,  
А если червь порою гложет,  
Плеснёшь в него — и боль прошла.

В том пароходстве захолустном  
Расцвёл его цыганский нрав.  
Сроднился он с простором грустным,  
С чередованьем переправ.  
Река терпению научила,  
Морщины сгладила у глаз;  
Сюда он прыгнул, как в бучило,  
А получилось — в самый раз.

Река, лоснясь подобно коже,  
Среди невидимых полей,  
В сравненье с берегами всё же  
Была немного посветлей.  
На уровне с краями русла  
Катила грузная вода,  
Густая, как пивное сусло,  
Из ниоткуда в никуда.

Однообразно и зловеще  
Вода плескалась о борта,  
И всхлипы там звучали резче,  
Где непроглядней темнота,

Где некто. вымазанный тиной,  
Точил похмельную слезу,  
Разлатой лапою утиной  
За днище уцепясь внизу.

Незваной гостье будто внове  
Дышалось воздухом речным,—  
Свободным воздухом верховий;  
Она выросла вместе с ним.  
В преобразующем размахе  
Бескрайней темени глухой  
Её сомнения и страхи  
Предстали детской чепухой.

Недавней выпускнице минской  
В обмен на школьную скамью  
Нашёлся угол материнский  
На буровой, в лесном краю,  
И оказался отчим домом  
Тысячезвёздный небосвод  
И удивительно знакомым  
Язык листвы и здешних вод,

И говор камышовой чащи,  
И вздох волны, и скрип досок,  
И шёпот пены, уходящей  
В насытый илистый песок,  
И каждый ствол прибрежной ивы,  
И каждый травяной побег,  
И этот странный, молчаливый.  
Стоящий обок человек.

Буксир тянулся, словно дроги,  
Когда поклажа велика,  
И дизель, как медведь в берлоге,  
Рычал в утробе катерка,  
Ворочался, плевал автолом,  
Надрывно тряся, как шальной,  
И духом выхлопов тяжёлым  
Несло по ветру, над волной.

Но пассажирка, привкус газа  
Ловя полуоткрытым ртом,  
Вбирала воздух до отказа,  
Чтоб резко выдохнуть потом.  
Ей было сыро и прохладно,  
И в поисках струи тепла  
Она, принюхиваясь жадно,  
На планшир грудью прилегла.

Ей чудились привет и ласка  
В сладимом дизельном дымке,  
Размякшем приторно и вязко,  
Как пастила на языке;  
И обгоняя ветер встречный,  
Пред нею, по кривой, врасхлѣст,  
Опять взмывал недолговечный,  
Сыпучий рой табачных звѣзд.

Соринки, вспыхнув, отгорали,  
Как настоящие миры,  
Чертя восьмѣрки и спирали,  
Согласно правилам игры.  
Недаром их создатель тоже  
Сквозь сон творил свою труху;  
И судьбы искр повсюду схожи,  
Что нанизу, что наверху.

Весь прочий, пѣстрый люд плавучий  
Дремал в потѣмках, где пришлось.  
Вчера их свѣл дорожный случай,  
А усыпил позднее врозь.  
Он их сморил поодиночке,  
И каждый человек во сне,  
На свой салтык, в своём куточке,  
Существовал наедине.

Вторая девушка в сторонке  
Лежала, съѣжившись в комок.  
Подбитый ветром пыльник тонкий  
Согрел беднягу, сколько мог.  
Бумажной тканью неуклюже  
Закутанная с головой,  
Хребет — серпом, ступни — кнаружи,  
Она казалась неживой.

Но если присмотреться зорче  
К помпеянке из Кобеляк,  
Окоченелой в смертной корче,  
Как заплѣванный беляк, —  
Еѣ торчащие лопатки,  
Обтянутые до кости,  
С изнанки подымали складки  
Толчками, словно две культя.

Под смятой саржей цвета хаки  
Ходили плечи ходуном,  
Кишмя кишела жизнь во мраке  
Души, раскрепощѣнной сном.

Как тесто, там взбухало что-то,  
Избавленное до утра  
От бремени самоотчёта,  
И выпирало из нутра.

Девичье, худенькое тело,  
Перестрадав за долгий путь,  
Теперь немного хотело:  
Свободы, — хоть какой-нибудь!  
Свободы плыть к речным верховьям,  
Где новосёлы так нужны,  
И с туфлями под изголовьем  
Свободы спать и видеть сны.

Что снилось ей? — Размолвка с братом?  
Базары в южных городах?  
Роман с бухгалтером женатым,  
Притом в порядочных годах?  
И это бегство, и больница,  
И вымогатели везде...  
Да мало ль что в пути приснится,  
Под звёздным небом, на воде.

Неподалёку, на рогоже,  
Устроился немолодой,  
На молдаванина похожий  
Крепыш с трехдневной бородой.  
За бочками из-под селёдок  
Найдя укромный уголок,  
Задрал булыжный подбородок  
И навзничь на всю ночь прилёг.

Он выбрал место, где почище,  
И вытянулся, как струна,  
В своем каляном пиджачище  
Из грубошерстного сукна,  
И в полудрёме-полуяви  
Позёвывал на холоду,  
Желтушные глаза уставя  
На безымянную звезду.

Всё в этом дядьке кудлобровом  
Внушало робость — хоть беги!  
И всё на нем казалось новым:  
Пуловер, кепка, сапоги.  
Багровоскульный, сизощёкий, —  
В нем бессарабское вино,  
Бараний жир, мясные соки  
Скипелись в месиво одно.

На первый взгляд: хитёр, молодчик!  
Такой не лезет на рожон.  
Десяток сухотарных бочек, —  
И ты от ветра сбережён.  
В чужом раздолье невесёлом  
Ты ждешь волны очередной,  
И пахнет лыком и рассолом,  
Дунайской дельтою родной.

А ловко бывшего страдальца  
Перелопатила судьба,  
Снабдила щедрым слоем сальца  
На брюхе и поверх горба,  
Вернула стати остальные,  
Как соль, сыпнула седину  
И зубы вставила стальные  
Заместо выпавших в плену.

Теперь за отжитое горе  
Он под расчёт вознаграждён,  
Работает в заготконторе  
И словно сызнова рождён,  
Завёл семью, ничуть не хуже,  
Чем в Измаиле, до войны:  
Жена души не чает в муже,  
И девочки с отцом нежны.

Да разве это он, тот самый,  
Острушленный, почти мертвец,  
Дрожавший близ отхожей ямы  
У грудки тлеющих дровец?  
Шматок стервятины лошажьей  
Ногою, как футбольный мяч,  
Ему поддал охранник ражий,  
Смешливый, розовый лохмач.

В ту пору молодым и старым  
Была огулом — грош цена,  
И смерть, как воздух, шла задаром:  
Прилёт на глину — и хана.  
И он лежал на глине скользкой,  
Клыками бурыми стуча,  
В загаженной шинели польской  
С чужого, мёртвого плеча.

Не доброта, не стыд, не жалость  
Руководили лохмачом,  
Швырнувшем жизнь ему, как малость,  
Как дар, который нипочём.

Ведь мог баварец яснолобый,  
Не из жестокости — отнюдь! —  
А просто так, без всякой злобы,  
По шелудивому пальнуть.

А вот не выстрелил — от лени,  
Опустошающей сердца;  
Напротив, кинул жадной тени  
Лоскут смердящего мяса.  
Как позабыть о той конине,  
Когда весь мир гнильем пропах  
И страшный смак ее поныне  
На языке и на губах?

Плывёт к верховьям бывший пленник,  
Покачиваясь на волне,  
Везёт в портфеле кучу денег,  
Подарки детям и жене.  
А стоит ли рождаться дважды  
С одной душою на двоих  
И в новой жизни помнить каждый  
Из предыдущих дней твоих?

Тебе воздали за потери,  
С лихвою оплатив счета,  
Восстановили в полной мере,  
Но не вернули ни черта.  
Уж как тебя ни приделали,  
Сперва до нитки обобраз,  
Ветхозаветный спор на деле  
Ты проиграл, хотя и прав.

Тогда, в доме благословенном,  
Что нам достроить не дано,  
Всё было зыбким и мгновенным,  
Неуловимым, как в кино.  
Но был какой-то праздник ранний  
В коротких вспышках прежних дней,  
И прежняя жена желанней,  
И дочка прежняя нежней.

Не сохранилось даже снимка  
Того ребёнка, той жены,  
Лишь ноет память-нелюдимка,  
Мы притерпеться к ней должны,  
Нам надо жить в суровом мире,  
Где жизнь — река и смерть — река,  
И мглистой ночью, на буксире,  
К верховьям плыть издалека.

А катер по бугристым водам  
Волок тяжёлую баржу,  
С её хозяйством и народом,  
К назначенному рубежу.  
Опять прерывисто летели,  
Светясь во тьме глухонемой,  
Витки латунной канители  
И пропадали за кормой.

Ночной курильщик был незримым;  
Он машинально, чтоб не спать,  
Затягивался горьким дымом,  
Швырял окурки и опять,  
Упрятанный в кабине жаркой,  
Лицом к лицу с самим собой,  
Из пачки, пахнувшей соляжкой,  
Наощупь извлекал «Прибой».

Мосластый, рыжий, длиннорукий,  
Облокотившись о штурвал,  
Созвездья он гасил от скуки  
И вновь от скуки создавал,  
Глядел с ленивою тоскою  
Туда, сквозь толстое стекло,  
Где время, наряду с рекою,  
Навстречу медленно текло.

Где уходили невозвратно  
В пространство позади баржи  
Бесформенные комья, пятна,  
Сраценья, спайки и тяжи,  
И намечалась, проступая  
На стыке неба и земли,  
Зубчатая стена слепая,  
Не то вблизи, не то вдали.

Как знать, — авось, тропую грязной,  
Вдоль берега, за лозняком,  
Другой детина несуразный  
К верховьям держит путь пешком,  
Бредёт походкой осторожной,  
Ступни волочит, как по льду,  
И стёжку палкою дорожной  
Ощупывает на ходу.

Такой же рыжий и костлявый,  
Как тот курильщик-рулевой,  
Он топчет луговые травы,  
Шуршит в ольшанике листвою,

И острекавшись о крапиву,  
Напропалую, в темноте,  
По невысокому обрыву  
Съезжает вниз на животе.

Он, руки распластав, как ласты,  
Ничком ложится на пески  
И разевает рот щелястый,  
Лакая прямо из реки;  
И верно, нет напитка слаще,  
Чем эта чёрная вода,  
Где золотинкой заваленной  
Блестит безвестная звезда.

Сейчас, быть может, на пригорке  
Уселся поздний пешеход  
И на сигарку из махорки  
Пустил клочок письма в расход;  
Берёг его, таскал в кармане,  
И наконец пора пришла,  
Здесь, над водой, средь глухомани  
Избавиться от барахла.

Он спрятал спичку меж ладоней,  
Но шквальный ветер, прямо в лоб,  
Вовсю дохнул еще студёней  
И пламя слабое соскрёб.  
Ну что ж, помедлим полминутки  
На здешних берегах пустых,  
Дадим поблажку самокрутке,  
Покуда ветер не утих!

Как знать, — быть может, на покато  
Бечевнике останешься,  
Он стал по-княжески богатым,  
С минувшим расторгая связь?  
И счастлив потому впервые,  
Что на сто вёрст наверняка  
Одни кусты береговые  
И ни души средь лозняка?

А сам он есть ли, этот странник?  
Быть может, из ветвей и пней  
Его слепил густой ольшаник  
Игрой обманчивых теней?  
И там лишь чучело у плёса,  
С пучком травы взамен лица,  
Носастый сук, торчащий косо,  
Да ствол сухого деревца?



Но кто б ни оседлал пригорок  
В кустах, нависших над водой, —  
Бобыль бродячий или морок.  
Принявший только вид людской, —  
Он дико зыркнул исподлобья  
На раскосмаченный мысок,  
Где тоже скрючились подобья  
Людей, присевших на песок.

Ему послышалась оттуда  
Мотора дробная возня,  
И вдруг возникли, словно чудо,  
Два белых топовых огня.  
Они вполдерева скользили  
Над пляской хлябей водяных  
По направлению к верзиле,  
С бугра глазевшему на них.

Когда огни подплыли ближе  
К прибрежной каменной гряде, —  
Две тени, словно сгустки жижи,  
Обрисовались на воде,  
Бортами темень раздвигая;  
Одна поменьше, а за ней  
Скирдоподобная — другая,  
Гораздо шире и грузней.

Среди ночной неразберихи  
Послушалось: — Агу... агу...  
Нежданный звук, настолько тихий,  
Что человек на берегу,  
Наставя ухо, плач ребячий  
Не сразу даже распознал:  
Неужто шлёт попутчик младший  
Ему приветственный сигнал?

И жёлтый, словно глаз совиный,  
Внезапно вспыхнул перед ним  
Прямоугольник с крестовиной,  
Прикрытой ситчиком сквозным;  
И как на маленьком экране,  
Полупрозрачном, как слюда,  
Затанцевала тень на ткани —  
Туда — сюда, туда — сюда...

А вправду ли во мраке этом,  
Проходим людям напоказ,  
Окошко с женским силуэтом  
Светилось, как совиный глаз?

А может, здесь и не бывало  
Таких окошек триста лет,  
И вообще не проплывала  
Баржа за катером вослед?

Знать, померещились бродяге,  
Не то в бреду, не то во сне,  
Суда на гребнях темной влаги  
И детский плач и тень в окне.  
Зачем ему чужой ребенок  
И баба неизвестно чья?  
Зачем увиденный спросонок  
Дешёвый рай для дурачья?

Каких бы ни было хороших,—  
Нехай к верховьям их везут,  
Во мгле, меж берегов заросших,  
Под небом чёрным, как мазут.  
Проехали — и слава Богу!  
Тебе шататься не впервой;  
Ты отдохнул. Пора в дорогу,  
И долог путь до буровой.

Нашарив мочковатый корень  
В сплошных узлах и желваках  
И прочный, как железный шкворень,  
Он подтянулся на руках,  
На бровку навалился грудью,  
Осилил кручу и привстал,  
И, словно радуясь безлюдью,  
В четыре пальца засвистал.

И в чащах, по холмам лесистым,  
По обе стороны реки,  
Откликнулись нестройным свистом  
Другие братья-ходоки.  
Заправив призрачные пальцы  
В несуществующие рты,  
Ему такие же скитальцы  
Ответили из темноты.

Вот, наконец, на дальних склонах,  
Вломившись грубо в березняк,  
Последний из бродяг бессонных  
Собрату свистом подал знак.  
Тогда ночной ходок досужий  
Скривил в ухмылке узкий рот.  
С приподнятой губой верблюжьей  
И снова зашагал вперед.

А где-то там, в бездомной шири,  
Тащил прилежный катерок  
Баржу к верховьям на буксире —  
Он отрабатывал урок.  
Неприхотливый. недреманный,  
Силёнки скудные напруг,  
Взбираясь по реке туманной  
Меж перекатов и коряг.

Пока он выгребал устало,  
Барахтаясь на быстрине,—  
Едва приметно рассветало;  
Уже по капелькам, извне,  
Сквозь твердь просачивался туго  
Знобящий выпот ледяной,  
И становилась вся округа  
Из края в край совсем иной.

Меж зарослей кувшинок сонных,  
Где сумрак был ещё глубок,  
Тайком проклюнулся в затонах,  
Налёт, похожий на грибок.  
Он влажною чертою свежей  
От суши воду отделил,  
Обвёл границы побережий  
Размытым очерком белил.

И небо в дырах и плешинах  
Мерцало волчьей сединой,  
Среди осин суховершинных  
И пестряди берестяной;  
Поисчезали звёзды вскоре,  
И над землёю лишь одна,  
Как соляной кристалл в растворе,  
Ещё отчетливо видна.

Всё изменилось: воздух, воды,  
В заливах спящая куга,  
Холмов хохлатые обводы,  
Поля, поёмные луга,  
Морщинистая рябь на стрежне,  
Кипящий след из-под винта,  
И катерок уже не прежний,  
Да и баржа уже не та.

И люди кажутся иными  
На отрезвляющем свету;  
Стряслось под утро что-то с ними,  
И дольше спать немоготу.

А что стряслось? Какая сила,  
Во имя блага или зла,  
Заботой лица исказила,  
Тела тревожно напрягла?

И снова жизнь! Зачем ей надо  
Навязываться нам в родню?  
И снова муки перепада  
От ночи к суетному дню,  
И снова тот же выбор лживый,  
Когда другого нет пути,  
И мы должны, пока мы живы,  
К верховьям исподволь ползти.

Мы рады бы, закинув локоть,  
Во сне похрапывать и впредь,  
Пускать слюну, губами чмокать,  
Себя своим дыханьем греть.  
Но разве солнце нам позволит  
Хоть нынче отоспаться всласть?  
Малейший лучик злобно колет  
И норовит в зрачок попасть.

Нам пробудиться нету мочи,  
Самим, без внешнего толчка,  
И каждый на исходе ночи  
Изображает новичка,  
И ослеплённые до боли,  
Не понимая ни аза,  
Мы открываем поневоле  
Осоловелье глаза,

И смотрим, сколько хватит зренья,  
На возвращённый рай земной,  
Как первый день миротворенья,  
Встречая день очередной;  
Мы, словно дети, утром ранним  
Опять глядим по сторонам  
И ни разочка не вспомняем  
О ночи, предстоящей нам.

Тем часом дедуган щербатый  
Зашевелился на корме,  
Стянул треух с торчащей ватой,  
Нашарил кое-что в суме,  
Добыл чекушку, соль в тряпичке,  
Яйцо, головку чеснока,  
Перекрестился по привычке  
И стал сосать из пузырька.

Он четвертинку, шлёпнув с тылу,  
Направил горлышком к себе,  
А донцем — к тусклому светилу,  
Подобно зрительной трубе;  
Когтистой лапою барсучьей  
Задрал посудину торчком  
И потянул напиток жгучий,  
Забулькал острым кадыком.

Он пил, блаженно щуря веки  
И набок нос перекосив,  
Как вдруг вдали слышал некий  
Не то приказ, не то призыв.  
Бог весть откуда, с тёмной суши,  
Застигнув, как всегда, врасплох,  
Донесся вещей вопль петуший —  
Прокукарекал и заглох.

За ним вдогон — другой да третий,  
Четвёртый, пятый и шестой,  
Повтором хриплых междометий  
Окликнули простор пустой.  
Но дед невозмутимо сплюнул,  
Рукой провел по бороде,  
В суму порожний шкалик сунул  
И важно приступил к еде.

Опять в родном краю медвежьем  
Он поутру, как старожил,  
Вслед уходящим побережьям  
Скучливо глазками скользил,  
Закусывал лепёшкой пресной,  
Под бок подсунув кожушок,  
И облик местности окрестной  
В нем любопытства не разжѐг.

Видать хозяина! Ещё бы —  
Он здесь родился, здесь помрѐт  
И превзошёл свои трущобы  
Насквозь, как свой же огород,  
Как собственный домишко валкий,  
Где он, природный костоправ,  
Хранит у потолочной балки  
Пучки сухих целебных трав.

Кто он в действительности? Разве  
Узнаешь по глазам судьбу,  
По согнутой спине, по язве  
На костяном, лощёном лбу,

По рыбьим челюстям беззубым  
За провалившейся щекой,  
По многочисленным и грубым  
Приметам старости людской?

Никто присяжным земледельцем  
Сморчка бы этого не счёл;  
Ему, с таким убогим тельцем,  
Сидеть бы только возле пчел.  
Подобным недоноскам хилым  
Не по плечу крестьянский труд,  
А что взаправду им по силам —  
Лишь после смерти разберут.

Наверно, он тайком скорняжил,  
Лечил скотину и людей,  
Едва беды себе не нажил  
Как деревенский чародей,  
Наверно, в нарушение правил,  
На речке и в лесу грешил,  
Сетишки потихоньку ставил,  
Силками рябчиков душил.

Хромой сыздетства, щуплый, мелкий,  
Солдатчины не отбывал,  
С германцем не был в перестрелке,  
В гражданскую не воевал.  
Весь мир за семь десятилетий  
Трясли подземные толчки,  
А он украдкой ставил сети  
И настораживал силки.

Он числился в колхозе хворым;  
К нему уже который год  
Не приступали с разговором  
По части полевых работ.  
Его оставили в покое  
Навек, бессрочно, до конца,  
И положение такое  
Устраивало хитреца.

Хоть он давненько стал скупенек,  
Ловил, маклачил под шумок,  
Но никогда заметных денег  
В кубышке прикопить не мог.  
Он трижды начинал сначала,  
Но провидение само  
Неотвратимо превращало  
Его сокровище в дерьмо.

Так прозябал он — очень ровно, —  
Бездетен, холост, одинок,  
И жизнь его минула, словно  
Вчерашний пасмурный денек,  
Приблизилась к заветной грани  
И завершала путь прямой,  
Не предъявляя оправданий  
Ни людям, ни себе самой.

Но эта жизнь была не хуже  
Любой другой; она была  
Мелькнувшей в темноте и стуже  
Частицей света и тепла.  
Чего же требовать иного  
В последний из прощальных дней?  
Какая, в сущности, основа  
Упрёков, обращенных к ней?

Кто спросит у неё ответа  
В конце дороги, у черты,  
Что, мол, за то-то и за это  
С людьми не расплатилась ты?  
Она ни в чем не виновата  
И ни полушки не должна;  
Одна-единственная плата  
За жизнь — всегда сама она.

А дед, стараясь поисправней  
Огрызки уложить в суму,  
Не чаял, что петух недавний  
Отходную пропел ему,  
Что смерть идет за ним по следу,  
Что он лепёшек не доест,  
Сойдёт на пристани к обеду  
И разочтётся за проезд.

Река дышала млечным паром.  
Туман поречье обволол.  
На каждом прутике поджаром  
Курчавился белесый клок.  
Тянулись перистые пряди,  
Развешанные по кустам,  
И припадали к водной глади,  
Чтоб смутно повториться там.

Игра волшебной светотени  
Как бы в движенье привела  
Все разновидности растений, —  
От суковатого ствола

До стрелки травяного стебля,  
От злаков до столетних ив,  
Их очертания колебля  
И заново перекроив.

Магическое покрывало  
Легло, как лак на полотно;  
Оно подробности сливало  
В одно текучее пятно,  
И расчленённый облик мнимый  
Природы вмиг, во весь объём,  
Явился — цельный, неделимый,  
В единстве истинном своём.

Туман пузырился, как дрожжи,  
И, превращаясь в облака,  
Порывисто, минутой позже,  
Взмывал над гривой тростника,  
И в дымном куреве мелькая,  
Баржа по воздуху плыла,  
Как будто сила колдовская  
Её внезапно подняла.

В пролете от галюна к рубке,  
Где вдоль шнуров прикреплены  
Пеленки, распашонки, юбки,  
Тельняшки, простыни, штаны,  
У свалки стланей деревянных,  
За провисающим бельём,  
Два парня на бушлатах рваных  
В обнимку улеглись вдвоём.

Все люди — поневоле братья.  
Чем неприютнее вокруг,  
Тем крепче братские объятья  
На скудном ложе из дерюг.  
Любой родни тебе дороже  
Твой побратим, попутчик твой,  
С тобой деливший это ложе  
Студёной ранью ветровой.

Таким и был холодноватым  
Ночлег, особенно к утру,  
Но тем не менее ребятам  
Пришелся явно по нутру.  
Они друг друга согревали  
По-братски и храпели в лад,  
Хотя их братьями едва ли  
Признали бы, на первый взгляд.



Здесь две различные породы  
Представлены для образца:  
Один — курносый, безбородый,  
С густым румянцем в пол-лица,  
Другой — апостольской щетиной  
До глаз неряшливо оброс  
И в небосвод уставил длинный  
Ассиро-вавилонский нос.

Обоим, с виду, несомненно,  
Не больше, чем по двадцать лет;  
Один — похожий на спортсмена,  
Другой — худущий, как скелет,  
Один — щекастый, белокожий  
Приземистый сибирячок,  
Другой — смугляк с цыганской рожей  
И вмятинами вместо щек.

Ровесники, вдобавок — тёзки,  
Два отпрыска одной земли,  
На эти палубные доски  
Случайно рядом прилегли.  
Своя, особенная проба  
У каждого из двух ребят,  
А между тем — заснули оба  
И одинаково храпят.

Итак, пред нами два Ивана:  
Общественник и нелюдим;  
Но предпочтенье, как ни странно  
Мы никому не отдадим.  
Обоим выпал жребий трудный,  
А для отца его сыны,  
И добродетельный, и блудный,  
Не по достоинствам равны.

Один Иван — из лучших лучший,  
Любимец множества друзей,  
Другой — мечтатель невезучий,  
Чудак, растяпа, ротозей,  
Один учился на пятёрки  
И дни, и ночи напролёт.  
Другой — помешанный на Лорке  
Косноязычный виршешлёт.

Один Иван — и впрямь царевич,  
Другой — по паспорту Иван,  
Но не царевич, а Гуревич,  
Из юго-западных славян.

У одного Ивана в Омске  
Дядья да тётки, мать-вдова,  
Другой — воспитанник детдомский.  
Иван, не помнящий родства.

Один дружинником толковым  
Считался, видимо, не зря,  
Другой не ладил с участковым  
И был, по правде говоря,  
Неисправимым тунеядцем,  
Стихами заполнял тетрадь,  
Работал редко и с прохладцем,  
Предпочитая загорать.

Лежат в обнимку парни эти,  
Вдвоём — хороший и дурной;  
Что делать! — оба наши дети,  
Два отпрыска земли одной.  
И как ни осуждай сурово,  
Но все-таки наверняка  
Нам жальче мальчика второго,  
Того Ивана-дурака.

Беспомощный, жердеобразный,  
Лунатик, лодырь, скоморох,  
Наш блудный сын, гуляка праздный,  
Не так уж безнадежно плох.  
Он всюду вносит беспорядок.  
Не зная — в чём его вина?  
Но сахар без него не сладок,  
Соль без него не солона.

Взгляните на его босые,  
Одугловатые ступни,  
Измерившие пол-России,  
Опухшие от беготни!  
Взгляните на его лодыжки  
В сплошных расчёсах кровяных,  
Прислушайтесь к его одышке —  
Точь-в-точь — у лёгочных больных!

Ведь каждый вдох его и выдох,  
Без слов, как детский плач навзрыд,  
О незаслуженных обидах,  
Захлёбываясь, говорит.  
Как будто хлещет из гортани,  
Кишит и пенится во рту  
Поток библейских причитаний  
И тут же глохнет на свету.

Чего он ищет одурело  
И чем когда-нибудь воздаст?  
Какая вера в нем созрела.  
Стремясь прорвать последний пласт?  
Ни смысла. ни особой чести  
В его нелепом мятеже,  
Но он плывет, с другими вместе,  
К верховьям, на одной барже.

Однако стихотворец тощий,  
Как заяц, давший стрекача,  
Понятнее для нас и проще  
Академиста-омича.  
Поэт в таёжный край пустынный  
Удрал, спасаясь от суда,  
Но вследствие какой причины  
Студент пожаловал сюда?

Зачем передовик ретивый,  
Из факультетских воротил,  
Ценой блестящей перспективы  
Проезд к верховьям оплатил?  
Что побудить могло такого  
Удачника сгруппировать вдвойне,  
Завербовавшись бестолково  
По объявлению на стене?

Возможно, этому решенью  
Давно предшествовал наход  
Подспудной страсти к разрушенью,  
Которая из года в год  
Накапливается как некий  
Неощутительный недуг,  
Способный в каждом человеке  
Опасно обостриться вдруг.

Тогда становится постылым  
Наш дом и даже воздух в нем,  
И труд привычный не по силам,  
И не по силам день за днем  
Существовать в кругу счастливом  
Преуспевающей родни  
И медлить с неизбежным взрывом:  
Он грянет — сколько ни тяни!

И мы негаданно-нежданно  
Простившись, — лишь бы поскорей! —  
Уходим, не допив стакана,  
От наших жён и матерей,

Отваливаем от причала.  
Чтоб наконец-то, налегке,  
Попробовать опять сначала  
К верховьям двинуть по реке.

А может, было всё иначе,  
И скрытая причина в том,  
Что курсовой комсорг бродячий  
Решил покинуть отчий дом  
И, зубы стиснув, плыть к верховьям  
Затем, что справиться не мог  
С типично-русским нездоровьем  
И стушевался под шумок.

Порой овладевает нами  
Самосожженческая хворь;  
Она похожа временами  
На scarlatinu или корь  
И подбирается украдкой,  
Сопровождаясь по ночам  
Загадочною лихорадкой,  
Не поддающейся врачам.

Лежишь ничком на раскладушке,  
Не задремав ни на часок,  
От жёсткой, словно жечь, подушки  
Раскалывается висок,  
Но ты, хоть бейся, как в падучей.  
Хоть притворяйся и хитри, —  
Не успокоишь зуд пекущий,  
Тебя язвящий изнутри.

Коль ты уверовал сыздетства,  
Что все дозволено в борьбе,  
А цель оправдывает средства, —  
Валяй же, примени к себе  
Ярмо двусмысленной доктрины  
И безоглядно сам прими  
Служения устав старинный,  
Чтоб отчитаться пред людьми.

Ты должен правды гнёт жестокий  
Изведать на своем горбу  
И отыскать ее истоки,  
Пока не вылетел в трубу.  
В противном случае едва ли  
Душевный обретешь покой,  
Не потрудясь — как нам певали —  
Своею собственной рукой.

Возможно, так, возможно, этак,—  
И странствующий сибиряк  
Не взбунтовавшийся подлеток,  
Не правдолюбец, не добряк,  
А бедный петушок влюблённый,  
Покинувший родной насест,  
Чтоб от любви неразделенной  
Бежать в пустыню здешних мест.

Еще силён крылатый лучник  
И нас тиранит поделом,—  
Соединитель и разлучник,  
Неутомимый судьболом!  
Конечно, испытал не всякий  
Его губительную власть,  
Но почему бы забияке  
В число подранков не попасть?

Подранок или не подранок,  
Но он, забравшись на корму,  
Плывёт к верховьям спозаранок;  
Не всё равно ли — почему?  
Какой бы повод подходящий  
Ни выбрал бывший коновод,  
Но бодрствующий или спящий,—  
Не сомневайтесь — он шлывёт.

На протяжении летних суток,  
Предвестником погожих дней  
Бывает краткий промежуток,  
Когда заря уже бледней,  
А солнце греть ещё не в силах  
И может лишь блеснуть в росе,  
Коснуться капелек застылых  
И высветлить мгновенно все.

Как призрак звёзд минувшей ночи,  
Мерцают влажные огни;  
Чуть жарче солнце, чуть жесточе —  
И улетучатся они.  
Но не вступил еще кудрявый,  
Беспечный день в свои права,  
Пока подобьем звёздной славы  
Одеты камни и трава.

Непрочен этот блеск, недолог,  
Но время есть ещё, пока  
Росой обрызганный посёлок  
Сплывает к нам из-за мыска,

Пока распяленные сети  
На кольях и жердях оград  
В косом, еще прохладном свете  
Дрожащим бисером искрят.

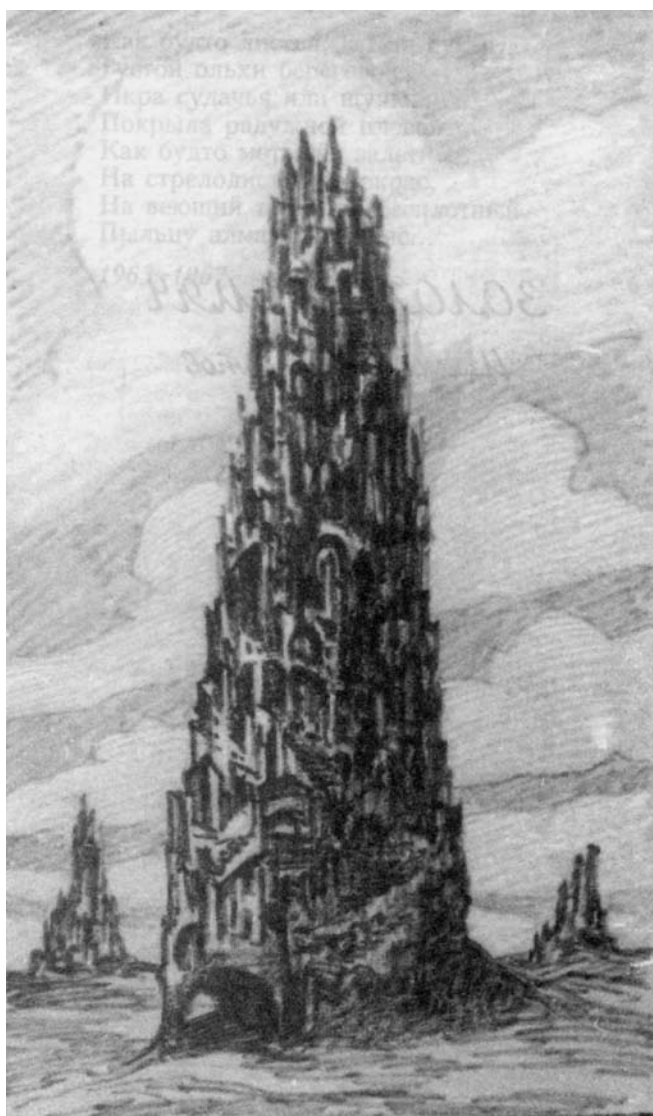
Как будто листья, ветки, сучья  
Густой ольхи береговой  
Икра судачья или щучья  
Покрывает радужной шлепой.  
Как будто мотылек залетный  
На стрелолист и водокрас,  
На веющий тростник бесплотный  
Пыльцу алмазную отряс...

1963–1967



ЗОЛОТОЙ МЯЧ  
ИЗ ЛЮБИМЫХ ПОЭТОВ

Как будто алмаз, сверкающий  
Своей ольхи березой,  
Игра судачья или щуки,  
Покрывает радуге источил,  
Как будто мери, иль дятло,  
На стреловидных конках,  
На веселый аиста, или цапли,  
Пыльцу алмаза, или...





Джон Мильтон  
(1608–1674)

ИЗ КНИГИ СЕДЬМОЙ  
«ПОТЕРЯННОГО РАСС»

Урания! — воистину ли так  
Зовёшься ты, — с небес ко мне сойди!  
Я взвился над Олимпом, вдохновлен  
Твоим волшебным голосом; парил  
Пегаса крыл превыше. Суть зову  
Твою — не имя; не принадлежишь  
Ты к девяти Каменам, не живёшь,  
Неборождённая, на высоте  
Олимпа древнего, но прежде гор  
Возникновенья, прежде, чем ручьи  
И реки заструились, ты вела  
Беседы с вечной Мудростью, сестрой  
Твоей; ты пела гимны вместе с ней  
Пред ликом Всемогущего Отца,  
Небесным пеньем слух Его пленив,  
Тобою вознесённый, гость земной,  
Дерзнув проникнуть в Небеса Небес,  
Я эмпирейским воздухом дышал,  
Который ты смягчала; но теперь  
Ты столь же невреждимо низведи  
Меня к родной стихии, чтоб с коня  
Крылатого, безуздого, не пал.  
Как некогда Беллерофон на поле  
Алейское (хоть с меньшей вышины  
Низвергся он), чтоб не скитался я  
Покинутый, не ведая, куда  
Направить страннические стопы.  
Осталось половину мне воспеть,  
Но в более стеснённых рубежах  
Доступной обозрению сферы дней.  
Здесь, на Земле, и не дерзая взмыть  
Над полюсом недвижных звёзд, могу  
Петь смертным голосом. Я не охрип,  
Не онемел, хотя до чёрных дней,



## ЛОНДОН, 1802. МИЛЬТОН

Как нынче, Мильтон, Англии ты нужен!  
Она — болото; меч, перо, амвон,  
Село и замок впали в смутный сон,  
Мы себялюбцы, и наш дух недужен.

Вернись же к нам, дабы тобой разбужен  
Был край родной и к жизни воскрешён!  
Пусть мощным, вольным, властным станет он  
И с добродетелью исконной дружен.  
С душой, как одинокая звезда,  
И речью, словно гул стихии водной,  
Как небо чист, могучий и свободный,  
Ты бодро-благочестным был всегда,

Взвалив на сердце, в простоте безгневной,  
Убогий труд работы повседневной.



## ЦЫГАНЫ

Мужчины, женщины и дети.— весь  
Сплочённый род, на том же месте, здесь;  
    Подмостки те же — тот же луг,  
    И тех же лицедеев круг;  
Лишь дерзостней костёр ночной горит,  
Придав глубокий, рдяный колорит  
    Цыганам смуглым, и шатрам,  
    И жалким травяным одрам...  
Столь много перемен, в течение дня,  
Под небосводом тешили меня  
    В скитаниях,— но этот люд  
    На месте прежнем, тут как тут!  
Вот солнце утомлённое зашло,  
И Веспер, словно некий бог, светло  
    Вознёсся, царственно скользя,  
    Где пролегла его стезя;  
И после краткой тьмы, когда Луна  
Была развенчана, опять она  
    Свершает властный свой полёт,  
    Но табор к ней молитв не шлёт...

Нет! Лучше распря, лучше боль обид  
Неправых, чем застывший этот быт,  
Покой, которому в укор  
Кружится вечно звёздный хор!  
Хоть в мире всё и движется, но я  
Не опорочу косного житья  
Цыган,— Судьба взрастила их  
Изгоями общин людских!

\* \* \*

Я отложил перо; мне шквальный ветер пел  
О бригах гибнущих, о буреломных чащах,—  
Полуночный псалом, утраченный для спящих  
Невольников забот и повседневных дел.

Помыслил я тогда: вот мой земной удел —  
Внимать мелодии, без меры и созвучий,  
Чтоб я отвечивал на вещей зов певучий  
И страстным языком природы овладел.

Немногим явственен подгробный стон такой,  
Звучащий набожно над горем и тоской  
Давно минувших лет; но он, как буря эта,

Порывом яростным печалю сердце мне,  
О наступающей пророчит тишине,  
О лёгкой зыби волн в сиянии рассвета.

Сэмюэль Тэйлор Кольридж  
(1772–1834)

ОДА ДОЖДЮ,

сочинённая перед рассветом дня, назначенного для  
отъезда одного очень достойного, но не слишком  
приятного гостя,— которого, как  
я боялся, дождь мог задержать.

1

Я знаю, что ночь сыра и темна,  
Что час или два пролежал без сна,  
И хоть глаза открывал порой,  
Лежал, как слепой, в темноте сырой.  
О Дождь! Я понял — ты ничто,  
Ты заунывный, сложный звук.  
Не благодарствую за то,

Что сон мой ты нарушил вдруг.  
С рассветом воцарится тишь,  
О Дождь! Ты смолкнешь, улетишь...  
Больной, не выспавшийся влать,  
Тебя отнюдь не стану клясть;  
Лишь нынче, до заката дня,  
Уйди, пройди, оставь меня!

2

О Дождь! Унылый звук двойной:  
Далёкий бормот и плеск надо мной.  
Мы, в соответствии дурном,  
Ночью и днём, ночью и днём  
Сквозь полог слёз так много лет  
Хромали друг за другом вслед.  
С тех пор окрепла наша связь,  
И плоть моя с тобой сжилась.  
На раннем утре ты уйдёшь,  
Потом вернёшься вновь!.. Ну, что ж!  
Вернётся боль, вернётся грусть,  
Суставы вновь опухнут,— пусть!  
За эту вечную напасть  
Тебя, о Дождь, не стану клясть,  
Лишь ныне, до заката дня,  
Уйди, пройди, оставь меня!

3

О Дождь! Готов прекрасным счесть  
Тебя таким, каков ты есть!  
Я мог бы написать о том,  
Как ты хорош,— толстенный том.  
Порой ты покидаешь нас,  
Так почему бы не сейчас?  
Хоть нынче, до заката дня,  
Уйди, пройди, оставь меня!

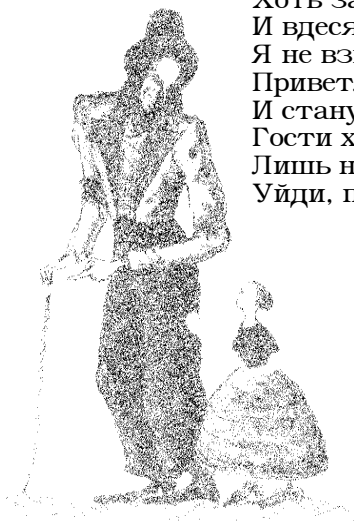
4

О Дождь! На сдержанный приём  
Не злись! Гостят в жилие моём  
Старинный друг с моей сестрой,—  
Ты нам свиданье не расстрой!  
Мы не встречались так давно...  
Недуги и тоска равно  
Снедали нас; мы нынче днём  
Хотим поговорить втроём.  
Пойми: втроём! Ты это взвесь,

Четвёртый лишним будет здесь.  
Так много надо нам излить  
Печалей, столько исцелить  
Страданий, что нам Рок принёс,  
Так много набежало слёз!—  
Короче: хоть к началу дня  
Уйди, пройди, оставь меня!

5

О Дождь! Клянусь тебя терпеть,  
Когда б ты ни явился впредь!  
Явись и нудно заряди!  
Ведь ты, как прочие дожди,  
Не столь приятен, сколь хорош.  
Но я не хнычу ни на грош,  
Хоть заряди на десять дней  
И вдесятеро будь скучней,—  
Я не взыщу и потому  
Приветливо тебя приму  
И стану слушать, как всегда.  
Гости хоть месяц — не беда!  
Лишь нынче, до заката дня,  
Уйди, пройди, оставь меня!



## БАЛЛАДА О ЧЁРНОЙ ЛЕДИ

Отрывок

Ветвистый, среброкорый ствол  
Берёзы над ручьём поник,  
Где, со скалы сбегая вниз,  
Во мхах журчит родник;

Там Леди Чёрная сидит  
В безмолвной муке рядом с ним,  
И слёзы тяжкие из глаз  
Журчат ручьём двойным;

Пажа три раза в замок шлёт,  
Воздвигнутый на высоте,  
Дабы к ней рыцаря привёл  
С грифоном на щите.

Всё ниже солнце; смеркся день,  
А Леди, ужасаясь, ждёт,  
Мгновенья числит, замерев:  
Что ж рыцарь не идёт!

Вдруг — лёгкий шелест над ручьём,  
Шатнулись дальние кусты...  
«Мой нареченный! Мой жених!  
Лорд Фолькленд, это ты!»

К нему припав, она спешит  
Надежды выплакать и страх,  
Ручьями слёз гася огонь  
Лобзаний на щеках.

«Велели у тебя спастись  
Друзья, злокозненно дразня;  
Укрой же на твой груди  
И защити меня!

Тебе, мой Генри, отдала  
Я мир души и сердца жар.  
О, Небо! Их назад не взять!  
Всё принесла я в дар!»

«Владелец замков — мой отец, —  
Промолвил рыцарь ей в ответ, —  
Их девять, и на всей земле  
Прекрасней замков нет!

Прекраснейший из девяти  
Моей возлюбленной суждён;  
Дождись лишь ночи, и твоим  
Владеньем станет он!

Как только вечер заслонит  
Ладонью западный проём,  
Сквозь мрак, среди мерцанья звёзд,  
Мы заскользим вдвоём!»

«Сквозь мрак? Среди мерцанья звёзд?  
Зачем же? Погоди, постой!..  
О, Боже! Он пред ликом дня  
Мне дал обет святой!

Из дома отчего меня  
Он должен полднем увести,  
И дети в белом нам цветы  
Рассыплют на пути.

Нас менестрелей встретит хор  
Хвалой в честь молодой четы,  
И дети в белом, встретив нас,  
Рассыплют вновь цветы.

В перловых нитях смоль кудрей,—  
Так я войду с любимым в круг  
Весёлых статных поезжан  
И розовых подруг...»

Роберт Саути  
(1774–1849)

#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ХИРУРГА

Сиделке лекарь что-то шепнул,  
Но хирург подслушать сумел;  
В корчах и дрожи на скорбном ложе  
Он побелел, как мел.

«Ведите,— воззвал он,— братьев моих  
К страдальческому одру,  
Священника и гробовщика,  
Скорей! Вот-вот я умру!»

Священник явился и гробовщик,  
Заслышав печальную весть;  
Ученики хирурга вослед  
Успели в спальню пролезть.

По одному, вдвоём и втроём  
Входили, но прежде всех  
Был Джозеф тут, первейший плут,  
Скрывая лукавый смех.

Ужасной хулой разразился больной:  
«Покуда я не издох,  
О братья! К дьяволу, ради Творца,  
Гоните этих пройдох!»

Нахмурясь, он с пеной у рта вопиял:  
«Достанусь наверняка  
Мерзавцу Джо, но, чёрт побери,  
Пусть меня пощадит пока!»



Когда спровадили учеников,  
Хирург в истоме обмяк,  
На братьев он выпучил страшно глаза  
И хрипло взмолился так:

«Я всякие трупы резал, кромсал  
И буду наказан вдвойне.  
О братья! Заботился я о родне,  
Заботьтесь теперь обо мне!

Я делал свечи из жира детей,  
Могильщиков брал под начал,  
Засушивал печени и сердца,  
Зародыши в спирт помещал.

Ученики мой труп расчленият,  
Растащат мой жалкий скелет,  
И мне, осквернителю стольких могил,  
Покоя в собственной нет.

Для меня, мертвеца, не жалейте свинца,  
Свезите в свинце на погост;  
Проследите, чтоб я очутился в гробу,  
Не надул бы мастер-прохвост!

И в свинец моё бренное тело замкнув,  
Запаяв на совесть металл,  
В гроб особый, другой и весьма дорогой,  
Погрузите, чтоб я не восстал.

Присмотри за покупкой, брат-гробовщик,  
Чтоб в могиле обрёл я покой;  
В переулке святого Мартина купи,  
В самой честной у нас мастерской.

В церкви брата пусть похоронят мой труп  
И запрут её на замок.  
Пусть припрячут скорей ключи от дверей,  
Чтоб вор проникнуть не мог.

Пусть на страже, в ризнице, три силача  
До рассвета глаз не сомкнут.  
Дайте каждому крепкого пива галлон  
И бочонок джина за труд.

Дайте пули, порох и мушкетон,  
Чтоб мой труп не унёс гробокрад,  
Дайте пять гиней тому из парней.  
Кто вобьёт в гробокрада заряд.

Три недели должно мой жалкий прах  
Охранять, не жалея сил,  
Чтоб пустил я дух и порядком протух  
И покой в могиле вкусил!»

Тут упал больной на подушки спиной,  
Взор померк в предвестье конца,  
Грудь застыла вдруг и от смертных мук  
Исказились черты лица.

Братья саваном облекли мертвеца,  
Поместили тело в свинец,  
И свинцовый гроб они взвесили, чтоб  
Не обжулил мастер-подлец.

И, дотошно свинцовый гроб осмотрев,  
Запаяв на совесть металл,  
В гроб особый, другой и весьма дорогой,  
Погрузили, чтоб труп не восстал.

В переулке святого Мартина они  
Гроб особый приобрели,  
В самой честной у нас мастерской городской,  
Чтоб изделие взломать не могли.

В церкви брата они схоронили труп,  
Безопасного места ища,  
И могильщику, накрепко дверь заперев,  
Не доверили вовсе ключа.

И три стража в ризнице поклялись  
Охранять три недели подряд,  
С мушкетонами ждать и промашки не дать,  
Если ночью придёт гробокрад.

Первой ночью могильщик, фонарь засветив,  
Соблазнял гинеей плутов,  
Намекнув им, что с этой золотою монетой  
Мистер Джозеф расстаться готов.

Но их воля тверда и невыгодна мзда,  
И они в благородном пылу  
К Вельзевулу ужю вместе с мистером Джо  
Предложили убраться послу.

И всю ночь они пиво глотали и джин,  
Одурев от хмельной суетни,  
И немало историй о том и о сём  
Рассказали друг другу они.

Но двумя гинеями ночью второй  
Соблазнял могильщик плутов,  
И шепнул напоследки: мол, эти монетки  
Мистер Джозеф отдать готов.

Но их воля тверда, и мала эта мзда,  
И можно содрать с лихвой;  
И стражи сугубо, но менее грубо  
Отказ подтвердили свой.

И всю ночь они пиво глотали и джин,  
Одурев от хмельной суетни,  
И немало историй о том и о сём  
Рассказали друг другу они.

Третьей ночью могильщик пришёл с фонарём,  
Снова стражей взял в переплёт;  
Он шепнул им: «Смотри! Мистер Джозеф три  
Золотые гиней шлёт!»

Трое стражей алчно скосили зрачки;  
А монеты слепили, горя;  
Драгоценный металл так маняще блистал  
Под неверным лучом фонаря.

Стражам было невмочь отослать его прочь,  
И они не противились впредь:  
Хитрым глазом своим подмигнул он троим  
И заставил монеты звенеть.

Сразу разум притих, и от совести их  
Даже тень сохранилась навряд.  
Шельмы знали давно, что в могилах темно  
И покойники не говорят.

Мушкетоны, в которых были пули и порох,  
На гиней сменяли плуты:  
За кувшином кувшин пили пиво и джин,  
Веселясь до ночной поздноты.

Хоть от храма ключи брат-священник хранил,  
Но могильщику всё нипочём!  
Он в двенадцать часов откинул засов,  
Дверь открыв запасным ключом.

В храм проникли они, с ними Джо-негодяй;  
Еле-еле чадил фитилёк,  
Церковь мрачной была, и зловещая мгла  
Уходила под потолок.

И они киркой отвернули плиту,  
Углубили спешно прокоп.  
И лопатой сгребли комья сохлой земли,  
Обнажив патентованный гроб.

Этот гроб особый разбили со злобой  
И, прорезав толстый свинец,  
Засмеялись при виде могильных пелен,  
До останков дойдя наконец.

И, в награду могильщику саван отдав,  
Проклиная трупный душок,  
Тело двое согнули, нос в колени уткнули  
И впихнули хирурга в мешок...

И пока выносили из церкви груз,—  
Все четыре ярда пути,  
Проклинали стражи смрад зловонной поклажи  
И молили скорей унести.

Труп на ключья изрезали вкривь и вкось  
Учёные господа,  
Ну, а что с душою хирурга стряслось,  
Не узнает никто никогда.



### ИНГКАПСКИЙ РИФ

Полный штиль, бездыханный покой;  
Корабль застыл на глади морской;  
Не веет в его паруса небосвод,  
И киль недвижим в глубинах вод.

Беззвучно через Ингкапский риф  
Ленивые волны катит пролив;  
Чуть горбясь, они продолжают путь,  
Не в силах колокол боя качнуть.  
Тот колокол Абербротосский аббат  
Воздвиг, чтоб гудел над морем набат  
В жестокий шторм, скрывающий риф  
Развихренной пляской пенистых грив.

Тогда мореходы, заслышав звон  
Поймут, где грозный риф затаён,  
И, ускользнув от смертной беды,  
Аббата благословят за труды.

Весело солнце светило с утра,  
Радость сулила дневная пора;  
Чайки вопя, облетали бриг,  
Бодро звучал их нестройный крик.  
Вышел на спардек сэр Ральф, пират,  
Остановил на бакене взгляд;  
Чувствуя вешнего дня благодать,  
Начал игриво петь и свистать.  
Но замышлял дурные дела:  
Радость пирата — злобной была!  
Не отводя от бакена глаз,  
Шлюпку спустить он отдал приказ:  
Курс на Ингкапский держите риф!  
Взбучим святошу, к рифу приплыв».  
Спущена шлюпка гребцы налегли;  
Бакен аббата маячит вдали.  
К бую причалил сэр Ральф, пират.  
И, перевесясь, разрезал канат.  
Колокол булькнул и был таков,  
Взвился и лопнул рой пузырьков...  
Молвил сэр Ральф: «Не дожидаться уже  
Благословений аббату-ханже!»

Плаваая долгие годы подряд,  
Много добра наградил пират.  
Он повернул обратно свой бриг  
И берегов Шотландских достиг.  
Плотно туман простёрся сплошной,  
Солнце укрыто густой пеленой,  
Резкий ветрило весь день задувал —  
Знай, не зевай, ворочай штурвал!  
К ночи утихло, дождь моросил,  
И паруса повисли без сил.  
Людям земля в темноте не видна...  
Молвил пират: «Скоро выйдет луна». —  
«Братцы! — воскликнул один моряк. —  
Ближкий прибой ревёт сквозь мрак!  
Где мы находимся — мне невдомёк!  
Колокол нам бы очень помог!  
Звона, увы, не слышать, как назло».  
В полный штиль их теченьем несло.  
«Господи! Это Ингкапский риф!»  
Грянул удар, обшивку пробив.  
Волосы рвёт сэр Ральф, пират,

Прокляв себя, призывает ад.  
В трюм вторгаются волны, и вот  
Судно уходит в глубины вод.  
Но, трепеща, средь предсмертных мук,  
Слышит пират ужасающий звук,  
Словно по трезвонит по нём Сатана  
И колокол Ингкапский со дна.

## БЛЕНХАЙМСКИЙ БОЙ

Закончив летним вечерком  
Чреду вседневных дел,  
Дед Каспар на своём крыльце  
На солнышке сидел;  
Резвилась внучка рядом с ним.  
А внук играл песком речным.

Сестра увидела, что брат  
От речки мчится вскачь  
И катит нечто пред собой  
Округлое, как мяч;  
Предмет, округлый, словно мяч,  
Он откопал и мчится вскачь.

Дед Каспар в руки взял предмет,  
Вздыхнул и молвил так:  
«Знать, череп этот потерял  
Какой-нибудь бедняк,  
Сложивший голову свою  
В победном, памятном бою.

В земле немало черепов  
Покоится вокруг;  
Частенько выгребает их  
Из борозды мой плуг.  
Ведь много тысяч полегло  
В бою, прославленном зело!»

«Что ж там случилось? — молвил внук, —  
Я, право, не пойму!»  
И внучка, заглядевшись, ждёт:  
«Скажи мне — почему  
Солдаты на полях войны  
Друг друга убивать должны!»

«Поверг француза, — дед вскричал, —  
Британец в той войне,  
Но почему они дрались,

Отнюдь не ясно мне,  
Хоть все твердят наперебой,  
Что это был победный бой!

Отец мой жил вблизи реки,  
В Бленхейме, в те года;  
Солдаты дом его сожгли,  
И он бежал тогда,  
Бежал с ребёнком и женой  
Из нашей местности родной.

Округу всю огонь и меч  
Очистили дотла,  
А рожениц и малышей  
Погибло без числа;  
Но так кончается любой  
Прославленный, победный бой.

Такого не было досель!  
Струили, говорят,  
Десятки тысяч мертвецов  
Невыразимый смрад,  
Но так кончается любой  
Прославленный, победный бой!

И герцог Мальборо и принц  
Евгений выше всех  
Превознеслись!» — «Но этот бой —  
Злодейство, страшный грех!» —  
Сказала внучка. «Вовсе нет!  
Он был победой,— молвил дед.—

Увенчан герцог за разгром  
Несметных вражьих сил!» —  
«Чего ж хорошего они  
Добились?» — внук спросил.  
«Не знаю, мальчик; Бог с тобой!  
Но это был победный бой!»

Джордж Ноэл Гордон Байрон  
(1788–1824)

ВСЁ СУЕТА, СКАЗАЛ ЭККЛЕЗИАСТ

Любовь и слава, мудрость, юный пыл  
И власть моя — не иссякали;  
От многих вин мой кубок рдяным был,  
Резец и кисть мне взор ласкали;

И, красотой сердце утоля,  
Смягчался дух мой своенравный;  
Всё то, что смертным в силах дать земля,  
Венчало мой престол державный.

Но не было ни часа и ни дня  
В бессонных памятях былого,  
Какими бы земля и жизнь меня  
Прельстили пережить их снова.  
Был каждый миг в блаженном бытии  
Отравлен горечью печали,  
И одеянья царские мои.  
Блистая, плечи отягчали.

Змею полей людская мощь могла  
Смирить искусной ворожбою,  
Но та змея, что сердце обвила,  
Нам навсегда дана судьбою.  
Вовек её ничто не заклянёт,  
Ни мудрость, ни лады псалтири,  
И суждено до смерти этот гнёт  
Душе терпеть в подлунном мире.

#### ПЛАЧ ИРОДА О МАРИАМНЕ

О Мариамна! Хлещет кровь  
Из сердца, что твою пролило;  
Не вспыхнет жажда мести вновь,  
И гнев — раскаянье сменило.  
Взываю горестно к тебе;  
О, если б ты меня простила,  
Хоть небо к пламенной мольбе  
Глухим и неприступным было.

Как этот сброд безумцу мог  
В грехе покорствовать злосчастно?  
Теперь же роковой клинок  
Мне грудь терзает ежечасно.  
Но ты, любовь моя, мертва...  
Я мрачным сердцем жду напрасно  
Разящей длани Божества,  
Что жизнь мою продлило властно.

Моей царицы больше нет,  
А с ней ушла души отрада.  
Я Иудеи лучший цвет  
Сорвал из собственного сада,  
Моя вина — моя беда,  
Мне по заслугам — муки ада.



Не истощить мне никогда  
Неисчерпаемого яда!

Джон Китс  
(1795–1821)

СТРОКИ, НАПИСАННЫЕ В СЕВЕРНОЙ ШОТЛАНДИИ  
ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ  
ДЕРЕВНИ БЁРНСА

Как сладко полем проходить, где веет тишиной,  
Где слава одержала верх в бою за край родной,  
Иль — вересковой пустошью, где был друидов стан,  
А нынче мох седой шуршит и царствует бурьян.  
Все знаменитые места бессчётно тешат нас,  
О них сказанья повторять мы можем сотни раз,  
Но сладостней отрады нет, неведомой дотоль,  
Чем иссушающая рот божественная боль,  
Когда по торфу и песку волочится ходок  
И по кремням прибрежных скал бредёт, не чуя ног,  
Бредёт к лачуге иль дворцу, дабы воздать поклон  
Тому, кто вживе был велик и славой умерщвлён.  
Багульник трепеца вознёс лучистые цветы,  
И солнце песенке юлы внимает с высоты,  
Ручьи лобзают стрелолист у плоских берегов,  
Но медленных, тоскливых вод невнятен слабый зов.  
Закат на чёрном гребне гор потоки крови льёт,  
Ключи сочатся из пещер, из тёмных недр болот,  
Как бы дремля, парят орлы средь синевы пустой,  
Лесные голуби кружат над гробовой плитой,  
Но вечным сном заснул поэт, и вещий взор ослеп, —  
Так пилигрим усталый спал, найдя в пустыне склеп.  
Порой, — душа ещё дитя, что мудрости полно,  
Но сердце барда мир забыл, вотще стучит оно.  
О, если б снова мог прожить безумец полдень свой  
И до заката опочить, но всё пропеть с лихвой!  
Он в трепет бы привёл того, чей дух всегда в пути,  
Кто колыбель певца сумел на севере найти.  
Но краток срок, недолог взлёт за грань тщеты земной,  
Из жизни горькой и благой, в надзвёздный мир иной;  
Недолог взлёт и краток срок, — там дольше быть нельзя,  
Не то забудется твоя скудельная стезя.  
Как страшно образ потерять, запомненный в былом,  
Утратить брата ясный взгляд, бровей сестры излом!  
Вперёд, сквозь ветер! И вбирай палящий колорит;  
Он жарче и мощней того, что на холстах горит!  
Виденья прошлого живут былую смоль кудрей,  
Седины скудные ярят и гонят кровь быстрей.

Нет, нет! Не властен этот страх! И, натянув канат,  
Ты счастлив, чуя, как рывком тебя влечёт назад.  
Блажной, на водопад воззрев, ты в следующий миг  
Заметы памяти твоей уже почти постиг;  
Ты их читаешь в царстве гор, пристроясь на углу  
Замшелой мраморной плиты, венчающей скалу.  
Хоть прочен якорь, но всегда паломник в путь готов,  
Он мудрость в силах сохранить, бредя в стране хребтов,  
И зыбку гения сыскать среди голых чёрных гор.  
И не сомкнуть глаза души, не замутить свой взор.

Редьярд Кишлинг  
(1865–1936)

### ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ

Внемлите Закону Джунглей, он стар, как небесная  
твёрдь,  
Послушный волк преуспеет, но ждёт нарушителя смерть.

Как питон, что ствол обвивает, в обе стороны действен  
Закон:  
Стая сильна лишь Волком, а Волк лишь Стаей силён.

Пейте вволю, но в меру и мойтесь от носа и до хвоста,  
Спите днём — для охоты ночная предназначена темнота.

Пусть Шакал подбирает за Тигром — ты, безусый  
Волчонок, не смей!  
Помни — Волк природный охотник, пищу сам добывать  
умей!

С владыками Тигром, Пантерой и Медведем не ссорься,  
ни-ни!  
Не тревожь молчащего Хати, Кабана в кустах не дразни!

Если в джунглях две стаи сойдутся. приляг в сторонке и  
жди:  
Может быть, к обоюдному благу договорятся Вожди.

С Волком из собственной Стаи сражайся в честном бою;  
Тот, кто ввяжется в ваш поединок, ослабляет Стаю свою.

Волк — хозяин своей берлоги, и защитный Закон таков,  
Что там и Вожак не властен, и даже Совет Волков.

Если берлога открыта и не годна под жильё,  
Волк, по решению Совета, обязан сменить её.

До полуночи убивая, не взбудораживай лес,  
Не спугни второго оленя — он нужен другим позарез.

Для себя, Волчат и Волчицы убивай, если в пище нужда,  
Но нельзя убивать для потехи, Человека же —  
НИКОГДА.

Право Стаи — право слабейших; козь добычу  
у них довелось  
Отобрать, не ешь без остатка, но им шкуру и голову  
брось.

Ешь добычу Стаи на месте, набивай до отвалу пасть,  
Но умрёт любой, кто в берлогу унесёт хоть малую часть.

Волк — хозяин своей добычи, и не смеет Стая, пока  
Он не даст на то разрешенья, от мяса урвать ни клочка.

Годовалый Волчонок вправе, если убийца сыт,  
Достать свою долю мяса — отказ ему не грозит.

Право Логова — Матери право; от каждой добычи она  
Для выводка заднюю ногу должна получить — сполна.

Вправе отец в одиночку семье добывать обед;  
Он волен от вызовов Стаи, судья ему — только Совет.

Вожак — это сила и опыт, ведомо испокон,  
Что там, где Закон не предвидит, приказ Вожака — Закон.

Блюди же Законы Джунглей, их много, от них  
не спасишься,  
У них голова и копыто, горб и бедро: подчинись!

## ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ ЧЕСТНОГО ТОМАСА

Король вассалам доставить велел  
Священника с чашей, шпоры и меч,  
Чтоб Честного Томаса наградить  
За песни рыцарским званьем облечь.

Вверху и внизу, на холмах и в лугах  
Искали его и лишь там нашли,  
Где млечно-белый шиповник растёт,  
Как страж у Врат Волшебной Земли.

ВВЕРХУ СИНЕВА И ВНИЗУ ОТКОС  
ГЛАЗА РАЗБЕЖАЛИСЬ — ИМ НЕ ВИДНЫ

СТАДА, ЧТО ПАСУТСЯ НА КРУГЛОМ БУГРЕ...  
О, ЭТО ЦАРИЦЫ ВОЛШЕБНОЙ СТРАНЫ!

— Кончай свою песню! — молвил Король, —  
Готовься к присяге, я так хочу;  
Всю ночь у доспехов стой на часах,  
И я тебя в рыцари посвящу.

Будут конь у тебя и шпоры и герб,  
Грамоты, оруженосец и паж,  
Замок и лен земельный любой,  
Как только вассальную клятву дашь!

К небу от арфы поднял лицо  
Томас и улыбнулся слегка:  
Там семечко чертополоха неслось  
По воле бездельного ветерка.

— Уже я поклялся в месте ином  
И горькую клятву сдержать готов.  
Всю ночь доспехи стерёг я там,  
Откуда бежали бы сотни бойцов.

Мой дрот в гремящем огне закалён,  
Откован мой щит луной ледяной,  
А шпоры в сотне лиг под землёй,  
В Срединном мире добыты мной.

На что мне твой конь и меч твой зачем?  
Чтоб истребить Благородный Народ  
И разругаться с кланом моим,  
Роднёй, что в Волшебном Граде живёт?

На что мне герб и замок и лен  
И грамоты мне для чего нужны?  
Оруженосец и паж зачем!  
Я сам король своей страны.

Я шлю на запад, шлю на восток,  
Куда пожелаю, вассалов шлю,  
Чтоб утром, в сумерках, в ливень и зной  
Возвращались они к своему Королю.

От стонущей суши мне весть принесут,  
От ревущих во мгле океанов шальных,  
Реченье Плоти, Духа, Души,  
Реченье людей, что запутались в них.

Король по колену ударил рукой  
И нижнюю губу прикусил:

— Честный Томас! Я верой души клянусь,  
На любезности ты не расходуешь сил!

Я многих графами сделать могу,  
Я вправе и в силе им приказать  
Позади скакать, покорно бежать  
И покорно моим сынам услужать.

— Что мне в пеших и конных графах твоих,  
На что сдались мне твои сыны?  
Они, чтобы славу завоевать,  
Просить моего изволения должны.

Я Славу разинутым ртом создаю,  
Шлю проворный Позор до скончания времён,  
Чтобы клир на рынках её возглашал,  
Чтобы с псами рыскал по улицам он.

Мне красным золотом платят одни,  
Не жалеют иные белых монет,  
Ну, а третьи дают немного еды,  
Ибо званья у них высокого нет.

За красное золото, за серебро  
Я для знати одно и то же пою,  
Но за еду от незнатных людей  
Пою наилучшую песню мою.

Кинул Король серебряный грош,  
Одну из мелких шотландских монет:  
— За бедняцкую плату, за нищенский дар  
Сыграешь ты для меня или нет?

— Когда я играю для малых детей,  
Они подходят вплотную ко мне,  
Но там, где даже дети стоят,  
Кто ты такой, что сидишь на коне?

Слезай с коня твоей спеси, Король!  
Уж больно чванен твой зычный галдёж.  
Три слова тебе я скажу, и тогда,  
Коль дерзнёшь — в дворянство меня возведёшь!

Король послушно сошёл с коня  
И сел, опершись о камень спиной.  
— Держись! — молвил Томас, — теперь у тебя  
Я вырву сердце из клетки грудной!

Томас рукой по струнам провёл  
Ветровой арфы своей колдовской;

От первого слова у Короля  
Хлынули жгучие слёзы рекой:

Я вижу утраченную любовь,  
Касаюсь незримой надежды моей.  
Срамные дела. что я тайно творил.  
Шипят вокруг меня, как скопище змей.

Охвачен я страхом смертной судьбы,  
Нет солнца в полдень, настала ночь.  
Спрячь меня, Томас, укрой плащом,  
Бог знает — мне дольше терпеть невмочь!

ВВЕРХУ СИНЕВА И ВНИЗУ ОТКОС,  
БЕГУЩИЙ ПОТОК И ОТКРЫТЫЙ ЛУГ.  
В ЗАРОСЛЯХ ВЕРЕСКА, В МОКРОМ РВУ  
СОЛНЦЕ ПРИГРЕЛО ПЛЕМЯ ГАДЮК.

Томас молвил: — Приляг, приляг!  
То, что минуло, — рассудит бог.  
Получше слово тебе возглашу,  
Тучу сгоню, что прежде навлѣк.

Честный Томас по струнам провѣл рукой,  
И арфа грянула сгоряча.  
При слове втором схватился Король  
За повод, за рукоять меча:

— Я слышу ратников тяжкий шаг,  
Блестит на солнце копий стена.  
Из чащи так низко летит стрела,  
Так звучно поѣт в полѣте она!

Пусть на этой войне мои стяги шумят,  
Пусть рыцари скачут мои напролом,  
Пускай стервятник за битвой следит —  
Жесточе у нас не случилось в былом!

ВВЕРХУ СИНЕВА И ВНИЗУ ОТКОС,  
ГНѢТСЯ ТРАВА И ПУСТ НЕБОСКЛОН.  
ТАМ, СУМАСБРОДНЫМ ВЕТРОМ ЗВЕНЯ,  
СОКОЛ ЛЕТИТ ЗА СОРОКОЙ В УГОН.

Честный Томас над арфой вздохнул  
И тронул средние струны у ней;  
И последнее слово Король услышал  
О невозвратности юных дней:

— Я снова принц и без страха люблю  
Подружку мою. не в пример Королю

С друзьями подлинной дружбой дружу,  
На добром коне оленя травлю.

Псы мои насмерть загонят дичь.  
Могучий рогач залёг у ручья;  
Ждёт у окна, чтоб мне руки умыть,  
Возлюбленная подружка моя.

Я истинно жив, ибо снова правдив,  
Всмотревшись в любимый, искренний взгляд,  
Чтоб в Эдеме вместе с Адамом стоять  
И скакать на коне через райский Сад.

ВЕТЕР БЕЗУМСТВУЕТ, ГНЁТСЯ ТРАВА,  
ПЛЕЩЕТ ПОТОК, И ПУСТ НЕБОСВОД,  
ГДЕ, ОБЕРНУВШИСЬ, МОГУЧИЙ ОЛЕНЬ  
ЛАНЬ СВОЮ ЖДЁТ, ЕЙ ПРОЙТИ НЕ ДАЁТ.

Честный Томас арфу свою отложил,  
Склонился низко, молчанье храня,  
Он повод поправил и стремя взял  
И Короля усадил на коня.

Он молвил: — Ты бодрствуешь или спишь,  
Сидя застыло и молча? Ну что ж!  
Мыслью — ты будешь песню пою  
Помнить, пока навек не уснёшь!

Я Песней Тень от солнца призывал,  
Чтоб вошла она, восстав пред тобой,  
Под стопами твоими прах раскалил,  
Затмил над тобой небосвод голубой.

Тебя к Престолу Господню вознёс,  
Низверг тебя в Пекло, в Адский предел,  
Я натрое душу твою растерзал,  
А — ты — меня — рыцарем — сделать — хотел!

Дилан Томас  
(1914–1953)

## СМЕРТЬ УТРАТИТ ВЛАСТЬ НАД ВСЕЛЕННОЙ

Смерть утратит власть над вселенной.  
Станут голые трупы плотью одной  
С человеком ветра и закатной луной,  
Оголятся их кости, претворясь в перегнутой,  
Рядом с ними звёзды затеплятся въявь,

К ним, безумным, вернётся разум иной;  
Утонувшие снова всплывут над волной;  
Хоть любовников нет — сохранится любовь.  
Смерть утратит власть над вселенной.

Смерть утратит власть над вселенной.  
Они не умрут, прозябая на дне,  
Под зыбью морей неиссчётные дни;  
Корчась на дыбе, на колесе,  
Не струсят, хоть жилы ослабнут все.  
Вера в их треснет руках пополам,  
Носорожье зло их боднёт на излом,  
Но, расщепясь, уцелеют они.  
Смерть утратит власть над вселенной.

Смерть утратит власть над вселенной.  
Чайки в уши им больше кричать не должны,  
Могут стихнуть отныне вопли волны,  
И не надо цветку, что расцвел весной,  
Подставлять свой венчик под дождь проливной.  
Пусть безумны они и мертвы, как бревно,  
Но гремя сквозь ромашки, их черепа  
Рвутся к солнцу, пока не взорвалось оно.  
Смерть утратит власть над вселенной.

#### ЗАЧЕМ ПРОХЛАДОЙ ВЕЕТ ЮГ

Зачем прохладой веет Юг,  
А льдом Восток? Нам невдомёк,  
Пока не истощён исток  
Ветров, и Запад ветровой  
Всех осеней плоды несёт  
И кожуру плодов.  
Дитя твердит: «Зачем шелка  
Мягки, а камни так остры?»  
Но дождь ночной и сердца кровь  
Его поят и тёмный шлют ответ.

А дети, молвя: «Где же Дед Мороз?» —  
Сжимают ли кометы в кулачках? —  
Сожмут, когда ребята полуспят,  
Кометы сном пыльнут в глаза ребят,  
И души их зареют в полутьме, —  
Тут ясный отзвучит ответ с горбатых крыш.  
Всё ясно. Звёзды нас порой  
Зовут сопутствовать ветрам,  
Хоть этот зов, покуда звёздный рой



Вокруг небесных башен держит путь,  
Чуть слышен до захода звёзд.  
Я слышу лад. и «жить в ладу»,  
Как школьный колокольчик дребезжит,  
«Ответа нет», и у меня  
Ответа нет на детский крик,  
На отзвук эха, и Снеговика,  
И призрачных комет в ребячьих кулачках.

## ТЫ НЕ ОТЕЦ ЛИ МНЕ

Ты не отец ли мне — подъятая рука  
Что башню сторожа в неё швырнула камень?  
Ты разве мне не мать, когда я среди песка,  
Как дом любовников, лежу в стыде и сраме?  
Ты не сестра ли мне, не вознесенный грех  
За башенки мои — знак твоего позора?  
Ты разве мне не брат, когда ты рвёшься вверх,  
В июльские мои влюблённый амбразуры?

Я разве не отец — не мальчик-верховод,  
Не мальчик женщины и шалого актёра,  
Запечатлевший плоть и лето в лоне вод?  
Я разве не сестра? И кто моя опора?  
Я не из вас ли весь? Не морем ли рождён,  
Где дрозд и ракушка в моей бормочут башне?  
И разве я не ты, среди прибрежных дюн?  
Не кровля из песка? Не кровельщик  
бесстрашный?

Ты — всё, сказала та, что мне давала грудь;  
Ты — всё, сказал крушитель башни детской,  
Воспешедший Авраам, — он разом стал терять;  
Так молвили мои льстецы и камнетёсы.  
Я сбита вечностью, сказала башня, с ног,  
Мои безумные погибли наслажденья, —  
В засохшем месиве, в кольце морей виденья  
Далёких предков из руин восходят так.  
Ты не отец ли мне в песках, что сметены?  
— Ты вождь твоих сестёр, просоленная дамба, —  
Сказали водоросли, — ты кумир страны,  
Чьё ампула: приличный господин и дама.  
Я буду ль на земле и впредь жильём любви,  
Бедою каменщиков под моею кровлей?  
Нет! Башня смерти и жильё любви, увы: —  
Глотателя грехов могилы без надгробий.

## ЗЕЛЁНЫЙ ВЕШНИЙ ЗНОЙ РАВНО ЦВЕТАМИ ДВИЖЕТ

Зелёный вешний зной равно цветами движет  
И юностью моей, а власть, что губит лес,—  
Меня корёжит.

Я слов не нахожу для мёрзлых, дряхлых роз,—  
Ведь молодость мою озноб такой же гложет.

Сквозь жилы кровь мою, ключ сквозь утёс — одно  
Влечёт стремление; власть, что сушит русла вод,  
Мертвит равно  
И кровь мою. Невмочь сказать мне жилам: — Вот,  
А вам, как всем ручьям, иссякнуть суждено.

Рука, что в заводи вихрит водоворот,  
Кольшет плавуны и шкотом вяжет шторм,  
Влечёт мой саван-грот,  
И висельнику мне сказать невмочь,  
Что в известь пережжёт мой смертный прах палач.

Приникло время к роднику; расплав  
Любви по капле копится, но кровь  
Ей исцеленье даст;  
И шторму мне невмочь сказать, что небосвод  
Оттикан временем вкруг мёртвых звёзд.

И праху мне любовника невмочь  
Сказать, что стебель мой такой же точит червь.

Генри Лонгфелло  
(1807–1882)

### СУМЕРКИ

Вечером грустным и смутным  
Ветер студёный и злой  
Гонит пернатые волны  
В сумрак. подёрнутый мглой.

Лишь у лацуги рыбачьей  
Светятся окна тепло.  
Личико чьё-то упорно  
Смотрит, уставясь в стекло,—

Смотрит сияющим взором,  
Чтоб разглядеть за окном  
Облик — чужой иль знакомый,  
Скрытый во мраке ночном.

Мечется там, содрогаясь,  
Женская тень по стене.  
Падая, вновь подымаясь  
И возникая в окне.

Что же расскажут ребёнку  
Эта ревущая мгла,  
Ветер студёный и злобный,  
Хлещущий из-за стекла?

И почему эти волны,  
Каждого шквала порыв,  
Бьют в материнское сердце,  
Бледностью щёки покрыв?

Вальтер фон дер Фогельвайде  
(ок. 1170 — ок. 1230)

В РОЩЕ ПОД ЛИПКОЙ...

В роще под липкой  
Приют наш старый  
Если найдешь ненароком ты,  
Молвишь с улыбкой:  
— Что за парой  
Травы примяты и цветы?..  
На опушке, средь ветвей,—  
Тандарадай!  
Пел свидетель-соловей.

Долго брела я  
Средь бездорожья,  
Пока не встретила дружка.  
Он обнял пылая,—  
Матерь Божья!  
Обнял, и стала душа легка...  
Сколько раз? Да кто ж сочтёт!  
Тандарадай!  
Видите — в кровь исцелован рот!

Дружок меня манит  
Прилечь на ложе,  
Рассыпал он цветы да хмель.  
Ведь кто-нибудь станет  
Смеяться позже,  
Найдя подобную постель.  
Сломлен шиповник — ясно для всех —

Тандарадай!  
Как был нам сладок смертный грех.

Ни лаской, ни силой  
Не открою  
Вам тайну эту, — помилуй, Бог! —  
Что сделал милый  
Там со мною,  
Знаем лишь я да мой дружок,  
Да пичужка средь ветвей, —  
Тандарадай!  
Всё пришлось увидеть ей...

Фридрих Гельдерлин  
(1770–1843)

#### НАПИСАНО В СТЕПИ

Благо мне! Вовеки с толпою глупцов я не встречусь,  
Ныне безоблачный взор мой парит в пространствах  
воздушных,  
Вольно вздымается грудь, не стеснённая боле стенами  
Бедственной жизни, труппами лжи. О, миг  
вожделенный!  
Словно любовник, стремящийся после долгой разлуки  
Жадно в объятья подруги, — так я тороплюсь на  
равнину,  
Светлый отпраздновать пир на моей пустынной равнине.  
Вновь отыскал я безмолвных друзей: опять отыскал я  
Царственный строй тенистых дубов, что стоит, как и  
прежде,  
И осеняет равнину — царственный строй темнолистый.  
Мимолетный охотник главу обнажает пред ними,  
Ибо — преданье гласит — в тени величавой дубравы  
Мёртвые витязи древних, железных времён почивают.  
Что это? Чу! Прислушайся... Близится шорох  
тревожный  
В чёрном кустарнике. Прочь! Не тревожьте поэта! Но  
глянь же,  
Глянь! Как прекрасно! Как дивно! Медлительно стадо  
олений  
Ветвисторогих спускается вниз, к водопою в долине.  
Вновь обрёл я себя! Бесследно из сердца исчезла  
Злая хандра, что меня принуждала людей ненавидеть.  
Быть бы всегда вдалеке от стен этой бедственной жизни,  
От закоулков обмана. Дворцы исполинские блещут,  
Кровли мерцают и шпили горят подоблачных башен,  
Там, где стоят одинокие грабы и вязы. Но глухо



Венчанный башнями город  
В дыму вечернем встаёт.

Зыблет свинцовые волны  
Ветер влажным крылом;  
Траурный марш отбивает  
Гребец кормовым веслом.

Последний отсвет заката,  
Мелькнув, погас в вышине —  
Над местом, где я утратил  
Всё то, что дорого мне.

\* \* \*

Куда тебя гонит весенняя ночь?  
Свихнулись цветы, фиалкам невмочь,  
И в страхе трясутся гвоздики,  
Надутые розы красны от стыда,  
Смертельно бледны нимфеи пруда  
И рошцут, бубня, как зайки.

О, Месяц! Правы святоши-цветы.  
Хоть видел моё прегрешенье лишь ты,  
Но им оно стало известным:  
Подслушал синклит этих чопорных дев  
Тот бред, что, от жгучей любви обалдев,  
Я выболтал звёздам небесным!

Эдуард Мёрике  
(1804–1875)

### В ПОЛНОЧЬ

Ночь оперлась о склоны гор;  
Её бесстрастный, вещий взор  
На чаши золотых ВЕСОВ ВРЕМЁН  
Недвижно-уравненных устремлён.  
Но Матери-Ночи бубнят в тишине  
Бегучие струи о нынешнем дне  
Минувшем,  
О дне, безвозвратно минувшем.

Постыл ей древний гомон вод;  
Милей, чем синий небосвод,  
Ей коромысла равномерный взмах,  
Мгновенья взвешивающий впотьмах.

Но волны немолчно лепечут во сне  
Всё ту же погудку о нынешнем дне,  
Минувшем,  
О дне, безвозвратно минувшем.

Готфрид Келлер  
(1819–1890)

### ВЕЧЕРНИЙ ДОЖДЬ

Искрясь в закатном свете алом,  
Пролился крупный дождь слепой  
Над грустным путником усталым,  
Бредущим узкою тропой;

И капли на свету сверкали,  
И скорбно чувствовал ходок,  
Как по щекам они стекали,  
Рождая сладкий холодок.

Он молвил: «Радуга высоко  
Венец воздвигла надо мной  
Затем, что солнце издалёка  
Взирает на мой путь земной.

Знакомцам и друзьям заветным  
Не виден Божий небосклон,  
Где Всепрощеньем семицветным  
Я примиренно озарён.

Но если будущее глянет,  
Как солнце, в сумрак наших дней,  
Тогда и тень моя восстанет,  
И радужный венец над ней!»

Стефан Георге  
(1868–1933)

\* \* \*

Я на окне, храня от зимней стыни,  
Цветок взрастил, но, вопреки старанью,  
Меня печалю, он поник, а ныне  
И вовсе покорился увяданью.

Дабы забыть судьбу его былую  
Цветущую, я, на решенье скорый,

Бестрепетно сорвал напропалую  
Увядший венчик, безнадежно хворый.

Нет, мне не надобно цветка больного!  
Что толку в этой новой жгучей ране?  
Вот возвожу пустые взоры снова,  
В пустую ночь тяну пустые длани.

#### СУМЕРКИ УМИРОТВОРЕНИЯ

Под вечер зной отхлынул поневоле;  
Очнулась местность от палящей боли,

И смольно-серых туч густой осадок  
Ниспал на мачты и на камень кладок.

Сады пахучие дышать не в силах,  
В тропинки врос чертёж теней застылых.

Умолкли голоса, как бы уснули,  
Другие — растворились в тихом гуле.

Как призрачно былых торжеств круженье!  
Побоища гласят о пораженье.

В чаду порой звучит глухой и трудный  
Миров порабощённых вздох подспудный.

#### ОТХОД

Сомкнули буки вдоль поморья кроны,  
Как руки; не смолкает волн раскат.  
От жёлтых нив сбегает луг зелёный,  
И сельский дом забился в дрёмный сад.

Страдальца у беседки тронул мирный  
Целебный луч, но юноша больной,  
Витая взором в синеве эфирной,  
О песне думает очередной.

Где щитоносные ладьи державно  
Плывут ли, спят в заливах ли, вдали;  
Где башни облаков клубятся плавно,  
Обрёл он берег сказочной земли.

В слезах родня, но он, без обороны,  
Приемлет дар богов — благой покой,  
Не сетуя, лишь грустью озарённый  
Прощания, и славе чужд людской.



## ДАНТЕ И ПОЭМА О СОВРЕМЕННОСТИ

Когда, у врат Пресветлую узрев,  
Я в трепете повергся и, сожжённый,  
Провидел ночи горькие, мой друг,  
С участием глядя на меня, шептал.  
Я за хвалу Пресветлой был осмеян.  
Ведь людям безразлично испокон,  
Что, бранные, — мы песни о любви  
Так замыслием, словно век пребудем.

Я, возмужав, изведал стыд страны,  
Опустошённый ложными вожжами,  
Постиг спасенья путь, пришёл с помощью,  
Всем жертвуя, с погибелью сражался,  
В награду был судим, ограблен, изгнан,  
Годами клянчил у чужих порогов,  
Подвластный лютым, — все они теперь  
Лишь безымянный прах, а я живу.

Когда мой бег прерывный, скорбь моя  
Над бедами, что навлекли мы сами,  
Гнев, обращённый к низким, гнусным,  
Дряблым,  
Излились бронзой, — многие, внимая,  
Бежали в ужасе; хотя ничьё  
Не ощутило сердце ни огня,  
Ни когтя, — от Адидже и до Тибра  
Шумела слава нищего изгоя.

Но я ушёл от мира, дол блаженных  
Увидел, хоры ангелов заслушал  
И это воплотил. Тогда решили:  
Он одряхлел, впал в детство. О, глушцы!  
Из печи взял я головню, раздул —  
И создал Ад. Мне был потребен пламень,  
Чтоб озарить бессмертную любовь  
И возвестить о солнце и о звёздах.

### СКИТАЛЬЦЫ

Они бредут средь поношений,  
Недобрых взглядов и угроз.  
Из царств, которых нет блаженной,  
Их, говорят, орёл унёс;

Бредут, одним стремленьем живы,  
Чтоб сызнова открылся им  
Счастливый край, родные нивы,  
Где пахнут плугом золотым.

На диких взморьях заповедных  
Они вступают в смертный бой,  
Во имя гордых женщин бледных  
Охотно жертвуя собой.

В их подвигах — спасенье края.  
Когда отравный мечет дрот  
Архангел, за грехи карая,  
Они — в ответе за народ.

Но тает поздно или рано  
Хвалы и славы чадный дым,  
И вайи пальм и клич «осанна»  
Морочат призраком пустым,

Тогда закат, суля отраду,  
Усталым указывает путь  
Вперёд, к сияющему Граду,  
Где суждено им отдохнуть.

За то, что в гимнах, год за годом,  
Они хранили дивный лад,  
Их ждёт блаженный сон под сводом  
Нетленных, царственных палат.

Беррис фон Мюнхгаузен  
(1874–1945)

### ЗОЛОТОЙ МЯЧ

Я в отрочестве оценить не мог  
Любви отца, её скупого жара;  
Как все подростки — я не понял дара,  
Как все мужчины — был суров и строг.

Теперь, презрев любви отцовской гнёт,  
Мой сын возлюбленный взлетает властно;  
Я жду любви ответной, но напрасно:  
Он не вернул её и не вернёт.

Как все мужчины, о своей вине  
Не мысля, он обрек нас на разлуку.  
Без ревности увижу я, как внуку  
Он дар вручит, что предназначен мне.

В тени времён мерещится мне сад,  
Где, жребием играя человечим,  
Мяч золотой мы, улыбаясь, мечем  
Всегда вперёд и никогда назад.

## СТАРЫЕ ЛАНДСКНЕХТЫ

Есть в Небесах домишко простой,  
Где находят вояки посмертный постой  
Вдали от пророков и ангельской своры  
Они у камина ведут разговоры,  
Гонимые пасынки райской семьи,  
Ландскнехты, спасшие души свои!

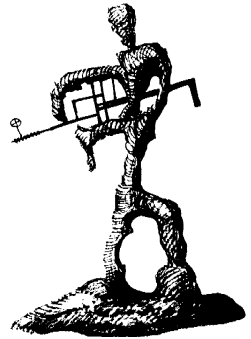
Наскучив молчанием благоговеиным,  
Рубаки вздыхают о флягах с рейнвейном.  
Но в Небесах угощаться нельзя!  
Разве что херувимчик босой,  
Среди облаков разноцветных скользя,  
Напоит их свячёной росой...

Сыграть бы в картишки, ругаясь при этом!  
Но карты и ругань в Раю под запретом;  
Когда же бедняги идут напролом,  
Из уст вылетает не брань, а псалом.  
Тут, изумлённый таким превращеньем,  
Мнётся ослушник с великим смущеньем;  
Побагровев, как бурак молодой,  
Глупо молчит и трясёт бородой.

Да, трикраты блаженны они!  
Но Боже! Как мало в Раю солдатни!  
Щёголи, весельчаки, горлопаны,  
Их собутыльники и друзья,  
Рубленый сброд, оголтелый и пьяный,  
Грешное братство меча и ружья.—  
Все они, все, по воле Господней,  
Коптятся и жарятся в Преисподней.

Иногда искушают спасённых солдат  
Знакомые громы, что снизу летят.  
Барабанная дробь рассыпается там:  
«Тара-там-там, тара-там-там».  
Бегут ландскнехты к небесным вратам  
И жадно глядят, толпясь на пороге.  
В пыльную пропасть, где выются дороги,  
Где барабан на парад сзывает.  
Где фанфара, как щука, пасть разевает;  
Лошади ржут, оружие блещет,  
Рваное знамя в воздухе плещет,  
Деревни горят, и пламя, играя,  
Клубится к воротам постылого Рая.  
Ландскнехты смакуют знакомую гарь,  
Вслушиваются в хриплые трубы,  
Трясутся их руки, сжимаются зубы...

Но тут появляется Пётр-ключарь  
И гонит несчастных ландскнехтов назад.  
Ещё последний, единственный взгляд!..  
Они сидят у камина снова,  
Но ни один не промолвит слова.  
Они внимают, как еле-еле  
Бормочут внизу барабанные трели,  
Как ветер доносит к Небесным вратам:  
«Тара-там-там-там, тара-там-там-там...»



Ханс Каросса  
(1878–1956)

#### ПЛЕННИЦЫ И СТАРИК

Когда мы стелем на снегу полотна,  
От ветра сгорбясь, и едва бредём,  
Охранники нас обступают плотно,  
Следя за нашим каторжным трудом.

Угрюмый сброд, победой охмелённый,—  
Вы бедный мой народ готовы сжечь!  
Один лишь к нам добросердечно склонный —  
Старик, что разумеет нашу речь.

Он нам не враг. Он знает наше горе.  
Я думаю: он страшно одинок  
Среди конвойных, в полупьяной своре.  
Знать, он из тех, кого отметил Бог!

Враги меня зовут последней дрянью,  
Лентяйкой,— но старик совсем иной;  
Он ворожит по звёздам и Писанью.  
Мудрец, он предсказал мне, что весной,

Как ласточки, воротимся мы снова  
На родину,— так он шепнул, как друг,  
И по ночам, в бараке, это слово —  
Бальзам для изъязвленных наших рук.

## НАД НЕПОГОДОЙ

Туман приполз; густеет муть сырая.  
Ручей, сквозь пламенные веретёна  
Огней последних окон, мчит бессонно.  
Все отсветы померкли, догорая.

Бреду во мгле, прислушиваясь к гуду.  
Глаза двух коз — попутчиц боязливых —  
Следят за мной. Вдруг в каменных массивах,  
В их недрах что-то вздрогнуло, и всюду

Травинки взвихрены зачином шквала;  
Но стебли гибкие меня учили,  
Как дать отпор внезапной грубой силе.  
Вперёд! — и этой мглы как не бывало.

Крутыми стёжками всхожу на склоны,  
И там, над смольной празеленью хмурой  
Глухих низин, ширяет коршун бурый,  
Слепящим светом снизу озарённый.

Готфрид Бенн  
(1886–1956)

\* \* \*

Ты в августе так одинок.  
Пора свершений: над полями  
Багряно-золотое пламя,  
Но ликовать твой сад не смог.

Блестят озёра, мягкий свет  
Дарует небо сжатым нивам,  
В твоём же царстве несчастливом  
И признака победы нет.

Где счастьем всё упоено,  
Вином и предосенней страстью,  
Ты духу и противосчастью,  
Обоим служишь заодно.

ДЕНЬ, ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЛЕТО...

День, завершающий лето,  
Знаменьё сердцу: пора!



Весть пыланья и света,  
Реки, игра серебра.

Образы меркнут, тают,  
Вне времени уже.  
Воды ещё блистают  
На дальнем рубеже.

Ты созерцал сраженьё,  
Сечу и бегство, пока  
Не изменилось движенье:  
Прочь уходят войска;

Сникли за краем склона  
Розы, воинов злость,  
Пламя, стрелы, знамёна,—  
Невозвращаемость.

### БЕЗВЕСТНОЙ НОЧЬЮ

Безвестной ночью, что была  
Смешеньем сырости, дождя, тумана,  
В глухой дыре, что так мала,  
Никем незнаема и безымянна.

Я видел вздорность всех любовных мук,  
Взаимосвязь желанья и разлуки,  
Актёрство, театральщину вокруг,  
Нечистые, заgreбистые руки;

Они тебя хватают, ловят, гладят,  
Остановить пытаясь, руки эти,  
И неумело, тщетно петли ладят,  
Чтоб зачинить разорванные сети.

Ах, этот холод, этот полог серый,  
Отрыв от прочности, от верных троп,  
От стойкости, сердечности и веры.  
О, Боже! Боги! Стужа, дождь, озноб.

### ВСЮ СУТЬ ТВОЮ...

Всю суть твою, что присягнула крови,  
Престарой, словно общности людской,  
Я знал, но онемев безвольно, внове  
Подхвачен, как во сне, твоей рекой.

К Вратам Игры доплыл я по теченью:  
Так слепы кости, кубки так темны! —

К словам последним, сладостным, к забвенью  
Того, что это ныне только сны.

Исчезнут поколения и твердыни,  
Адамов род, теснивший зверя вспять,  
Воители и боги, — пусть отныне  
Они лишь сны, — всё повторись опять!

## ИТОГ

В пивной, где я нагой, опустошённый,  
Не раз, как в лоне матери родной,  
Спасался, — как-то полночью бессонной  
Возник хмельной пропойца предо мной.

Мужчина в космах, с возбуждённой миной,  
К партнёру весь пригнулся, сколько мог;  
Размягшие от грога и полынной,  
Они стремятся подвести итог.

Ах да, итог, пусть в мелочах, чья мнимость  
Разбухла в алкоголе; здесь приют  
Свершений, здесь последняя решимость.  
Друзья — как на ладони: пьют и пьют,

Сперва напоминая гладь морскую,  
Но в глубине кишит несметный зверь,  
Кривые рыла, слизи, — не рискую  
Ни объяснять, ни длить рассказ теперь.

Бертольд Брехт  
(1898–1956)

БАРАНИЙ МАРШ  
(Из пьесы «Швейк во второй мировой войне»)

Шагают бараны в ряд,  
Бьют в барабаны, —  
Кожу для них дают  
Сами бараны.  
Мясник зовёт. За ним бараны сдуру  
Топочут слепо, за звеном звено,  
И те, с кого давно на бойне сняли шкуру,  
Идут в строю с живыми заодно.  
Они поднимают вверх  
Ладони к свету, —  
Хоть руки уже в крови, —  
Добычи нету.

Мясник зовёт. За ним бараны сдуру  
Топочут слепо, за звоном звено,  
И те, с кого давно на бойне сняли шкуру,  
Идут в строю с живыми заодно.

Знамёна горят вокруг,  
Крест ища повсюду,  
На каждом — здоровый крюк  
Рабочему люду.

Мясник зовёт. За ним бараны сдуру  
Топочут слепо, за звоном звено,  
И те, с кого давно на бойне сняли шкуру,  
Идут в строю с живыми заодно.



### МОРСКАЯ РАЗБОЙНИЦА ДЖЕННИ, ИЛИ МЕЧТЫ СУДОМОЙКИ

Господа мои, сегодня полощу я посуду  
И готовлю гостям постели;  
Вы швыряете мне пенни, я спешу отдать поклон  
И вы видите тряпьё моё и жалкий наш притон  
И не знаете: кто ж я на деле.  
Но однажды донесутся из гавани крики,  
Дикий вопль подымет на ноги всех,  
И увидев, что смеюсь я за посудой,  
Люди скажут: К чему б этот смех?

И стопушечный клиппер  
Под восьмью парусами  
Причалит в порту.

Люди скажут: Ступай-ка мыть стаканы, дитя!  
Соизволят мне пенни дать.  
Я постели приготовлю, чаевые приму  
(Но заснуть нынче ночью не придётся никому!),  
И никто меня не может разгадать.  
И под вечер из гавани крики донесутся,  
Я уставлюсь в оконное стекло,  
И увидев, что смеюсь я, люди спросят:  
Отчего она смеётся так зло?

И стопушечный клиппер  
Под восьмью парусами  
Откроет огонь.



Господа мои, вам больше не придётся хихикать.  
Ибо стены рухнут под огнём.  
Будет город сожжён и с землёю сравнён.  
Попадят лишь наш притон, уцелеет только он.  
Люди спросят: Кто ж скрывается в нём?  
И услышав нынче ночью дикий шум вокруг ночлежки,  
Удивятся: Почему она цела?  
И когда я выйду оттуда на рассвете,  
Люди скажут: Вот эта здесь жила!

И стопушечный клиппер  
Под восьмью парусами  
Поднимет свой флаг.

С корабля к полудню на берег сойдут молодцы  
И по улицам скользнут как тени  
И любого захватит подле двери любой  
ко мне поволокут в кандалах за собой  
И вскричат: Кого убить нам, Дженни?  
И притихнет в полдень гавань, ожидая решенья,—  
Кто сегодня должен умереть,—  
И тогда скажу я: Все поголовно!  
И на смертный стон отвечу: Гопиля!

И стопушечный клиппер  
Под восьмью парусами  
Исчезнет со мной.

## ЛИТУРГИЯ ВЕТЕРКА

1  
Приползла старуха издалека.  
2  
Нет у неё даже хлеба куска.  
3  
Старухин хлеб сожрали войска.  
4  
Свалились в канаву старухины мощи.  
5  
Ей теперь не придётся голодать ни денька.  
6  
Но птички помалкивали в роще.  
В зелёных кронах — покой.  
И не веет на горных склонах никакой  
Ветерок.  
7  
Тут явился врач-прозектор сюда.  
8  
Он сказал: — Старуха припёрлась опять.

9

Порешили старуху скорей закопать.

10

Наконец, онемела она навсегда.

11

Медик хихикнул над бабкою тощей.

12

Птички молчали по-прежнему в роще.

В зелёных кронах — покой.

И не веет на горных склонах никакой

Ветерок.

13

Тут назойливый тип ворвался сюда.

14

Он с подобным порядком смириться не мог.

15

По делу старухи он поднял шумок.

16

Человек, мол, в харчах нуждается, в коште.

17

В хлебе насущном, милостивые господа.

18

Но пичужки молчат по-прежнему в роще.

В зелёных кронах — покой.

И не веет на горных склонах никакой

Ветерок.

19

Тут комиссар поспешил сюда.

20

Он резиновой дубинкой расшиб

21

Горластому типу затылок, и тип

22

Болтливый язык прикусил навсегда.

23

А комиссар прорычал по привычке:

24

Теперь-то в роще не пикнут птички.

В зелёных кронах — покой.

И не веет на горных склонах никакой

Ветерок.

25

Тут явились три бородача сюда.

26

Они сказали: несправедливость мы в силах  
лишь сообща побороть.

27

Но их доконали в тюрьме в одиночке.

28

Черви до самой кости прогрызли их плоть.

29

И онемели бородачи навсегда.

30

Заодно и птички молчали в лесочке.

В зелёных кронах — покой.

И не веет на горных склонах никакой

Ветерок.

31

Тут нахлынули сотни людей — разношерстный сброд.

32

Покалякать с войсками и двинуть дело вперёд.

33

Но войска с пулемётами взяли народ в оборот.

34

Уцелевшие тотчас воды понабрали в рот.

35

Но задумались даже те, что умишком попроще.

36

И всё же птички молчали в роще.

В зелёных кронах — покой.

И не веет на горных склонах никакой

Ветерок.

37

Тут громадный, красный медведь притопал сюда.

38

Как медведь он о правилах здешних не слыхивал никогда.

39

Не хватал он приманку любую. О нет! Он совсем не балда!

40

И он слопал пичужек в роще.

41

Но пичуги уже не молчали тогда.

В зелёных кронах — непокой.

И гудит на горных склонах, да ещё какой,

Ветерок!

## О ПЛАВАНИИ В РЕКАХ И ОЗЁРАХ

Когда белёсым летом свищут ветры  
В листве деревьев, чуть колебля сучья, —  
Покойтесь в реках и прудах, подобно  
Подводной чаще, где стоянка щучья.  
В воде легчает тело, и едва  
Из волн легко вспорхнёт одна из рук,

Её колеблет ветерок досужий,  
Рассеянно приняв за смуглый сук.

Нам тишину дарует небо в полдень.  
Снуют стрижи. Пора вздремнуть немножко;  
А если ил нагретый пузырится,  
Мы знаем, что сквозь нас плывёт рыбёшка.  
Мой торс, две ляжки, тихое плечо,  
Мы так едины в тихом лоне вод!  
И я тогда лишь солнце ощущаю,  
Когда сквозь нас прохладный выюн плывёт.

Конечности, под вечер, от лежанья  
Немеют и зудят; всё это бросьте  
Без колебаний в синие потоки;  
Они со злости выправят вам кости.  
Терпите же до вечера, когда  
Акулье небо, бледное, как дым,  
На реки и кусты нисходит жадно,  
И вещи таковы, как надо им.

И впрямь — всего удобней лечь на спину,  
Да так и оставаться в гуще плавней;  
Недвижной галькой донной притвориться  
И строго следовать привычке давней.  
Смотреть на небо, — пусть вода несёт,  
Как женщина, — простой пример беру;  
Не суетиться: так, наверно, Богу  
Угодно в реках плавать ввечеру.



Михай Эминеску  
(1850–1889)

#### РАЗМЫШЛЕНИЯ БЕДНОГО ДИОНИСА

— Эх, графин ты мой пузатый, ты уже давно пустенек  
И годишься лишь в шандалы, для трескучей свечки  
сальной!

Вдохновись-ка, бард, распойся в этой нищете печальной!  
Месяц, как вина я не пил, вечность, как не видел денег.  
Королевство за окурок! Свод небес волшебным дымом  
Заволок бы я, да нечем... Свищет вихрь в оконной раме,  
Голосят коты на крыше, и, синяя гребешками,  
Индюки внизу шагают в размышленьи нелюдимом.

Ну и холод! Пар клубами изо рта. Мороз по коже!  
Шапку на уши напялил, пробую локтями стужу.  
Как цыган, одетый в бредень, сквозь дыру суёт наружу  
Палец, чтоб узнать погоду, локти выпростал я тоже.

Быть бы мышью мне — у этой шубка есть, по крайней  
мере!

Грыз бы досыта я книги и не мёрз в норе сегодня.  
Мне б жена моя казалась благостной, как Мать Господня,  
Я б дворец сыскал в подполье и превкусный кус в Гомере.

На стенах, покрытых пылью, оплетённых паутиной.  
В потолочных балках вижу рать несметную клоповью.  
Каково-то им питаться постною моею кровью,  
Жить в соломенной подстилке?.. Глянь, процессией  
аршинной

Вышли, будто на прогулку. Вот ползёт смиренно слева  
Давняя ханжа-клопиха... Вот придворный франт  
клопиный...

Он умеет ли французить?.. Вот, с мечтательною миной,  
Отдалясь от низкой черни,— романтическая дева...

Вдруг мне на руку свалился чёрный клоп... «Постой, ни  
шагу!

Я сейчас тебя поймаю мокрым пальцем!..» Нет, не надо...

Если б к женщине попал он, испытал бы муки ада.

Ну, а мне какое дело? Что терзать его, беднягу?!

Кот мурлычет на лежанке... «Подойди сюда. котище!

Покалякаем с тобою, мой товарищ по мытарствам.

Я б, ей-ей, тебя назначил управлять кошачьим царством,

Чтоб ты всласть изведаль радость барской жизни, тонкой  
пищи».

Он о чём теперь мечтает. этот дремлющий лукавец?  
Может быть, пушистой дамой очарован, обожаем,  
Жаждет бурного свиданья на задворках за сараем,  
Где, мяуча, ждёт счастливца лучшая из всех красавиц?

Интересно: в царстве кошек тоже был бы я поэтом?

Я вопил бы, словно Гаррик, монологи в слёзных драмах,

Днём — валялся б на припёке и ловил мышей упрямых.

По ночам гейнеобразно вдохновлялся б лунным светом.

Как философ, я примкнул бы к пессимистам, не иначе,

В популярных выступлениях доказуя непреложно

Светским барышням и снобам, что в природе всё ничтожно,

Что земная жизнь — всего лишь только смутный сон

кошачий.

Будь жрецом я, возгласил бы в храме вышнего владыки,  
Соизволившего кошку сделать на творца похожей:  
Содрогнись, о род кошачий, трепещи пред карой божьей!  
Сгинет наглый святотатец, не блюдуший пост великий!

Вольнодумцы отвергают глас творца, гремящий в тучах,  
Издаваясь над Писаньем, превозносят разум бренный,  
Что сулит котам и кошкам власть над тайнами вселенной,  
Не страшится преисподней, ни чертей — мышей летучих.

Отлучаю нечестивцев! О коты! Вам каждый коготь  
Для царапанья даётся, а усы — для осязанья.  
Так зачем же вы стремитесь, бессердечные созданья,  
Всеблагое провиденье лапой собственной потрогать?

Время спать, мой друг хвостатый! Оплыла свеча в бутылке,  
Через миг огня не станет, да и мыслям отдых нужен.  
Нам с тобой приснится счастье, груды денег, добрый ужин,  
Ты задремлешь на лежанке, я — на жиденькой подстилке.

Сон иль смерть? — мне всё едино, лишь избавь меня от боли,  
Осени меня навеки гармоничной тишиною.  
Безразлично: Жить с клопами, жить с котами и луною  
Или сгинуть, — ведь искусство — это нищенство, не боле...



Джеорже Топырчану  
(1886–1937)

### БАЛЛАДА ПЕРЕЛЁТНОГО КВАРТИРАНТА

За месяцем следует новый,  
Недели бегут и года...  
Сударыня, будьте здоровы!  
Беру чемодан — и айда!

Бог весть, где прибьюсь я случайно  
С цыганским моим багажом,  
Какая влечёт меня тайна  
Бродяжничать в мире чужом?  
Но душно мне в комнатках малых.  
И в роли скитальца-жильца  
Люблю я на кратких привалах  
Кулисы менять без конца.

В мансарде классической позже  
Я жил с месячишко и там  
На крыши, как будто из ложи,  
Смотрел с верхотуры, мадам!  
Ко мне подплывала большая  
Луна и звала за собой,  
На город взглянуть приглашая,  
Простёртый во мгле голубой.

Вверху, где светилося окошко,  
Хозяйство держали втроём  
Актёр, старичонка и кошка;  
Внизу, в бельэтаже своём, —  
Красавица с внешностью ходкой,  
А рядом — чиновник один  
Из ведомства культов, с бородкой,  
Изящный сухой господин...

Однажды я утром туманным  
Опять макинтош запахнул  
И, впершись в трамвай с чемоданом,  
На улицу Берзей махнул.

Тот сад я забуду едва ли,  
Хоть всё и минуло давно...  
Хозяйку Ириною звали...  
Во двор выходило окно  
С незрячими стёклами, в краске, —  
Там жил секретарь отставной.  
Виднелась мне спальня с терраски,  
Сквозь щели мерцал белизной  
Сияющий угол постели...  
Цветы улыбались мне встарь  
Мне листья плюща шелестели.  
И дочку имел секретарь...  
Сидел я в саду вечерами  
И, слушая храп старика.  
Следил — шевельнётся ли в раме  
Оконная штора слегка.  
Я знал, что за ней меня ждали,  
Казалось — всё это во сне...

Но вскоре удрал я подале,  
Боясь, что не вырваться мне.

Бесплотные, странные тени!  
До смерти я помнить готов  
Дыханье истлевших мгновений,  
Томительный запах цветов...

Где не жил я? С кем не встречался?  
Мне помниться некий Манук,  
Он носом кривым отличался,  
Похожим на свёрнутый крюк;  
Мария — что так умоляла  
Остаться подольше у ней,  
А нынче открытку прислала...  
Нигде не пускал я корней.  
Меня по районам носила —  
С Конфрота на Витинг и Гранд —  
Какая-то тайная сила:  
Ведь я же летун-квартирант!  
Вся жизнь моя — бег бесполовый,  
Взгрустнётся порой? Не беда!

Сударыня, будьте здоровы!  
Беру чемодан — и айда!

### ВОРОНА

Белой простыней легла  
Степь до края небосклона.  
Наподобие орла,  
На столбе торчит ворона;

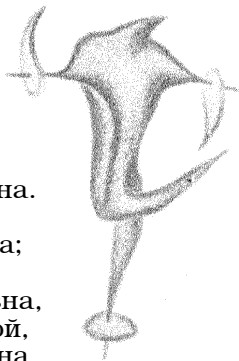
Словно трубочист, грязна,  
Восседает с миной сонной,  
Словно факельщик, полна  
Мрачной спеси похоронной.

В бледном небе ледяном  
Кажется тузом пиковым  
Или перечным зерном,  
Крохотным и пустяковым,

Неподвижным и смешным  
Паяцом с огромным носом,  
Горбясь фитилём свечным  
Над степным ковром белёсым.

Но обуглено перье  
До последнего огрызка, —  
Знать, гроза сожгла её  
На вершине обелиска;

В сизом воздухе вися,  
Шоколадкой, сиротливо,  
Съежилась печально вся,





Наподобье чернослива;

Морщит с подозреньем лоб,  
Словно тенор в паре фразной,  
Богомольная, как поп,  
Чёрная, как чёрт невзрачный;

Чванная, как сатана,  
Словно дипломат, надута,  
Словно памятник, скучна,  
Взятый с кладбища как будто;

Словно в глаз попавший сор,  
Или — что отнюдь не слаще —  
Скверный карточный партнёр,  
Неудачу приносящий;

Чёткая, как нотный знак  
На громадном стане стёртом.  
И уродливая, как  
Ведьма, брошенная чёртом;

Порошинкой в небеса  
Выстреленная случайно  
И, как небо злого пса,  
Чёрная необычайно;

Хмурая, как «фонари» —  
Метки чемпионов бокса,  
Как лежавший до зари  
Под дождём обломок кокса.

Словно рыночный товар,  
Предназначенный к продаже,  
Словно вакса или вар,  
Словно хлопья лёгкой сажки;

То ли реет в облаках  
Вдовый креп, вуаль густая,  
То ль на свадебных шелках  
Очутилась запятая;

Клевета на белый свет,  
Возведённая когда-то,  
Тень, которой гуще нет,  
Иль кукушка из агата;

Озарённая кругом  
Лунным блеском, ночь сплошная,

Муха в чашке с молоком,  
Карамелька нефтяная;

Бант из бархатной тесьмы,  
Похоронное убранство,  
Кубок непроглядной тьмы,  
Опрокинутый в пространство;

Нереальна, словно гном,  
И серьёзна и сердита,  
Как торжественный псалом  
Или бюст из антрацита;

Символ Страшного Суда,  
Истребленья плоти брэнной,  
Неизбывная беда  
И проклятье всей Вселенной;

На скрещении дорог  
Опалённый камень жалкий,  
Вечной темени меток,  
Ссученный на звёздной прялке;

Некий колдовской сосуд,  
Из которого по-братски  
Дети дьявола сосут  
Смоляной напиток адский;

Восседает на столбе,  
Как поганая примета,  
Как молва о злой судьбе,  
Кем-то пущенная где-то,

Как предвестие конца.  
Что еще во время оно  
Беспокоило Творца,—  
И банальна, как... ворона.

## ЛЯГУШКИ

Я слушал эту песню высокого накала,  
Когда камыш дремучий едва шептал во сне,  
Луна во всех болотцах насмешливо мигала,  
Карбункулы мерцали, дробясь в любой волне;

Кувшинки на лианах застыли без движенья,  
Подобно жёлтым звёздам, из тёмной глубины,  
Из толщи вод светились,— от края отраженья  
До берегов пологих наметив путь луны;

И тени островные чернели. как фрегаты,  
И, тронутые ветром, шатались тростники,  
Сквозь дымку световую, сквозь бледный шёлк измятый  
Охапками вздымая дрожащие клинки.

Лягушки распевали упрямо и надменно,  
И туча, в изумленье спеша на это крик,  
Над озером повисла — послушать непременно,  
Как бьют они в литавры и умолкают вмиг.

Они рукоплескали своим же песнопеньям,  
И были стоны флейты отчётливо слышны,  
Летели градом звуки, подобные камням,  
Мочаля беспощадно молчанье тишины.

И так вопил надрывно разноголосый форум,  
Так смешивались шумы над сонною водой,  
Как будто все лягушки с луной бранились хором,  
А каждая отдельно — с какой-нибудь звездой.

Молились, и ругались, и плакали, и пели...  
Казалось, Бесконечность неведомо кому  
В торжественно-тщеславной лягушечьей капелле  
О всех земных невзгодах орёт в ночную тьму.

И, слушая, как лезут квакуши вон из кожи  
Под небом, что от века с высот на нас глядит,  
В третичную эпоху я перенёсся тоже,  
Несчастный, одинокий, как первый троглодит.

## ПОСВЯЩЕНИЕ

Пыльной лиры на стене  
Я давно не замечаю,  
Ибо я с тобой скучаю,  
Я а с любой другой — вдвойне.

Стал я тренькать еле-еле,  
Хоть и струны хороши;  
Видно, струны у души  
Лопнули, перержавели.

Для тебя я пел когда-то  
И теперь — опять хочу:  
Смех и горе воплощу  
В тремоло и пиччикато.

Ну, а если этим пеньем  
Попаду тебе не в тон,—

Мы накрутим патефон  
И пластинку переменим.

### РЕВНОСТЬ

Повстречавши не меня,  
Ты другого бы любила,  
Проявив не меньше пыла  
И любовного огня.

Коль сошлась бы ты с другим,  
Ты б другого — это ясно! —  
День и ночь ласкала страстно,  
Называла б «дорогим».

Ты возилась бы с сынком,  
И росло б отродье ваше  
Наподобие папаши —  
Прирождённым дураком.

Всё ж мы встретились случайно  
В лабиринте бытия,  
И вполне случайно я  
Счастлив столь необычайно!..



### БАЛЛАДА МАЛЕНЬКОЙ ЗВЕЗДЫ

Припомни ночь, когда в саду  
Ты, руку приподняв устало,  
В Стожарах на одну звезду  
Мне указала.

Лицом к лицу со мной вдвоём  
Глядела в небо ты спросонок  
И на моём  
Плече лежала, как ребёнок.

Полураспущенной листвой  
Склоняясь беззвучно к изголовью,  
Каштан раскинул полог свой  
Над нашей чистой любовью,

И, ветви протянув сквозь мрак,  
Свидетель позднего свиданья,  
Он спрятать нас не мог никак  
От Мирозданья.

Молчала ты, но в тишине  
Я видел пальчик твой, который  
Указывал безмолвно мне  
На безграничные просторы:

И капля звёздного дождя  
Вверху сверкнула еле-еле,  
По небу чёрному пройдя  
Стежками канители.

С каких космических вершин  
Внезапный луч, дрожащий, узкий,  
Упал на смятый крепдешин  
Девичьей блузки...

Чей зов домчался с высоты  
К тебе? Каким секретом встречным  
Успела обменяться ты  
С пространством вечным?

Там, среди листвы чуть-чуть видна  
Во тьме, изнизанной огнями,  
Звезда смиренная одна  
Стоит над нами.

Из дымной мглы  
Она холодный луч метнула  
И, словно кончиком иглы,  
Мне сердце бедное проткнула.

И молвила: — Вам суждено  
Родиться на комочке глины,  
С ним заодно,  
Вертись, лететь сквозь мрак пустынный,

И знай, мечтательный микроб,  
Что пред Вселенной  
Ваш страстный трепет и озноб —  
Лишь сон мгновенный.

Меня воспеть ты захотел  
В любовной оде;  
Теперь поэты не у дел  
И самая любовь не в моде.

Ты так ничтожен, карлик мой,  
Я — исполинка...  
Не лучше ль спать пойти домой,  
Моя упрямая пылинка?

Нет в мире глупости древней,  
Чем клясться голосом серьёзным  
В любви бессмертной, вечной к ней  
Под небом звёздным!

И во Вселенной нет греха,  
Достойней ада,  
Чем рифмовать конец стиха  
Не так, как надо!..

## ДОЖДЛИВЫЕ СОНЕТЫ

\* \* \*

Уже неделю дождь идёт жестокий;  
Льёт с потолка. Боюсь: минуют сутки —  
И штукатурка рухнет, кроме шутки,  
И захлестнут мою кровать потоки.

Рехнулись вновь Балканы. Снова жуткий  
Пожар войны бушует на Востоке.  
Пора принять, пока не вышли сроки,  
Холодный душ Европе в промежутке!

Что случилось вдруг с небесным мизантропом?  
Он хочет покарать вторым потопом?  
Я смерти не боюсь, но всё ж, к примеру,

Могли бы вы перед кончиной мира  
На Марс меня направить иль Венеру;  
Здесь, на Земле, пожалуй, слишком сыро!

\* \* \*

Как Робинзон, я отлучён от света.  
Никто нейдёт, но я отнюдь не ною,  
И если отгорожен я стеною,  
То потому, что мне угодно это.

И счастьем я не уступаю Ною!  
Когда нырнула в воду вся планета,—  
Плывя над миром, провожу я лето  
В ковчеге с пассажиркою одною.

Я не возьму на борт ни экземпляра  
Из представителей зверья земного.  
Не лезьте зря! Вы с нами плыть не вправе!

Ведь надобна единственная пара:  
Поэт и бесприданница, чтоб снова  
Восставить мир в его красе и славе!

1936



## ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Тебя, Зоил, мой смех язвит недаром!..  
Когда-то средь кушцов и грамотеев  
В портовом городе, большом и старом.  
Смирненно жил беднейший из евреев.

Он звался Барух, этот странный нищий,  
И стёкла шлифовал в своём квартале.  
Он был на свете всех мудрей и чище,  
Но все его стекольщиком считали.

Но время дует, словно ветер свежий,  
А Смерть ускорила метаморфозу:  
Все прахом стали — умники, невежи,  
И только Барух превращён в Спинозу.

Тебе моё мышление не под силу...  
Ты создал из себя литературу,  
Чтоб мы тебя, как редкую бациллу,  
Под микроскопом изучали сдуру.

Ты помутнел, но мелким ты остался...  
Когда ребёнком я на льду катался,  
Владел и я неясностью грошовой  
И глубиной твоею двухвершковой.

А ныне я прозрачен, словно лупа,  
Для всех людей моя доступна тайна,  
Лишь ты над ней глаза таращишь тупо,  
Забыв усвоить азбуку случайно.

Напрасно нас порою числят вместе;  
Различны наши цели и дороги,  
И эти строки, признаюсь по чести,  
Посвящены тебе, Зоил убогий,

Чтоб вспомнил ты о стёклышках Спинозы  
При чтении моих стихов и прозы.

1922

## ИЗЛОЖЕНИЕ ПРИЧИН

Почему я никогда не выставляю  
свою кандидатуру  
на соискание академической премии

Во-первых, я ленив на диво,  
А во-вторых, я не речист,  
Не декадентствую слезливо,  
Не модернист, не футурист;

И для меня противно, в-третьих,  
Свои стихи пускать в галоп.  
Я враг ущербных премий этих,  
К тому ж, в-четвёртых, — мизантроп.

Я, в-пятых, сам достоин славы;  
В-шестых, не верю ни на грош  
Всем академикам; управы  
На их решенья не найдешь!

В-седьмых, я пристыжен заране;  
В-восьмых, я осознал вполне  
Посредственность моих созданий;  
В-девятых, было стыдно мне

Явиться с виршами под мышкой  
В академическом кругу  
И кланчить, потрясая книжкой,  
Чтоб отвалили мне деньгу.

На гандикапе я, в-десятых,  
Не мог бы побеждённым стать  
И начал бы судей завзятых  
Стихами по щекам хлестать.

В-одиннадцатых, для таланта  
Вредна валюта: миг один —  
Ты превратишься в спекулянта  
Иль закрываешь магазин.

В-двенадцатых, не злитесь, если  
Я уклоняюсь, господа,  
Пока средь вас в почётном кресле  
Вон та курносая балда!



## ЗАДОЖДИЛО

Здесь что ни дождь — без перерыва льёт.  
У нас не то: польёт и перестанет;  
А тут с рассвета небо как затянет,  
И ливень хлещет сутки напролёт.

С какой ноги, хмельная от тоски,  
Природа нынче встала? С левой, что ли...  
Набрякли рощи, словно индюки,  
И плачут крыши, искривясь от боли.

Порою солнце в середине дня  
Меж грязных туч мелькнёт, как бледный снимок,  
На миг из дома выманит меня;  
Ан, снова дождь! — и я до нитки вымок.

По временам редеют облака,  
И чудится, что с неба каплет реже,  
Алеет запад, просветлев слегка,  
Но завтра утром хлынут ливни те же.

Всё это вёдром здесь зовёт народ,  
Хоть моросит, как прежде, нестерпимо,  
Восят лягушки, рыба не берёт,  
И понизу струятся клубы дыма...

Василие Маркович  
(1941)

## ИЗ ЦИКЛА «ЖАЖДА»

### ГРАДАЦ

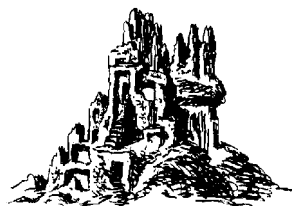
Источник Градац бьёт возле кладбища Святой Параскевы-Пятницы. Мёртвым он окропляет души, живым — гасит извесь, пожары, утоляет жажду. Однажды от злого мужа убежала молодая жена. Долго бродила она по лесу, разыскивая дорогу к дому. Когда она набрела на сверкающие лесные воды, то увидела в них своё лицо, увидела себя в невиданном городе. С тех пор обезумела она и всё рассказывала о потопленном городе, врата которого отверзаются только перед праведниками. Источник обложил камнем Мирко Радованов в 1898 году.

Творец замыслил дождь из белого металла,  
А мог иной создать, о золоте мечтая!  
Вот маской солнечной соломка золотая  
Сверкнула в папорти, как будто прорастала.

Приходят как во сне, полна терпенья: это  
Понятно жаждущим — что может быть  
плачевней?  
Гляди! Горят стога вблизи Морачи древней!  
Неистовствует ночь страды сухого лета.

На смерть источника нельзя глядеть без дрожи.  
В незримом забвении повис над сохлой тиной,  
От смеха лопаюсь, гранат румянорожий.

Пусть, как в причастии, намёком нам даётся  
Свершенье большее, в короткий миг единый!  
Тропа теряется — дорога остаётся.



## СТУДЕНО

Студено — источник среди серебристых скал  
и виноградников. В его воде отражается вся окрестность.  
Прежде по ночам в нём купались вилы, а днём — девушки,  
ягнята и серны, что приходили из дальнего леса. Возле  
источника жил злой человек. Состарившись, он день и  
ночь молился богу Перуну, чтобы источник пересох, чтобы  
вилы и девушки не могли в нём больше купаться. Вода в  
источнике не высохла, но стала такой холодной, что вилы  
ушли. В 1885 году капитан Никола выложил источник  
Студено камнем так, что образовались три водяных окна.

Меж звёзд хрустальный вихрь заметен еле-еле.  
В трёх окнах водяных прохладу ищут вилы.  
Окрестных голых скал накинута шёлк застылый.  
Слезам на устах — ветвистые качели.

Спокойно бродит явь, среди созвездий рыща.  
Горгани смолкшие морочат слух сторожкий.  
И, оробев от скал, стоит у горной стежки  
Над влажной тайной отражение кладбища.

Заклятие зажгло тычинки; вяжет струи  
Белесых вспышек рой; стремительно колеблем,  
Он трещинам коры дарует поцелуи.

И ткётся тишина, в тени скользя неблизкой,  
Яснее следует за серебристым стеблем.  
А водопад скреплён зелёных звеньев снизкой.

Казимеж Пшерва Тетмайер  
(1865–1940)

## КОНЕЦ XIX ВЕКА

Проклятье? Лишь дикарь, испуганный и гневный,  
грозит своим богам пораненной рукой.  
Ирония?.. Но яд иронии людской  
слабей иронии всей жизни повседневной.

Презренье... Лишь глупец, безумьем ослеплённый,  
на тяжкий груз глядит с усмешкой на лице.  
Отчаянье?.. И мы, в пылающем кольце, —  
самих себя убить должны, как скорпионы?

Борьба?.. Но муравей в борьбе с локомотивом  
напрасно пыжится — он проиграет спор.  
Покорность?.. Но, ложась покорно под топор,  
ты легче примешь смерть в сравнении со строптивым?

Грядущее?.. Но кто раскроет нам однажды  
загадки мёртвых звёзд и сроков бытия?  
Блаженство?.. Но душа несытая твоя,  
все страсти утолив, опять горит от жажды.

Что ж остаётся нам от времени былого?  
Все веры рухнули; столетье истекло...  
Где твой надёжный щит? Чем ты поборешь зло,  
премудрый человек?.. Но он в ответ — ни слова.



## О СОНЕТЕ

Люблю нелёгкий труд над строфами сонета.  
Вот глыба мрамора лежит передо мной, —  
способен мой резец в размерности одной  
вселить в неё тепло, набросить блики света.

Люблю я звуков медь. Они блуждают где-то  
и, возвращённые в один и тот же строй,  
разнообразной мне ласкают слух игрой,  
единой, как заря, что вся в оттенках цвета.

Люблю я этот храм, мой маленький костёл,  
в который может Бог вместиться необъятный.  
Тропинку горную, где только что прошёл,

кто опытен и смел, — назло судьбе превратной.  
Вечернюю звезду, глядящую в мой дол.  
Мой звонкий бубенец, мой колокол набатный.

Юлиан Тувим  
(1894–1953)

### ФОКУС-ПОКУС

В Нью-Йорке б заблистал легко он —  
Дуэт мой ритмико-словесный.  
Итак, я начинаю — клоун,  
Эксцентрик, виртуоз известный!

Вишу на ямбе, рифмой сбитом,  
Перед толпой тысячеглазой  
Строфою вниз и вдруг кульбитом  
Вывёртываюсь кверху фразой.

Над сеткой — гоп! Сейчас я выдам  
Смертельный трюк сенсационный!  
Кометою, хмельным болидом  
Лечу, светясь над жизнью сонной.

И сызнова стою над бездной,  
Всех звуков мира имитатор,  
Циркач с улыбкою любезной,  
Факир, жонглёр, манипулятор.

Слова, как мячики живые,  
Кидаю по орбитам плоским  
И вмиг на стержни звуковые  
Ловлю одним движеньем броским.

Искрящимся, цветастым джазом  
Они кружат, как птичья стая,  
Щебечут и сверкают разом,  
В мой рот разинутый влетая.

Словоглотатель! Чудо! Гений!  
Стих-человек! Редчайший случай!  
Как лягушат, я на арене  
Глотаю каждый слог колючий.

Palm‡! Chang‡! Штукарь волшебный!  
Комок проглоченного слова  
Перед комиссией врачебной  
Из сердца исторгаю снова.

В пространстве без конца и края  
Плету орнамент фантастичный,  
Слова расчётливо швыряя, —  
Шут, математик истеричный!

Толчками в такт сердцебиению  
Они мелькают в буре звёздной.  
Из тьмы, как в первый день творенья,  
«Да будет!» — слышен голос грозный.

Одним присловьем «фокус-покус»  
Вселенную могу создать я.  
О, фокус-покус! Nos est corpus!  
Поэтов и богов заклятье!



### МАЙСКИЙ АПТЕКАРЬ

В мае, утром свежим,  
Из берёзы сонной,  
Если мы её надрежем,  
Брызнет сок зелёный.

Ледяная влага,  
Наполняя склянку,  
Молодыми корешками  
Пахнет спозаранку.

Днём её подольше  
Облучай на солнце  
И на лунный свет под вечер  
Выставь на оконце.

Станет влага эта  
Листвяного цвета,

Ты её зарой в сырую  
Землю — до рассвета.

Поутру поспеет  
Эликсир пахучий,—  
Не залечит он ушиба,  
Ни печали жгучей,

Ни хандры, ни сглаза,  
Ни беды сердечной;  
Не доставит он богатства,  
Ни юности вечной,

Не разгонит скуки.  
Не затянет раны,  
Только в нём и сесть, что вешний  
Терпкий привкус пряный,

Запах рощи, отсвет зорьки,  
Звёздный блеск воздушный,  
Что зелёный он и горький  
И что никчемушный.

#### ТРАВА

Трава! Трава по колена,  
Давай охватим друг друга,  
Чтоб в мыслях не было больше  
Ни меня и ни луга.

Чтоб я с цветами, корнями  
Срастился, они же — со мною,  
Чтоб никогда между нами  
Слова не встали стеною.

Чтоб мы лишь единым звались  
Именем неделимым:  
Или оба — травую,  
Или оба — тувимом.

#### МУЗА

Аптекарьша, завив кудряшки,  
Курносая, розовая, с рассветом  
Поёт чувствительным высоким фальцетом:  
«О мой жребий тяжкий!»

Мечтая о теноре в пышной постели,  
С прихлёбом кофе пьёт «по-варшавски»,

Шлафрок её в перьях; руно её шавки —  
Как пена белой кудели.

Пламенный жар над канавой сточной  
Понизу вьётся — яркий и душный;  
Она же — локоны, шёлк цветочный,  
Пухлая тучка, птенчик воздушный.

Дрожжи вздували дебелое тело,  
Дама росла, как сдобная пышка,  
И, распевая романсик, взлетела  
Буйно над крышами городишка.

— Аптечная цапля, муж лопаухий,  
Клюв завязивший в липкой латыни,  
Вот, над местечком, за Музой-толстухой  
С песней лечу я в небесной сини!



## ВНЕЗАПНОЕ ПРОЗРЕНИЕ

Люди — фантомы: звери и вещи,  
Бочки и жерди, рожи и хари,  
Комель ходячий, Голем зловещий,  
Ведьмы и духи, странные твари.

Мерин во фраке, жуткий и длинный,  
Дыры в баке таращит нелепо,  
Блеет козёл с мочальной чуприной...  
Кто вас извлек из ветхого склепа?

Кто потревожил вас на погосте.  
Вновь одарил движеньем и речью, —  
Сбитые наспех мёртвые кости,  
Бред, облечённый в плоть человечесью?

Бык бородатый в паре пиджачной,  
Пень в сюртуке, подобие трупя,  
Мороки древней памяти мрачной,  
Что вы бубните глухо и глупо?

Как же за стол уселся я с вами,  
Призраки тьмы, рождённые в бездне?

Руки — клинки, глаза — словно пламя!  
Сгинь, сатана! Рассыпья! Исчезни!

### «ВЕСЕННИЙ ДЕНЕК»

Прорастают стебли  
В напряженье тяжком.  
Тужатся и лезут, —  
Больно им, бедняжкам.

Всполошились птицы  
И кричат с надрывом.  
Душу больно жалят  
Щебетом тоскливым.

На стерне корова  
Скорбно промычала,  
Глянула и снова  
Тупо замолчала.

Есть недуг в природе:  
Рост и пребыванье.  
Счастье — только в смерти,  
В несуществованье.

Вы, друзья идиллий,  
Птичек и растений!  
Пыточный застенок  
Этот день весенний.

Так ведите ж милых  
На лужок зелёный,  
Губы им терзайте  
И грудей бутоны!



### АВТОМОБИЛЬ

Мчимся дико, без рассудка,  
Пьян мотор, и я напился.  
Встречный ветер, взвизгнув жутко,  
В чуб, как нетопырь, вцепился.

Ветер причесал шофёров,  
Словно брадобрей заправский.



Между прочим — что за норов!  
Шут! Ветрило сорвиглавский!

Сорвиглавский, Сорвиглавский,—  
Чёрт поймёт, как он зовётся! —  
Деревушки, словно в сказке,  
Мигом сбрил и дальше рвётся.

Он мой чуб сграбастал сразу,  
Крепко держит, зычно свищет;  
Мы газнём, он — вдвое газу!  
В щёки плещет в губы прыщует.

Выставь руку! По лачугам  
Двинь с весёлым перебором!  
По столбам, бредущим цугом,  
Грохни — ддр! — как по заборам!

В пень ли, в ров? Забавно, право.  
Впереди корчма; да что там!  
Смех налево, страх направо,  
Смерть — за первым поворотом!

1928



## РАПОРТ

Фильм показался дерзким  
Швейцарам министерским;  
В обиде на журналы  
Вахмистры и капралы,  
Полковничьи денщики  
Взяли стишки в штыки,  
Ругают кушлеты злостно  
Сержантские жёны из Кросно;  
Полиция, вытянув лица,  
По поводу радио злится;  
Задетые за живое  
Студенты сердятся вдвое;  
Далее — ксендзы в Ломже  
Вельми скорбят о том же;  
Потом — обиделись жутко  
Портняги из Новогрудка;  
Засим, акушерки и сёстры  
Протест заявили острый:  
Мол, это отравя народа,

Бесстыдство, прямая измена,  
Погибнет страна, несомненно!  
...А впрочем, в Польше — свобода.

1936

### ЕВРЕЙЧИК

Скачет, распевает, к нам во двор забредший  
Дурачок-еврейчик, местный сумасшедший.

Бог лишил рассудка, люди гонят взашей,  
Стал язык, в изгнании, стоязычной кашей.

Чешется и скачет, заливаясь плачем,  
Что, мол, жизнь погибла в нищенстве бродячем.

Грустный барин смотрит из окна квартиры:  
Глянь и ты на брата, младший брат мой сирый!

И куда ж завёл нас вечный путь бездомный,  
Чуждых и немилых всей земле огромной?

Этот грустный барин, в том же танце странном,  
Мечется, как шальный, по бессчётным странам.

Он в поэты вышел, колеся по свету,  
Сердце, как монету, завернул в газету

И швырнул в окошко, чтобы в грязь упало,  
Чтоб его втоптали, чтоб оно пропало.

Разойдёмся молча, два шута безродных,  
Для скитаний горьких, странствий сумасбродных;

Не найдём приюта ни в одном куточке,—  
Певчие жидочки, глупые жидочки...

### СТРАНИЧКА ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Сошлись у киношки под вечер прелестный  
Известный кретин с идиоткою местной.

Известный кретин предложил идиотке:  
— Пойдём-ка в кино на часок, на короткий!

— Изволь! — идиотка сказала крестину,—  
Мы ж любим друг друга! Посмотрим картину!

Кретин ей ответил слащавой ухмылкой  
И двинул в кино с идиоткою пылкой.

Полфильма кретин её тискал в охотку;  
Экстаз переполнил вконец идиотку.  
Она прошептала: — Кретин мой известный!  
Картина мне кажется нудной и пресной.

Сначала кретинка вдвоём с идиотом  
Винцом подкрепились, котлеткой, компотом;

За сим, в единеньи высоком и тесном  
Сплелись идиотка с кретином известным.

Вот так они деток своих без запинки  
Плодят — идиоты, кретины, кретинки,—

Чтоб вечно встречались под вечер прелестный  
Известный кретин с идиоткою местной.

#### РОДОСЛОВНАЯ

Зачем ты лезешь вон из кожи,  
Во мне обрезанца провидишь?  
Твоя жена — еврейка тоже.  
Ты пишешь сам почти на идиш,  
Жида смердят в твоей газете,  
А тётя, главная хозяйка,  
Гранд-дама, принятая в свете,  
На самом деле — просто Хайка;  
И женин дядя, Сендер прыткий,  
Нас не обманет камуфляжем —  
Он сын Абрамчика, Давидки  
Иль, может, Лейбы, прямо скажем.  
Он в хедере сидел недаром,  
По сидурам учился старым,  
Ему вдолбил меламед строгий  
Алеф, бет, гимел, даже далет,  
Враскачку пел он в синагоге;  
Такое прошлое, — о, боги! —  
Его мучительно печалит.

Откуда родом это панство  
И все твои сыны и дочки,  
Иерусалимское дворянство,  
Ясновельможные жидочки?  
Каким гербом какой эпохи  
Твоя жена гордится ныне?  
Какой девиз её мишпохи

И где истоки той гордыни?  
Для назидания потомства,  
Пускай народ сведёт знакомство  
С неоспоримой родословной  
Твоей супружницы сановной.  
Архив перебирая местный,  
Мы на пергаментях читаем,  
Что предок был шинкарь известный  
И назывался Мордухаем.  
В зятях имел тот предок Шмуля,  
А Шмуль — Арончика и Сруля;  
Жене Арончика Нехаме  
И Срулевой супруге Сарре  
Пришлось торговлей потрохами  
Вдвоём заняться на базаре.  
Нехама родила Абрашу,  
Виновником считали Яшу,  
Который с шурином Акибой  
Ворочал чесноком и рыбой.  
Была сестрой Акибы Ента,  
Супруга Мордки, конкурента,  
А Мордкина сестрица Хава  
Плясать любила до отвала;  
Она налево и направо  
Маюфес в пурим танцевала.  
С ней Мендель танцевал и Хаим,  
Хиль, Енох, Юдка и Эфраим.  
Последний тур был самым длинным  
И кончился под балдахинном.  
В том браке родилась Дебора,  
Герш, Файвел, Ройза и Ципора,  
Цви, Рива, Брайндла и Гедали,  
Менахем, Хацкел и так дале.  
На Брайндле Бер женился вскоре,  
Достался Борух-Вольф Деборе,  
Внук Хацкела, Мойсейчик, сдуру  
Взял Файгу, а Менахем — Суру,  
Эстерку — Моня, Симха — Риву,  
А рыжей Ройзе дали Киву.  
У Ройзы был племянник Шая,  
Чья бабка, модница большая,  
Ревекка-Шифра, непременно  
Должна была иметь кузена.  
Её кузен, Йегуда бравый,  
Владел лавчонкой под Варшавой,  
А брат его, Ицхок-Израиль,  
Тувимам в Лодзи обувь драил.

Константы Ильдефонс Галчинский  
(1905–1953)

## СКУМБРИЯ В ТОМАТЕ

Пришёл в газету «Райские вести»  
(скупбрия в томате, скупбрия в томате)  
сморчок-старикашка, с пёсиком вместе  
(скупбрия в томате, лещ).

— Кто вы? — спросили сотрудники стоя.  
(скупбрия в томате, скупбрия в томате)  
— Король Владислав Локоток, вот кто я!  
(скупбрия в томате, лещ).

В пещере я сиднем сидел, понимаете?  
(скупбрия в томате, скупбрия в томате)  
Но дольше не в силах... Скупбрия в томате!  
(скупбрия в томате, лещ).

Не в силах заразу терпеть я дольше  
(скупбрия в томате, скупбрия в томате)  
Иду навести порядок в Польше  
(скупбрия в томате, лещ).

Тут главный редактор чихнул: — Простите,  
(скупбрия в томате, скупбрия в томате)  
вы наш режим улучшить хотите?  
(скупбрия в томате, лещ).

Лет десять назад, — это помним все мы, —  
(скупбрия в томате, скупбрия в томате)  
у нас уже был улучшатель системы  
(скупбрия в томате, лещ).

Тоже шляхетный. Стрелял. И что же?  
(скупбрия в томате, скупбрия в томате)  
Кровь пролилась и высохла позже  
(скупбрия в томате, лещ).

— Что же мне делать? — король заплакал.  
(скупбрия в томате, скупбрия в томате)  
Редакторский стол слезами закапал  
(скупбрия в томате, лещ).

Значит, не мне навести здесь порядок?  
(скупбрия в томате, скупбрия в томате)  
В пещеру, назад, золотой мой Владек!  
(скупбрия в томате, лещ).

Скумбрия в томате, скумбрия в томате!  
(скумбрия в томате, скумбрия в томате)  
Вы Польши хотели? Так вот вам, нате!  
(скумбрия в томате, лещ).



ПОМОЛВКА ДЖОНА КИТСА  
(Комедия)

Старый Англии дуб, золотой при отблесках молний,  
Выбелен снегом сегодня, в зимний вечер безмолвный.  
Любовь — дуб золотой но молнии стихли ныне.  
Джон швыряет охапки дров, чтобы стало светлее в камине.  
Как небо, откроются двери, и Фанни усядется рядом,  
А он расплывётся в улыбке, уставится долгим взглядом.  
Не будь губошлёпом, Джон! Чудные гримасы не к месту.  
Сегодня твоя помолвка; не нарекай на невесту.  
Забелет огромная скатерть; винам на скатерти тесно.  
Целуйся же, Джон-простофиля, с твоей невестой  
прелестной!

Как ты, она с виду спокойна, внутри же — кипящее  
пламя,

Горячие звёзды вздымает ладонями—всерами.  
Как жарко огонь этот греет! Как радостно в этом блеске!  
Словно старый Шекспир в камине играет забавные пьески.  
Довольно, милые дети! Пора уже в зал перейти вам.  
Столы накрытые гнутся, нет сладу с оркестром ретивым.  
Тётки над тортами вьются — рой ангелочков летящий.  
Мы не притронемся к тортам, губы — желанней и слаще.  
А когда удалятся гости и захлопнутся наглухо двери, —  
Губы Джона и Фанни распалются, как вольные звери.  
Губы сольются с губами, пальцы вопьются в ладони,  
Краше Германа и Доротеи — жених и невеста на троне.  
Она — разлитое Небо, он — Океан безмерный,  
Она — благородная дама, он — рыцарь со шпагою  
верной.

Вот и конец представленью. Спешите, актёры, не стойте!  
Делайте странные жесты, гримасы чудные стройте.  
Занавес... рукоплесканья.. Тсс... Свет рассветный в  
оконце.

На стекле — ягнёнок... за стеклом золотистый голубь...  
малое... сладкое солнце.

1928

## ПЕСНЬ ХЕРУВИМСКАЯ

Мы чуть свет расходимся — каждый  
По своей дороге  
Враждовать с чудесами.  
Лишь к вечеру лягут  
Работы дневной итоги,  
Как новая скрипка, — пред нами.  
Жена у окна с букетом.  
От огня — на руках позолота.  
В ладонь, озарённую светом.  
Музыка льётся.

Сила огня печного  
Распрямляет нам плечи.  
Мы — что ни день атакуем снова.  
Под градом картечи, —  
У всех на виду, мы всё резче  
Бьёмся — до смертного часа,  
Добывая несложные вещи:  
Хлеб, дрова, мясо.

Певчей порою вешней,  
Когда река золотится,  
Мы смотрим с моста, как здешний  
«Кракус» в Млоцьны мчитя.  
Дыма гривастые сплесни.  
Брызг серебряных снизка...

А вахтенный тешитя песней:  
«Марыська, моя Марыська».

Порою вымпел на мачте  
Запачкан сажей с рассвета.  
Все пятна отмоеет, — не плачьте! —  
Вода вислянская эта.

Медленно зреют люди. Им надобен дух  
непреклонный,  
Чтоб, не поддавшись ветрам, в небо и землю  
взрастать  
И зашуметь под конец, победному дубу под  
стать,  
Буйною кроной.

Это совсем не усталость. Это в небе весеннем  
Туча возникла на миг, чтоб, солнце затмив,  
отогреть.

Нет! наших рук не сдержать! Херувимы  
стремятся и впредь  
К новым свершеньям.

Когда-нибудь осенью нам всё покажется мельче,  
короче...  
Но вырастут наши творенья и уснут, как толпа  
великанов.  
Мы за город выйдем тогда, на прошлое издали  
глянув,  
На дни, что не зря миновали, на наши бессонные  
ночи.

Только надо себя превозмочь, побороть, покуда  
мы живы.  
Мы наших коней крылатых золотом кормим  
червонным.

Слышишь? — в наших сердцах доброты  
всемогущей призывы  
Откликаются звоном.  
Дай нашим жёнам сапфирные взоры,  
Серебряные пальцы, гиацинтовые уборы.  
Дай ребятишкам вдоволь вкусной каши,  
И пусть растут простыми дети наши.  
Пусть наша печь не будет позабыта,  
Ей дров берёзовых ты дай поесть досыта.  
И нашего кота не обойди вниманьем,  
Пускай не мёрзнет он морозным утром ранним.  
Безумных излечи, закрой дорогу войнам,  
Дозволь передохнуть всем людям беспокойным.  
Конец молитвы. В вышине  
Гремит; и чаща, — как во сне, —  
Мазовецкая, густая,  
И трясины пинская  
Вторят мне.  
Так звучит моя насущная, упрямая, простая  
Песнь херувимская.

1930





## СЕДЬМОЕ НЕБО

Из стихов для Наталии

1

Я рванулся в звездопад зазимка  
из автобуса, припал к твоим ладоням,  
и твоих волос вечерних дымка  
обдала блаженным благовоньем.

Месяц, у дверей блеснув на счастье,  
заплутал в ветвях: пропал — как не был.  
Ночь замкнула перстень свой, и настужь  
нам открылось седьмое небо.

2

Поздний час, и ночь пустынна,  
но в окне твоём спокойном  
свет ещё горит: — Впусти нас!  
Хмуроглазая, открой нам!

Мы на крыше спать не станем.  
Дверь открой для доброй встречи.  
И тебя слепят блистаньем  
инструменты, птицы, свечи.

Ветром, вальсом, шумным роем  
мы влетим: гитарным звоном  
каждый локон твой омоем,  
словно золотом червонным.

3

Это было в какой-то столице,  
в Голландии, в Бельгии, что ли...  
Меркли звёзды — тускнели гробницы  
и ветер гудел, словно в поле.

Рассыпал вечерние трели  
аккордеон золотистый,  
и над крышами скрипки летели,  
кларнеты, фаготы и листья.

Помнишь ливень, что плыл по бульварам,  
миг свиданья — шальной. накалённый.  
и киношку в предместье старом,  
где звалась кассирша Симоной?

Каждый вечер, в сумраке странном,  
каждый вечер, дрожа перед встречей,  
по бульварам, с красным тюльпаном,  
я бежал к тебе, как сумасшедший.

Очень ярко в «Олимпии» тесной,  
и сеансы веселы эти,  
а цветок — для самой прелестной,  
для тебя, для лучшей на свете!

Я глотнул бы смертного яду,  
лишь бы ты обняла меня страстно,  
но меня вышибали в награду  
за признанья во время сеанса.

Но свершилось великое чудо,  
хоть исторгнуть не мог даже стона,—  
и однажды ночью оттуда  
ты пошла со мной — не Симона.

Мы сплели наши пальцы несмело,  
просияли взорами оба  
И сквозь мир, от войн опалелый,  
шли, как двое детей, бок о бок.

4

Ты — прекраснейший зверёныш: сини  
волосы твои рассветной ранью.  
Ты — высокий фонарь на баркентине,  
и молюсь я твоему дыханью.

Я тебе все инструменты воздал,  
Все цветы принёс, плоды земные,  
за тобой все небеса и звёзды  
обошёл я — все миры иные.

5

Зазвенели серьги красной меди,  
византийским грянули трезвоном.  
За окном, над Францией забредил  
снег метельный — над Греноблем сонным.

На твой лоб, на ногти уронила  
огненные перья птичья стая.  
Вдруг погасли птицы. Всё затмила  
страсть, как туча тёмно-золотая.

Артур Рембо  
(1854–1891)

## ПАРИЖ ЗАСЕЛЯЕТСЯ ВНОВЬ\*

Подлецы! Наводняйте вокзалы собой,  
Солнце выдохом лёгких спалило бульвары.  
Вот расселся на западе город святой,  
Изводимый подагрой и астмою старой.

Не волнуйтесь! Пожаров прилив и отлив  
Обречён — выступают пожарные помпы!  
И забыл тротуар, буржуазно-потлив,  
Как играли в пятнашки румяные бомбы!

Уберите развалины! Бельма зрачков  
Отражают свечение суток несвежих!  
Вот республика рыжих, давальня боков,  
Идиотская биржа щипков и насмешек!

Эти суки уже пожирают бинты!  
Объедайтесь, крадите! Победою первой  
Обесчещены улицы. Пейте, коты,  
Ваше пиво, пропахшее дымом и спермой!

Захлебнитесь абсентом! У мокрых дверей  
Мертвецы и сокровища брошены рядом.  
Старичишки, лакеи, рыгайте скорей  
В честь праматери вашей с обрывистым задом.

Распахните гортани навстречу вину,  
Сок лучей закипает, в кишечнике канув,  
И распухшие губы роняют слюну  
На клеймёное дно пресловутых стаканов.

О помойные глотки! Закишпие рты!  
Где вино? Вот Вино! Прощельги, к добыче!  
Победители! Настежь держать животы!  
Ну, подставьте затылки с покорностью бычьей.

Отворите ноздрю ароматам клоак,  
Обмакните клинки в ядовитые гущи.  
Вам поэт говорит, подымая кулак:  
—Сутенёры и трусы! Безумствуйте пуще!

Для того, чтоб вы щупали влажный живот  
Вашей Родины-Матери, чтобы руками.

\* Перевод выполнен в начале 1930-х гг.  
совместно с Э. Багрицким.

Раскидав её груди, приставили рот  
К потрясаемой спазмами яростной яме!

Сифилитики, воры, шуты, короли!  
Ваши яды и ваши отребья не могут  
Отравить эти комья парижской земли,  
Смрадный город, как вшей, вас положит под  
ноготь.

И когда, опроставшись от ужаса, вы  
Возопите о деньгах, о доме, о пище,  
Выйдет Красная Дева с грудями, как львы,  
Укрепляя для битвы свои кулачища.

Ты плясал ли когда-нибудь так, мой Париж?  
Получал столько ран ножевых, мой Париж?  
Ты валялся когда-нибудь так, мой Париж?  
На парижских своих мостовых, мой Париж?

Горемычнейший из городов, мой Париж!  
Ты почти умираешь от крови и тлена.  
Кинь в грядущее плечи и головы крыш,—  
Твое тёмное прошлое благословенно!

Намагничено тело для новых работ.  
Приступ бледных стихов в канализационных  
Трубах. Ветер опавшие листья гребёт.  
И зальдевшие пальцы шныряют спросонок.

Что ж! И это недурно! Пускай не смердит  
Тельце бледных стихов, что прикинулось пеньем.  
Под округлыми веками кариатид  
Звёздный плач пробежал по лазурным ступеням.

Ты покрылся паршою, цветут гнойники,  
Ты — отхожее место позора земного.  
Слушай! Я прорицаю, воздев кулаки:  
В нимбе пуль ты воскреснешь когда-нибудь  
снова!

Декламаторы молний приносят тебе  
Рифм шары и зигзаги. Воскресни ж неистов!  
Чтобы слышался в каждой фабричной трубе  
Шаг герольдов с сердцами оглохших горнистов!

Так возьми же, о родина, слёзы котов.  
Реквизит вдохновения и катастрофы.  
Я взываю к тебе: мой подарок готов,  
Принимай эти прыгающие строфы!

Так! Коммуна в развалинах. Мир обнищал.  
Льют дожди, и дома одевает проказа.  
На кладбищенских стенах танцует овал —  
Укрощённая злоба светильного газа!

Ли Бо  
(705–762)

#### ТОСКА НЕФРИТОВЫХ СТУПЕНЕЙ

На крыльцо из нефрита  
белый иней россыпью лёг.  
Долгой ночью намокли  
кружева узорных чулок.  
Дома полог прозрачный  
опустила, присела к окну.  
Сквозь хрустальные низки  
на холодную смотрит луну.

#### ИЗ ПЕСЕН ЦЗЫ-Е

Месяц над Чанъанью,  
как тонкий ивовый лист.  
Стук вальков прилежных  
всю ночь раздаётся кругом.  
Всю ночь не стихает  
ветра осеннего свист.  
Думы навевает  
о муже моём дорогом:  
Когда ж из похода  
вернётся далёкого он,  
Усмирив броженье  
кочевых, мятежных племён?

#### В ГОРАХ

Спросят: зачем поселился поэт  
в глуши, средь Лазурных Гор?  
Лишь улыбнусь, помолчу в ответ,  
а в сердце — блаженный покой.  
Персик цветёт, и поток струю  
влечёт в далёкий простор.  
Здесь жизнь иная, не то что в краю  
пустой суеты людской.

## ЗАДУМАЛСЯ В ТИХУЮ НОЧЬ

В спальне моей  
пол осветлённый луной.  
Мнится — на нём  
иней осел ледяной.  
Взор возведу,  
вижу — луна надо мной.  
Взор опущу —  
дом вспоминаю родной.

## РАЗВЛЕКАЮСЬ В ОДИНОЧЕСТВЕ

За вином не приметил,  
как померкло сияние дня.  
А цветы облетели,  
лепестками осыпав меня.  
Наступил опьянелый  
на луну в проточной воде.  
Птицы в гнёздах уснули,  
и людей не видно нигде.

Ван Вэй и поэты его круга

Ван Вэй  
(701/699?–761/759?)

## ОТВЕЧАЮ ЧИНОВНИКУ ЧЖАНУ

Только покой  
Ценю на закате лет.  
Тысячи дел  
Уже не владеют мной.  
В сердце давно  
Обширных замыслов нет.  
Знаю одно:  
Вернуться к роце родной.  
Ветер сосны качнёт —  
Распояшусь тогда,  
Буду на цине бряцать  
Под горной луной.  
Спросите: в чём наша радость,  
Наша беда?  
Песней ответит рыбак  
На излучке речной.

## ОТВЕЧАЮ ПЭЙ ДИ

Безбрежно широк  
Разлив холодной воды.  
Сумрак зелёный —  
Осенний дождь проливной.  
Ты вопрошаешь:  
Где горы Чуннаньской гряды?  
Ведаю сердцем:  
За облачной, белой стеной.

## ИЗ СТИХОВ

«ДОМ ХУАНФУ ЮЭ  
В ДОЛИНЕ ОБЛАКОВ»

### 1. ПОТОК, ГДЕ ПОЮТ ПТИЦЫ

Вкушаю покой.  
Отцветает корица вокруг.  
Затишная ночь.  
Горы пустынны весной.  
Явилась луна,  
Всполошила дрёмных пичуг:  
Поют — не смолкают  
Над вешней влагой речной.

### 2. ЗАВОДЬ, ГДЕ ЦВЕТУТ ЛОТОСЫ

Плыву что ни день  
По лотосы в утлом челне.  
Остров велик.  
Допоздна замедляю возврат.  
Толкаюсь шестом,  
Не плещу, скользя по волне:  
Боюсь увлажнить  
Цветов червлённый наряд.

### 3. ЗАТОН, ГДЕ ОХОТИТСЯ БАКЛАН

Юрко нырнул  
Под красные лотосы вмиг.  
Вынырнул, взмыл,  
Над затоном набрал высоту.  
Перья топорща,  
Вновь одиноко возник.  
В клюве рыбёшка.  
Замер на старом плоту.

#### 4. ПРУД, ЗАРОСШИЙ РЯСКОЙ

Пруд обширен.  
Чёлн под веслом кормовым  
Вот-вот причалит,  
Коледлет влажную гладь.  
Лениво-лениво  
Сомкнётся ряска за ним.  
Плакучая ива  
Разгонит ряску опять.

#### ИЗ СТИХОВ «РЕКА ВАНЧУАНЬ»

##### 1. МЭНЧЭНСКАЯ ПАДЬ

Новый мой дом  
У входа в Мэнчэнскую падь.  
Дряхлые ивы —  
Сада истлевшего след.  
После меня  
Кто станет впредь вспоминать  
С немощной скорбью  
О людях минувших лет?

##### 2. ХОЛМ ХУАЦЗЫ

Не сосчитать  
Улетающих птиц.  
Осень опять  
Расцветила хребты.  
Гляну с холма,  
Сойду с высоты —  
Сызнова в сердце  
Тоска без границ.

##### 3. БЕСЕДКА ИЗ УЗОРНОГО АБРИКОСА

Дерево на балки  
Узорный дал абрикос,  
Из камыша  
Душистую кровлю сплели.  
Пряди тумана,  
Что ветер в стропила занёс,  
Наверно, уйдут  
И дождём прольются вдали.



#### 4. БАМБУКОВЫЙ ПЕРЕВАЛ

Рослый бамбук  
Отражён в пустынной реке.  
Яхонт и яшму  
Рябью кольшет вода.  
Взойди на Шаньшань  
От мирской тщеты вдалеке,  
Дровосеки в лесу  
Тебя не увидят тогда.

#### 5. ОЛЕНЬЯ ЗАСЕКА

Горы пустышны.  
Не видно души ни одной.  
Лишь вдалеке  
Голоса людские слышны.  
Вечерний луч  
Протянулся в сумрак лесной,  
Зелёные мхи  
Озарил, сверкнув с вышины.

#### 6. ИЗГОРОДЬ ИЗ МАГНОЛИЙ

В закатных лучах  
Осенние склоны хребта.  
Птицы чредой  
Летят над лесистой горой.  
Вечерний туман  
Кочует, меняет места.  
Пёстрая зелень  
Становится ярче порой.

#### 7. БЕРЕГ, ГДЕ РАСТЁТ КИЗИЛ

Всюду полно  
Зелёных и красных плодов,—  
Будто цветы  
Опять расцвели в тишине.  
Чарку вина  
Поднести любому готов,  
Кто погостить  
Пожалует в горы ко мне.

#### 8. ТРОПИНКА МЕЖДУ СОФОР

Между софор  
Тропа шириной в полшага.  
Заросли моха —

В плотных, длинных тенях.  
Только для гостя  
Тропу расчищает слуга:  
Вдруг забредёт  
Какой-нибудь здешний монах!

#### 9. БЕСЕДКА У ОЗЕРА

Гостя встречаю;  
Почтенный в лёгком челне,  
К берегу близясь,  
Неспешно скользит по воде.  
Два кубка вина  
В беседке — другу и мне,  
И лотос окружный  
Уже распустился везде.

#### 10. ЮЖНЫЙ ХОЛМ

Лодка легка —  
Южный холм за спиной,  
Северный холм  
Впереди, за гладью речной.  
Вижу людей —  
Стоят на том берегу,  
Так далеко —  
Лиц различить не могу.

#### 13. БЫСТРИНА У ДОМА В ДЕРЕВЬЯХ

Дождь осенний  
Рождает докучливый звук.  
Бурно вода  
Бежит по камням напрямик.  
Волны плещут,  
Мечут брызги вокруг.  
Белая цапля  
В страхе взлетает на миг.

#### 16. СЕВЕРНЫЙ ХОЛМ

Северный холм  
За озером спину взбугрил.  
Зелень деревьев.  
Киноварь ярких перил.  
Блещет, петляет  
Южной реки полоса  
И пропадает,  
В тёмные прячась леса.

## 17. БЕСЕДКА В БАМБУКОВОЙ РОЩЕ

В пустынной чаще бамбука  
Свищу, пою.  
На цине играю, тешу  
Ночную тьму.  
Безвестен людям отшельник  
В лесном краю,  
И только луна приходит  
Светить ему.

## ПРОЩАЮСЬ С ВАНЧУАНЬСКИМ ДОМОМ

Нехотя, медленно  
Тащит повозку гневной.  
Горько грустя,  
Выезжаю из чащи лиан.  
Так трудно расстаться  
С этой синей грядой!  
А что же мне делать  
С этой зелёной водой?

## КОГДА ЦУЙ ДЕВЯТЫЙ ОТПРАВЛЯЛСЯ В ЮЖНЫЕ ГОРЫ, Я СОЧИНИЛ СТИХИ И ПОДАРИЛ ЕМУ НА ПРОЩАНИЕ

За предместьем расстались,  
В душе и надежда и страх:  
Мы сойдёмся ли снова,  
Или это разлука навек?  
На коричневых деревьях  
Цветы распустились в горах —  
Так не ждите, чтоб землю  
Лепестки устлали, как снег.

## ИЗ СТИХОВ «РАДОСТИ ПОЛЕЙ И САДОВ»

\* \* \*

Персик в цвету  
Ночным окроплён дождём.  
Вешний туман  
Ивы обвил опять.  
Летят лепестки —  
Слуга подметёт потом.  
Иволга плачет,  
А гость мой изволит спать.

## В ГОРАХ

Белые камни  
В речке устлали дно.  
Небо застыло.  
Мало красной листвы.  
На горной дороге  
Дождь не падал давно.  
Влажное платье  
Небесной полно синевы.

## ОСЕННЕЙ НОЧЬЮ СИЖУ ОДИН

Грущу одиноко.  
Виски с годами седей.  
Стража вторая  
Вот-вот вдали прозвучит.  
В горах опадают  
Плоды от хлестких дождей.  
Под лампой цикада  
Всю ночь стрекочет-сверчит.  
Чернее не станет  
Волос побелевшая прядь.  
Нельзя-невозможно  
Золото в тигле создать.  
Как исцелиться,  
Старость осилить свою?  
Книги же только  
Учат небытию.



\* \* \*

Стихи сочинять  
Ленюсь на старости лет.  
В преклонных годах  
Без них достаточно бед.  
В рождение ином  
Едва ли был я — поэт,  
В той жизни, верней,  
Присуца живопись мне.  
От прежних привычек  
Не мог отрешиться вполне  
И стал незначай  
Известен среди знатоков.  
Зачем-то слыву  
Творцом картин и стихов,  
Но сердцем не верю,  
Что я и вправду таков.

Пэй Ди

ИЗ СТИХОВ «РЕКА ВАНЧУАНЬ»

### 1. МЭНЧЭНСКАЯ ПАДЬ

У старой стены  
Построил убогий приют.  
Порой восхожу  
На громаду замшелых камней.  
Стена хоть стара,  
Но часто и нынешний люд  
Приходит сюда  
И, взобравшись, гуляет по ней.

### 2. ХОЛМ ХУАЦЗЫ

Наступает закат.  
Веет ветер между сосен кривых.  
Возвращаюсь домой.  
Влажны травы. Росинки блестят.  
Тронул облачный свет  
Отпечатки сандалий моих.  
Зимородки в горах  
На лету задевают халат.

### 3. БЕСЕДКА ИЗ УЗОРНОГО АБРИКОСА

Высоко в горах  
Приют на гребне крутом.  
К окончанию дня  
Восхожу частенько туда.  
На севере — воды.  
На юге — синееет гряда.  
Гляжу перед собой  
И назад озираюсь потом.

### 4. БАМБУКОВЫЙ ПЕРЕВАЛ

Светло играет ручей,  
То гибко, то прямо скользя.  
Низкорослый зелен бамбук —  
Роцца темна и густа.  
Связауя горную цепь,  
Вперёд уводит стезя;  
Пою, шагаю, гляжу  
На древний гребень хребта.

## 5. ОЛЕНЬЯ ЗАСЕКА

На закате встают  
Громады холодных гор;  
Я же, странник-чужак,  
Одинок бреду вдоль гряды.  
Невдомёк, что таит  
Непроглядный сосновый бор, —  
Там лишь ланей лесных  
И робких оленей следы.

## 6. ИЗГОРОДЬ ИЗ МАГНОЛИЙ

Закат изгорел,  
И сумрак всё заволок.  
С пичугами в лад  
Разжурчался горный поток.  
В дремучую глушь  
Тропинка ведёт вдоль ручья...  
Придёт ли к концу  
Одинокая радость моя?

## 7. БЕРЕГ, ГДЕ РАСТЁТ КИЗИЛ

Коричневый и перечный цвет  
Струят аромат двойной.  
Меж листьев, простёртых вширь,  
Тянется рослый бамбук.  
Солнце порой из-за туч  
В чащу проникнет вдруг,  
Но бьёт, как прежде, озноб  
В холодной дебри лесной.

## 8. ТРОПИНКА МЕЖДУ СОФОР

Тропа меж софор  
Простёрлась на юг от ворот;  
До озера И  
Она пешехода ведёт.  
Осенние дни.  
Дожди зачастили в горах.  
Опала листва, —  
Тропу никто не метёт.

## 9. БЕСЕДКА У ОЗЕРА

У самой беседки  
Кипит за волною волна.  
Свой путь одинокий

Едва начинается луна.  
При входе в ущелье  
Возня обезьянья слышна:  
Нестройные крики  
Доносит ветер до окна.

#### 10. ЮЖНЫЙ ХОЛМ

Подчиняясь водам,  
Сирый чёлн по ветру плывёт.  
Южный холм вознесён  
Над кипеньем озёрных вод.  
Солнце к склонам Яныцзы  
Поздний путь направило своё.  
В неоглядную даль  
Обратился простор волновой.

#### 13. БЫСТРИНА У ДОМА В ДЕРЕВЬЯХ

Даль оглашает  
Волн гремучий раскат.  
Тропку оставив,  
К югу шлёпаю вброд.  
Утки и чайки  
Носятся взад и вперёд  
И временами  
Ближе подплыть норовят.

#### 16. СЕВЕРНЫЙ ХОЛМ

Под Северным древним холмом,  
Где Южный отрог,  
Поставил у озера И  
Убогий мой кров.  
Когда невзначай соберусь  
На поиски дров —  
Из чащ камышовых скользит  
Мой утлый челнок.

#### 17. БЕСЕДКА В БАМБУКОВОЙ РОЩЕ

Беседку в бамбуковой роще  
Проведал опять.  
На этой тропе всё привычной  
Мне каждая пядь.  
Лишь горные птицы порою  
Плывут надо мной.  
В глубокой глуши заповедной  
Души — ни одной.

НА ТЕМУ СТИХОВ ВАН ВЭЯ  
«КОГДА ЦУЙ ДЕВЯТЫЙ  
ОТПРАВЛЯЛСЯ В ЮЖНЫЕ ГОРЫ,  
Я СОЧИНИЛ СТИХИ И ПОДАРИЛ ЕМУ  
НА ПРОЩАНИЕ»

Горы вновь посетив,  
Посвяти всё время ходьбе,  
Чтоб насытиться властью  
Красотой долин и высот.  
Пусть Улинский рыбак  
Образцом не служит тебе:  
Он так мало гостил  
У ручья, где персик цветёт.

Поэты круга Ван Вэя

Ван Цзинь

НА ТЕМУ СТИХОВ ВАН ВЭЯ

«ПРОЩАЮСЬ С ВАНЧУАНЬСКИМ  
ДОМОМ»

Луна не ушла,  
Хотя уже день недалёк  
А ветер лесной  
Всё тот же несёт холодок.  
Заботливы так.  
Неясным участием полны —  
Грустят о друзьях,  
Что нынче расстаться должны.

НА ТЕМУ СТИХОВ ВАН ВЭЯ

«ВМЕСТЕ С ЧИНОВНИКОМ ЛУ  
СЯНОМ ПОСЕТИЛ ЛЕСНУЮ ОБИТЕЛЬ  
ОТШЕЛЬНИКА ЦУЙ СИН-ЦЗЯНА»

Славой своей пренебрёг —  
Свыше десятка лет.  
Кто из учёных за этот срок  
Столько прочесть бы мог?  
Пьёт одиноко в лесу вино,  
Что принесёт сосед.  
Слышно порою: высокий гость  
Вновь ступил на порог.



Цуй Син-цзун

В БЛАГОДАРНОСТЬ МО-ЦЗЕ,  
ПОСЕТИВШЕМУ МОЮ ЛЕСНУЮ ОБИТЕЛЬ

В хижине бедной, в пустынном лесу  
Дверь всегда заперта.

Тихо, подолгу лежу один,  
Вижу гребень хребта.  
Нынешним утром сам Цзи Кан  
К дому пришёл моему:  
На ноги туфли, настезь дверь —  
Гостя с улыбкой приму.

Чу Гуань-си

ЗАТОН, ГДЕ ЛОВЯТ РЫБУ

С удочкой сяду.  
Зелёный затон предо мной.  
Цвет абрикосов  
Опадает поздней весной.  
Дно — словно рядом,  
Омут прозрачен насквозь.  
Лотос качнулся,  
Рыбёшки брызнули врозь.  
Близок закат  
В ожидании друга стою.  
Скоро прибудет —  
К иве привяжем ладью.

ПЛЫВУ НА ЛОДКЕ ПО ВОСТОЧНОМУ  
РУЧЬЮ В ТРОСТНИКОВЫХ ГОРАХ

На рассветной заре  
Направляюсь к Священной горе.  
Края странствию нет,  
Долог путь, хребты далеки.  
Только что отшумел  
Дождь над морем, над устьем реки.  
Распушилась трава,  
Зеленеют опять деревья.  
Благодатному дню  
Безмятежно вверяю себя —  
То на отдых встаю,  
То плыву, неспешно гребя.  
На селенье гляжу  
В белых тучах, в тумане густом,  
Там, где узок ручей,

Я толкаюсь веслом, как шестом,  
И в горах кипарис,  
Наряду с вековой сосной,  
Удивляют меня  
Лёгкой стройностью и прямизной.

## НА ЛОЯНСКОЙ ДОРОГЕ ПРЕПОДНОШУ ЛЮЮ ЧЕТВЁРТОМУ

1

Вешний Лошуй  
Уже свободен от льдов,  
И зелена  
Вода Лоянских прудов.  
Цвет облетел —  
С утра на дорогу гляжу:  
Рой лепестков  
Кружит средь конских следов.

2

Ветер весенний  
В пору второй луны.  
Рядом с дорогой  
Ивы — куда тесней!  
Из-за макушек  
Кровли домов не видны,  
Нижние ветки  
Касаются крупов коней.

## ИЗ ЦЗЯННАНЬСКИХ НАПЕВОВ

1

По теченью плыву,  
За кормой кувшинки влачу,  
В камышовой глуши  
Молодые срезаю ростки.  
Семьи уток щажу,  
Населяющих здесь тростники, —  
Осторожно гребу,  
Расписным веслом не плещу.

2

На Янцзы, ввечеру,  
Повстречавшись на стрежне реки,  
К переправе вдвоём  
Возвращаются снова друзья.

И вперёд, и назад,  
По волнам, как нарочно скользя,  
За челнами летят  
Облетевших цветов лепестки.

3

Всё глядишь на деревья  
На берег иной,  
Ловишь слухом распевы  
Под ясной луной.  
Ты не житель Чангани,  
Не там твой дом,  
Для чего же ты ходишь  
Этим путём?

Хуанфу Жань

НА ТЕМУ СТИХОВ ВАН ВЭЯ  
«ЛЕПЕСТКИ ГРУШЕВЫХ ЦВЕТОВ  
У ЛЕВЫХ ДВОРЦОВЫХ ВОРОТ»

Прелестно цветут  
И улыбкой радуют взгляд.  
Сдаётся: вот-вот  
С мотыльками вспорхнут наравне.  
Влетает порой  
Вешний ветер сквозь двери палат —  
Два-три лепестка  
Опустились на платье ко мне.

Цю Вэй

НА ТЕМУ СТИХОВ ВАН ВЭЯ  
«ЛЕПЕСТКИ ГРУШЕВЫХ ЦВЕТОВ  
У ЛЕВЫХ ДВОРЦОВЫХ ВОРОТ»

Холодная их красота —  
Точь-в-точь нетронутый снег.  
Чуть слышимый аромат  
В одежды мои проник.  
А вешний ветер ни на миг  
Не замедляет бег, —  
Пригнал к нефриту крыльца,  
Душистый сугроб воздвиг.

Цянь Ци

ИЗ СТИХОВ «ПЛЫВУ ПО РЕКЕ»

\* \* \*

Рядом совсем.  
Но ливень при ветре таков,  
    Что не взберусь  
Никак на склон Куанлу.  
    Чудится мне:  
В туман, среди облаков,  
    Живы ещё  
Монахи древних веков.

ПИШУ НА СТЕНЕ ГОРНОЙ БЕСЕДКИ  
ОТШЕЛЬНИКА ЦУЯ

Тропа к лекарственным травам  
От моха красным-красна.  
    На горы глядит оконце  
В венце изумрудной листвы.  
    У вас, почтенный, на зависть  
Вдоволь цветов и вина;  
    Как мотылёк из притчи,  
Во сне порхаете вы.

ИЗ СТИХОВ  
«НАПЕВЫ О РАЗНОМ  
У ПОТОКА В ГОРАХ ЛАНЬТЯНЬ»

Поднялся на башню  
На горы взглянуть с высоты.  
    Глаза утомились,  
Но взор неуёмный несёт.  
    Вечернее солнце  
К ровным тропинкам скользит,  
    А за цветами  
В оттенках заката хребты.

САД ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Сто целебных растений  
Взошли в весеннем саду.  
    Травы, цветы и листья  
Пахучи после дождей.  
    У долгожданного гостя  
Сходство с ветром найду,  
    Что пронёсся внезапно  
Сквозь заросли орхидей.

## БАМБУКОВЫЙ ОСТРОВ

На темно-зелёной ряби  
Птица одним-одна.  
Гляжу, не могу наглядеться,  
Радость моя чиста.  
А поросль бамбука  
До самой воды склонена;  
Под ней приютилась ночью  
Диких уток чета.

## ПОЛЕВОЙ ЖУРАВЛЬ

Вперился в синее небо  
Сирый журавль полевой;  
Безветрие, — и взлетает,  
Полёт продолжает свой,  
За облаком одиноким  
Спешит и, того и гляди,  
Догонит крылатого друга,  
Летящего впереди.

## В БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА СТИХИ ВАН ВЭЯ «ВЕСЕННЕЙ НОЧЬЮ В БАМБУКОВОЙ БЕСЕДКЕ», ПОДАРЕННЫЕ МНЕ НА ПРОЩАНИЕ

Гость пришёл,  
А за ним горный месяц вослед.  
Как богат  
Вдохновеньем хозяин-поэт!  
В эту ночь  
Кто в бамбуковой роще бы мог  
Посудить,  
Что цветочный источник далёк?  
Но грущу:  
Всхлипнет иволга вновь на заре,  
Краткий гость  
Сирой тучкой вернётся к горе.

## ПОДНЯЛСЯ В ДОЖДЬ НА ЮЖНУЮ БАШНЮ ОБИТЕЛИ ШЭНГО, ВЫСМАТРИВАЮ ЧИНОВНИКА ЯНЯ

Закатное солнце  
Мелкий завесил дождь.  
Хребты вполонину  
Синей повиты тьмой.  
Приют Ароматный

Взмыл над макушками роц  
За тучами где-то  
Друг запоздалый мой.  
Над сирым селеньем  
Застыл пустынный дымок.  
Вдали просветлели  
Воды излуки речной.  
Река и равнина —  
Вот что видеть я мог,  
Глядел. не приметив:  
Ночь надо рвом и стеной.  
Тем краше свиданье  
С другом, духовной роднёй:  
Фонарь его ясный  
Близится к встрече со мной.

В ГОРАХ ЛАНЬТЯНЬ, У РУЧЬЯ,  
ВСТРЕТИЛСЯ С РЫБАКОМ

Брожу одиноко,  
Про дом забываю свой.  
Укромное место  
Нашёл ненароком в пути.  
Волосы вымыл  
В студёной воде ручьевой.  
Луна просияла —  
Нет сил отсюда уйти.  
Но ближе мне старец  
С удочкой в дряхлых руках,  
Притихший, как цапля,  
Застывшая на песках.  
Два слова друг другу —  
И сердце в седых облаках.  
Монашеской кельей  
Нам служит бескрайний простор,  
В глуши камышовой  
Ночной догорает костёр.  
Светлей над затоном  
Вершины осенних гор.  
Вздыхаю о птицах,  
Деливших ветку вдвоём:  
Сойдутся ли снова  
В пути случайном своём.

ПО РЕКЕ ВАНЧУАНЬ ДОБРАЛСЯ ДО  
ЮЖНОЙ ГОРЫ; ХОЧУ ОСТАНОВИТЬСЯ  
У ВАНА ШЕСТНАДЦАТОГО

Равнины и горы —  
Соскучиться с ними нельзя.

Иду, выбирая  
Приятные взору места.  
Шаги приглушает  
В зелёных лианах стезя.  
Прерваны мысли —  
Заря на гребне хребта!  
Журавль приглашает  
К затону, на берег реки,  
Зовут обезьяны  
В свою лесную страну.  
Халат подбирая,  
Перехожу ручейки,  
И сердце свежеет,  
Лишь только в воду шагну.  
Но где пребывает  
Ван — учитель и друг?  
Клики петушки,  
Лай в тумане слышны.  
Коношлю убирают,  
Кипит работа вокруг.  
Надеюсь, помогут  
Найти при свете луны.

ПИШУ ЗЕМЛЯКАМ, ДРУЗЬЯМ  
И РОДНЫМ О МОЁМ НОВОМ ДОМЕ,  
ЧТО У ВХОДА В ДОЛИНУ

Просо возделал  
Рядом с туманным ручьём.  
Низина, болото,  
Сплошь сорняки на лугу.  
Знаю — достатки  
Скудны в хозяйстве моём.  
Тешусь единым:  
Здесь укрыться могу.  
Дубы и каштаны,  
Сельцо на грудах камней,  
Тропа вдоль трясины,  
Замшелый булыжник на ней.  
Со службы отставлен,  
Волен, как перст одинок,  
Вздумал вернуться  
В этот глухой уголок.  
Вырыл колодец,—  
Чистую воду люблю,  
Келью под сенью  
Старых деревьев воздвиг.  
Сирую птицу,  
Облачко взором ловлю,

Стоит увидеть —  
Не оторвусь ни на миг.  
Утки и цапли  
Благословляемы мной.  
Мне не хватает  
Только чайки ручной.

Лу Сян

#### В ЮНЧЭНЕ ВВЕРЯЮ ВЕТРУ

После долгого ветра  
Краски осени явны везде.  
Заходящее солнце  
В морозящем скрылось дожде.  
Клин гусей запоздалых  
Направляется к дебрям лесным;  
Лёгкий парус вечерний  
Пролетает вдогонку за ним.  
В разнотравье дремучем  
Растрещались цикады не в лад.  
От сырых испарений  
Овлажнел мой дорожный халат.  
С той поры как расстался  
Я с тропой к деревеньке родной,  
После долгой разлуки  
Путь возвратный опять предо мной.

Цзу Юн

#### ГЛЯЖУ НА ЧЖУННАНЬ В СНЕГУ

Как живописен  
Чжуннани северный скат!  
Снег свой предел  
К облакам нагорным вознёс.  
В снежной одежде  
Леса на солнце блестят,—  
В городе, к ночи  
Ещё жесточе мороз.

#### ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ СЕМЬИ СУ

Уютный. укромный  
Загородный приют.  
Чувство покоя  
Эти края создают.  
В окна и двери  
Взирает Южный хребет,



Прибрежные рощи  
Удвоил Фэншуйский плёс.  
Снега не однажды  
Стойкий бамбук перенёс.  
Двор вечереет,  
Но тени сумрачной нет.  
Пустынно и тихо  
В здешних безлюдных местах.  
Сижу беззаботно,  
Слушаю вешних птах.

Инь Яо

### ВЕСЕННИМ ВЕЧЕРОМ ГУЛЯЮ В ГОРАХ

Вечером вешним  
В горах покой, тишина.  
Здесь я гуляю.  
Душа впечатлений полна.  
Цветы полевые  
Роняют уже семена.  
Ласточки учат  
Потомство летать впервой.  
Замшелые тропы  
Пахнут тёмной травой.  
Светлые ивы  
Подводные камни метут.  
Не раз мне об этом  
Рассказывал местный люд.  
О доме не мыслю,  
Остаться хочется тут.

#### ПРИМЕЧАНИЯ\*

Мо-цзе — второе имя Ван Вэя.

Цзи Кан (III в.) — известный поэт. Имеется в виду Ван Вэй.

Улинский рыбак — герой поэмы Тао Юань-мина «Персиковый источник», где рассказывается о том, как некий рыбак, живший в местности Улин, случайно набрёл на поселение, обитатели которого, отрезанные высокими горами от остального мира, жили в тишине и довольстве, не зная смут и войн. Однако рыбак пробыл там недолго: соскучившись по дому, он поспешил вернуться в родные места, а когда позднее вновь захотел посетить поселение у Персикового источника,

\* Примечания И.С.Смирнова

то дороги туда уже не нашёл. Пэй Ди уподобляет здесь красоту Южных гор (Чжуннаньшань) красоте местности у Персикового источника, а жизнь их обитателей — отшельников — блаженной жизни обитателей селения, которое некогда посетил рыбак из Улина.

Балин — город в провинции Шэньси.

Куанлу (или Лушань) — название горы, на которой на протяжении веков селились многие известные отшельники.

Как мотылёк из притчи... — намёк на знаменитую притчу

Чжуан-цзы, который увидел себя однажды во сне порхающим мотыльком и, проснувшись, так и не мог решить: ему ли снилось, будто он мотылёк, или мотыльку снится, будто он Чжуан-цзы. Иными словами, поэт сравнивает отшельника с великим мудрецом древности.

Цветочный источник — то есть Персиковый источник (см. прим. 3).

Приют Ароматный — название беседки.

И в сердце в седых облаках — седые (белые) облака — распространённый в китайской поэзии символ ухода от мира, символ отшельнической жизни.

Ван Шестнадцатый (видимо, ошибка или описка Цянь Ци, обычно — Ван Тринадцатый) — Ван Вэй.

Юнчэн — местность в нынешней провинции Хэнань.

Чжуннань, или Южные горы — (название живописного горного хребта, северные отроги которого находились неподалеку от столицы Танского Китая — Чанъани).



# ВТОРАЯ ДОРОГА



\* \* \*

Когда, под красною чертою,  
Гласит невзрачное число,  
Как, в сущности, я мало стою  
И, если уж на то пошло,  
Как я немного стоять буду,  
В чертополох преобразясь  
Иль попросту в земную грязь,  
Распределённую повсюду,—  
Люблю трепещущую гать  
Стелить сквозь топкое забвеньё  
И отгоревшее мгновеньё  
Хоть на мгновеньё зажигать!  
Люблю и почитаю счастьем  
Ночами странствовать в былом,  
С кладоискательским пристрастьем  
Перебирая пыльный лом;  
Как самобытный археолог,  
Люблю случайно, по пути,  
Подняв бесформенный осколок,  
Свою же клинопись найти;  
И вопреки природе строгой,  
Назло стремительным годам,  
Люблю возвратною дорогой  
Шагать по собственным следам!

Но я клянусь последним вздохом,  
Что наяву или во сне  
Я обращаюсь к этим крохам,  
Оставленным на память мне,  
Не ради жизни или смерти,  
Не ради друга и жены,  
Не для тщеславия, поверьте,  
Они так часто мне нужны!

Нет, не свиданий пламень зыбкий,  
Не блеск покорных женских глаз,—  
Одни утраты и ошибки  
Я вспоминаю всякий раз.

И мне вовек не перепрыгнуть  
Малейший промах и пробел,  
Всё то, что я хотел воздвигнуть,  
Но не сумел и не успел.

Я вспоминаю камень каждый,  
Лежавший на пути моём,  
И пересохший водоём,  
И жар неутолённой жажды.  
Когда меня берет тоска,  
Я исчисляю в днях минувших  
Одних бекасов ускользнувших  
И щук, сорвавшихся с крючка,  
Морщины горя, слёзы боли,  
Изнеможения неволи  
И тысячи других вещей...

Тогда струится горячей,  
По-молодому, по-былому,  
Моя стареющая кровь,  
И отдаваясь чувству злomu,  
Я счастлив, я страдаю вновь —  
Тем вечным счастьем, тем страданьем,  
Перед которым все мертво,  
Страданьем, ставшим оправданьем  
Существованья моего.

27 сентября 1940

\* \* \*

Я видел Море Чёрное во сне,  
Как сирота под старость видит маму.  
Оно большой рекой приснилось мне,  
Похожей на Печору или Каму.

Вдоль берегов распаханной земли,  
Влеклась вода, краями небо тронув,  
И жёлтые и белые цвели  
Кувшинки на поверхности затонов.

Но это было море предо мной,  
Зажатое меж берегов покатых!  
Знакомый запах — йодный, смоляной, —  
Шёл от него; и паруса в заплатах, —

Лохмотья нищей юности моей, —  
Бросая вызов сумраку ночному,

Средь укрощённых временем зыбей,  
Ловили ветер так не по-речному!

И каждый вздох, и каждая волна  
Утраченное сердце воплощали;  
И все равно — пресна иль солона,  
Но эта влага, полная печали,

Воистину была водой морской,  
Вернувшейся к истокам отдаленным,  
Чтобы присниться мне большой рекой,  
Полузабытым, материнским лоном.

1935

## ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

1

Идёт купаться портовой рабочий,  
Расстёгивает куртку на ходу.  
Тем временем вода теплеет к ночи,  
И трубы спорят в городском саду.

Вода стара. Бесчисленные зори,  
Как сгустки крови, запеклись на ней,  
И мутный сбитень, полный инфузорий,  
Становится с годами солоней.

И нет ему ни края, ни предела.  
И зря маяк моргает вдалеке. —  
Всё стёрлось: берег, жилистое тело,  
Замасленная роба на песке.

Высоко в небо вымахнули сосны,  
Уходят музыканты на покой,  
И леденящий отсвет купоросный  
Играет на поверхности морской.

2

Я, как слепец, иду на ощупь к цели,  
Я чую звуки, осязаю цвет,  
Но вечно лжёт искусство...

Неужели  
Для внешней жизни воплощенья нет?

И всё, что мне являет ночь немая,  
О чём бормочут суша и вода,

Я буду чувствовать, не понимая,  
Любить всегда, но ведать — никогда?  
1936 (?)

### АВТОБУС МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

По равнине, по холмам зелёным,  
Где в объезд, а где и напрямик,  
Паруся брезентом запылённым,  
Катится трехтонный грузовик.

Не гнушаясь рытвинами, грязью,  
Дважды в сутки сделав рейс двойной,  
Служит он благонадёжной связью  
С нашей захолустной стороной.

Кое-кто из жителей бывалых,  
Крепкую деньгу притормозя,  
Ездит на попутных самосвалах,  
Где подчас и усидеть нельзя.

Выбелив зады суперфосфатом,  
Мается расчётливый народ,  
А водитель с видом виноватым  
С них калым положенный берет.

Бодрые, выносливые тётки,  
Странствуя пешком издалека,  
На пятёрку избыют подмётки,  
Лишь бы рубль не вынуть из платка.

А забравшись по колена в слякоть,  
Что и впрямь не провернёшь ногой,  
Начинают меж собой калякать,  
Говорят: автобус дорогой!

Он взаправду нам сегодня дорог  
За свою исправную езду.  
Безотказно, ровно в восемь сорок,  
Крытая машина на ходу.

Древним трактом, где когда-то брички  
С почтою тащились вдоль канав,  
Он спешит к столичной электричке,  
Расписанье точно подогнав.

Подбирает седоков с громоздким,  
Жёстким или мягким багажом,



«Голосующих» по перекрёсткам  
И в своём районе и в чужом.

Возит спиннингистов безымянных.  
Грезящих о щуках наяву,  
Молодых учительниц румяных,  
Молча вспоминающих Москву,

Сдержанных инструкторов райкома,  
Демобилизованных солдат,  
Полеводов, чьё лицо знакомо  
Всем, кто за газетами следят,

Тех же бодрых тётек неуклюжих,  
У которых счёта нет узлам,  
Рядовых колхозников досужих,  
Едущих по собственным делам,

Ревизоров облпотребсоюза,  
Дачников с детьми и без детей,  
Пассажиров с грузом и без груза,  
Всяких седоков, любых мастей.

Стоит ли тревожить их вопросом:  
Кто таков, откуда и куда?  
Мы дорожный люд по папиросам  
Сами распознаем без труда.

И когда из центра или главка  
Следует солидный человек,  
Нам его, нагляднее, чем справка,  
Выдает начальственный «Казбек».

Если тлеет «Спорт» или «Ракета»  
И дешёвый дым плывёт волной,  
Можно быть уверенным. что это  
Местный обитатель, коренной.

Дачники нередко курят трубку,  
Областные гости — «Беломор»,  
Деды-берендеи — полукрупку  
И берут соседей на измор.

Впрочем, пассажиры, большей частью  
Все знакомы, чуть ли не родня!  
Завалив машину разной снастью,  
Тиская друг друга и тесня,

Меж собой ведут, без огорченья,  
Разговор на тридцать верст длиной,

И автобус местного значенья  
Кажется беседкой подвижной.

Только самовара не хватает  
Да варенья нескольких сортов,  
Да сирень, грустя, не отцветает  
На ветвях запущенных кустов.

Лишь свистят подвёрнутые складки  
Ткани, что на случай сберегла  
Строгую расцветку плащ-палатки,  
Прочность орудийного чехла.

И мелькают в прорезях брезента  
Изгороди, рощи и сады,  
Влажная, лазоревая лента  
То и дело блещущей воды.

Печи, сплошь заросшие крапивой,  
От военных, памятных времён,  
Столбик со звездой неприхотливой,  
Где испанец-летчик погребён.

Бывший храм, где над ревущим горном  
Кузнецы колхозные мудрят,  
И канистры с топливом моторным,  
Средь крестов уставленные в ряд.

И везде протянутые ныне,  
Между ферм провисшие дугой,  
Провода высоковольтных линий  
С дремлющей, угрюмой пустельгой.

И опять берёзовые чащи,  
Пастбища да пашни с двух сторон,  
Среднерусский, мирный, работающий,  
Наш сельскохозяйственный район.

Нет, вовеки не был путь наш гладок,  
И видать, ему не вышел срок!  
Чуть подросший пух лесопосадок  
Не всегда светился у дорог.

Не всегда на строящейся школе  
Так свежо краснели кирпичи,  
Не всегда за дальней ригой, в поле,  
Тракторы гудели, как хрущи.

Не всегда мы ездили на дачи,  
Окуней ловили не всегда,

И высоковольтной передачи  
Не было недавно и следа.

Этот край был отвоёван силой  
У неумолимого врага.  
Не одною братскою могилой  
Выкуплены рощи и луга.

Тою же дорогою изрытой,  
Мимо горки, где теперь совхоз,  
Грузовик, таким же тентом крытый,  
Седоков бесплатных так же вез.

Не один из них, вздохнув украдкой,  
Шёл навстречу фронтовой судьбе...  
В непогодь осколки под лопаткой  
Всё ж напоминают о себе.

И червей копая для рыбалки,  
Мальчики на берегу реки  
До сих пор находят в старой свалке  
Ржавые нацистские значки.

Рвись, как флаг, брезентовая дверца!  
Нам покоя не было и нет,  
И стучит в кармане, против сердца,  
Старенький, военный мой билет.

Мы своих друзей, без исключенья,  
С вековым, нелёгким их добром,  
В наш автобус местного значенья  
По пути исправно подберём.

Отведём места семейным людям,  
Шустрым ребятишкам-шалунам,  
Никого ошибкой не забудем,  
Всех возьмём, кто руку поднял к нам:

Пожилого смуглого поэта  
С искрами в небритой бороде.  
Чудака, который, что ни лето,  
Удочками хлещет по воде,

Хитроглазых дедов с кладью жёсткой,  
Отслуживших три войны подряд,  
Хмурых тётек, выкормивших соской  
Поколенья нынешних солдат.

Пусть же никогда в прибрежной гальке  
Мальчики найти не смогут впредь

Стертые заморские медальки,  
Где уже гербов не рассмотреть!

Пусть он мчится дальше, наш автобус,  
По дороге скатами пыли,  
А под ним, кругла, как школьный глобус,  
Оборачивается земля!

1954

## РОДНИК

Молчит разгон степей ковыльных;  
Лишь ходака усталый шаг  
Вздывает рой кобылок пыльных,  
Перелетающих большак.

И травы сумеркам не рады,  
Метёлки сохлые клоня,  
И дышит ночь взамен прохлады  
Ожесточённым зноем дня.

Но, как дитя в утробе тесной,  
Толкаясь в каждый уголок,  
Туда, где путь её безвестный  
По древним трещинам пролёт,

Сбегая в тайные долины,  
Вода подспудная течёт  
По руслу из девонской глины  
Вдоль кристаллических пород.

Подобно кровеносной сети,  
Ветвя по тьме тропу свою,  
Она влечёт сквозь щели эти  
Неистощимую струю.

К сухим кустам, к дубраве чёрной,  
К корням изжаждавшихся трав  
Подходит лимфой животворной,  
Всю соль земли в себя вобрав.

И если нам порою страдной  
Невмочь сносить полдневный гнёт,  
Её целебный вздох отрадный  
Нет-нет из глубины пахнёт.

1950-е

## КАНУН ПОЛОВОДЬЯ

Как праздник, встречая весну  
И радуясь паводку снова,  
Люблю я приметку одну  
Прихода его потайного,  
Когда заснежённые льды  
На вид по-крещенски тверды,  
Зима ещё в силе и здравье  
И кажется вечным бесправье  
Уже потеплевшей воды;  
И тут же, в семейном кругу,  
У прорубей спорят вороны,  
С рассвета на грязном снегу  
Оттиснув свои вавилоны.  
Но время от времени, вдруг,  
Расторгнув зарок полюбивный,  
Над поймой разносится звук,  
Похожий на скрежет зубовный.  
Порой на широких просторах  
Слышны и сопенье, и шорох.  
Как будто невидимый зверь  
Когтями царапает дверь.  
А это вода подо льдом  
Вспухает, как плазма живая,  
К весеннему солнцу с трудом  
Дорогу себе пробивая,  
И тычется скользкой спиной,  
Закраин ища и продушин,  
Везде, где бетон ледяной  
Хотя бы немного нарушен.  
Она выпирает из лунок,  
Смывая печатный рисунок  
Библейских вороньих письмён,  
Которыми снег заклеймён,  
И рвётся из каждой дыры,  
Как будто из клетки тюремной,  
Сойдясь, наконец, в топоры  
С проклятой судьбой подъяремной!

1950-е

## КИПРЕЙ (Иван-чай)

От края тундры до степных угодий,  
Распространяясь на запад и восток,  
Иваном-чаем прозванный в народе,  
Прижился этот розовый цветок.

Как бунчуки казачьи, каждым летом  
Соцветья он подьёмлет, и в наезд! —  
По гарям, лесосекам и кюветам,—  
Иван Кипрей, хозяин здешних мест.

Откуда он? В котором веке старом,  
Судьбу провидя на далекий срок,  
Другой Иван, заведомо недаром,  
Его своим же именем нарёк?

Но с той поры, как стал цветок Иваном,  
Он множился и крепнул столько лет,  
Что расплескался морем разливаннм,  
По всей Руси, за человеком вслед.

Шагай, Иван, до рубежа земного,  
Иди на приступ дружною гурьбой!  
Порою оттеснят тебя, но снова  
Из праха ты воскреснешь сам собой.

Поднимешься, несеянный, незванный,  
С бесчисленной роднёю заодно,  
И снова в бой, за отчие поляны,  
За царство, что Иванам суждено!

1953

## СПУТНИК

Костёр горит устало и неровно;  
Порою пламя прячется под брёвна  
И, затаившись, дышит тяжело;  
Порою снова вспыхивает, словно  
Выпрастывая смятое крыло,  
Прозрачное, обтянутое тонкой,  
Светящейся, дрожащей перепонкой.  
Тогда на миг встают из темноты  
Как бы забрызганные ржавой жижей  
Взъерошенные рыжие кусты,  
Огромные стволы с корою рыжей,  
И пред костром, на мшистом валуне,  
Двурукое сутулое созданье,  
Глядящее в упорном ожиданье  
На золотые угли, как во сне...

Потом крыло опять скользит без сил  
Назад, к земле, и меркнут угли снова,  
Как будто мрак злорадно загасил  
Новорожденный жар костра земного,

И вновь деревья и трава темны,  
Лишь искры на реке едва видны,  
Да небо, как всегда, тысячезвёздно.  
Оттуда, с недоступной вышины,  
Светила смотрят холодно и грозно  
На беглый блеск невидимой волны,  
Посмевшей отразить искрой мгновенной  
Сиянье славы неприкосновенной;  
На смутный лес, шумящий где-то там.  
Во тьме, внизу; на плоский берег тихий,  
Где ветер слепо шарит по кустам,  
Сшибая горсти жёлтой облепихи...

Но вот протягивается рука,  
Поросшая до кисти шерстью редкой,  
И вслед за пихтовой смолистой веткой  
Летят в костер обломки сушняка,  
И пламя, выбиваясь языками,  
Внезапно разгорается взахлёб,  
Вылепливая резкими мазками  
Скуластое лицо и низкий лоб,  
Наморщенный, покатый, космобровый,  
И в затенённых впадинах глазниц  
Сквозящий напрямик из-под ресниц  
Насторожённый огонек багровый,  
Широкий нос, и тонкогубый рот,  
И челюсть, выдвинутую вперёд.

Какая мысль определила эти  
Морщины человеческого лба?  
Куда зовёт, куда ведет судьба  
Владельца всего, что есть на свете?  
Так неумело грубы эти руки,  
Так тесен круг, очерченный огнём!  
Шумит окрестный лес; повсюду в нём  
Враждебные, пугающие звуки...

Но человек уже не одинок;  
Врастяжку на сухой дернине твёрдой,  
С торчащими ушами, остромордый,  
Лежит недвижно у хозяйских ног  
Хвостатый зверь, по виду схожий с волком,  
И на костер косится тихомолком.  
И в глубине полузакрытых глаз  
Сквозит и пропадает каждый раз  
Насторожённый огонек багряный,  
Почти людской, почти такой же странный.

Костёр заглох. Опять вокруг темно;  
Чуть полыхают угли, догорая.



И небо приближается; оно  
Полно созвездий без конца и края;  
В пустынной мгле далёкие миры  
Мерцают, как привальные костры.

1957

## ДУБЫ

Ты помнишь, прошлою весной  
Средь свежей зелени лесной,  
Как почерневшие столбы  
Какой-то древней городьбы,  
Торчали голые дубы.  
Их всех до одного подряд  
Объел непарный шелкопряд.  
Лишь за рекою, говорят,  
Свой вешний лиственный наряд  
От вездесущего врага  
Дубняк сумел спасти, а здесь  
На сорок верст обглодан весь  
Несметным червем донага.  
В лесах на левом берегу,  
Как прокажённые, в кругу  
Деревьев, плещущих живой  
Неповрежденною листвою,  
Дубы застыли по местам,  
Где их беда настигла, там  
Где век за веком, искони  
В родном краю из недр земли,  
Неуязвимые, они,  
Вцепясь корнями в грунт, росли.

Теперь же лысые дубы  
И тонкоствольные дубки  
На левом берегу реки,  
И молодёжь и старики,  
Как будто сдались без борьбы  
На произвол слепой судьбы,  
Согнув мосластые горбы,  
И в знак бессилья и мольбы



Покорно подняли суки,  
Похожие на костяки.

Но был обманчив этот жест!

Хоть пристально глядели мы  
На привидения зимы,  
Везде черневшие окрест,  
Но их немного языка  
Мы не могли понять пока.

Дубняк пощады не просил.  
Он действовал наверняка.  
И набирался новых сил.  
Он всей системою корней  
Буравил жирный перегной,  
Тянулся вглубь земли родной,  
Ища спасенья только в ней.

Так миновало много дней.

Сменил весну июньский зной,  
А лес, как прежде, свысока  
Смотрел на прутья сонных крон  
Ограбленного дубняка.

Но был обманчив этот сон!

Дубы не спали ни денька.  
Огромный ствол и гибкий хлыст  
Натужно гнали новый лист.  
И вот раскрылся лист второй,  
Пускай убог и неказист,  
Но всё же лист, на свой покрой!

И поздней осенью, когда  
С небес дохнули холода,  
И, выкунев, как лисий мех,  
Морковно-рыжей желтизной,  
Косматый лес над крутизной  
В последний раз потрянул казной,  
Одаривая щедро всех,  
Покуда сиверко сквозной  
Не прошнырял два дня в лесу  
И обкарнал его красу,  
Раздев деревья догола.  
Тогда-то, наконец, пришла  
Пора дубов!

Сплотясь в беде,

Они торжественно везде  
Стояли, развернув листву,  
Подобно чуду наяву.

Они стояли на буграх  
Средь увядающей травы,  
Разряженные в пух и прах,  
В доспехах с ног до головы,  
Подняв победно в облака  
Знамёна своего полка.

И ты сказал мне: «Станем, брат,  
С воскресшими дубами в ряд!»

1957 (?)

### ХОЗЯИН

Проступила на пожнях смолистая грязь,  
Ржаво-радужной плёнкой подернулись мхи.  
Сквозь рядно поредевшей листвы серебрясь,  
Влажно блещет кора остролистой ольхи.

Задождило надолго; повсюду вода;  
Небо, словно бельмо — тяжело и мертво.  
Человеку — безрадостно, зверю — беда,  
Лес как вымер, нигде не видать никого.

Присмирели насельники здешней реки,  
И озёрный народ головами поник:  
Взматеревшие за лето кряквы, чирки,  
Все по крепям забились, в дремучий тростник.

Только ты, мой приятель, скучаешь в дому;  
Опостыло тепло, не сидится в избе...  
По лесам и болотам бродить одному  
В эту бледную непогодь любо тебе.

Любо скрадывать рябчиков в чаще сырой,  
Крепкогубых линея на бучиле стеречь,  
Посреди краснолесья слышать порой  
Глухариную, косноязычную речь.

Любо встречную ветку рукой отвести,  
Наклонившись, юркнуть сквозь перловый каскад,  
Дать условленный выстрел, под вечер, к шести.  
Разбудив невзначай многократный раскат.

Ты не зря непокоем людским наделён,  
Не напрасно ты чуешь охотничий зуд:

Служит кровлей тебе дождевой небосклон,  
И ясак драгоценный трущобы несут.

Кто сумеет отнять, кто посмеет украсть  
Этот мир, что вмещён в человеческий взгляд,  
Эту страстную кровь, эту кровную страсть,  
Зарожденную тысячелетья назад?

Горбоносый, сутулый, с двустволкой в руке,  
Перед ливнем и ветром не пряча лица,  
Без пути и дорог, наобум, налегке,  
Ты шагаешь под ловчим созвездьем Стрельца.

Ты владыка растений, хозяин камней,  
Повелитель и пестун лесного зверья;  
Всё, что есть на земле, что схоронено в ней, —  
Заповедная вотчина, доля твоя.

1938



## ЛИСТОПАД

За порослью всклокоченной бредины  
Вдоль берегов деревья с двух сторон  
Стеной стоят, образовав единый  
Лесной массив, где нет отдельных крон.

Но исподволь, сперва почти невнятно,  
Рыжеют между зеленью густой  
Подпалины, похожие на пятна,  
Протравленные крепкой кислотой.

Всё резче, всё грубей румянец поздний  
Сквозит в листве любого дерева  
Свидетельством непримиримой розни,  
Предвестьем неминуемого конца.

Придёт пора — и мы такими будем,  
И эта горестная пестрота  
Немолодым и одиноким людям  
Становится созвучной неспроста.

И наш последний праздник так же краток.  
И так же налагает смертный час  
На каждого особый отпечаток  
И друг от друга отчуждает нас.

А ветер треплет стынущие прутья  
И гонит по чешуйчатой воде  
Отживших листьев яркие лоскутья,  
Лишь на дубах заречных кое-где

Ещё бренчат обрезки ржавой жести.  
Деревья проморожены насквозь,  
Точь-в-точь как мы: живём бок о бок вместе,  
А умираем врозь.

конец 1950-х

## УЧИТЕЛЬНИЦА

Трясаясь на машинах попутных  
От ранней зари допоздна,  
Лишь к вечеру, в сумерках смутных,  
Добралась до места она.

Пришлось ей под ливнем неожиданным  
Конечный отрезок пути  
С постельным узлом, с чемоданом  
В обход к перевозу брести.

За грядами с хряпой капустной  
Внезапно блеснул перед ней  
С холма городок захолустный  
Цепочкою редких огней.

И словно с порывами ветра  
Оттуда сквозь тьму напролом  
Дохнуло за полкилометра  
Едою, ночлегом, теплом...

Сложив у пахучего стога  
Поклажу на дёрн луговой,  
Она отдохнула немного,  
Потом повела головой.

Но сколько она ни глядела,  
Повсюду безвидная мгла,  
Бог весть, до какого предела  
На землю и небо легла.

И полные плеска и шума  
Леса громоздились впотьмах,  
Уступ за уступом, угрюмо,  
Во весь богатырский размах.

Никто и не встретил Калмычку  
У крайней черты городской  
(Когда-то ей дал эту кличку  
Родимый детдом костромской).

Вчера собеседник случайный,  
Спешивший на пленум в обком,  
Подсел к ней за ужином в чайной  
И кстати снабдил адреском.

И с этой заветной бумажкой,  
Топча неизбежную грязь,  
По стёжкам, поросшим ромашкой,  
Она вдоль заборов плелась.

Горящие спички устало  
Горстями прикрыв от дождя,  
Названия улиц читала,  
Почти коробок изведя.

Ложатся в провинции рано.  
Безлюдны сады и дворы.  
И даже собачья охрана  
Давно уползла в конуры.

На площади глухо и пусто,  
Лишь в брызгах фонарь на столбе  
Вознёсся у мокрого бюста  
И светит ему и себе.

Раструб над конторою связи  
Повис, прикрепленный к шесту.  
Певица из Перу в экстазе  
Зловеще вопит в темноту.

И странная песня чужая  
Да бубна индейского звук,  
Как будто бедой угрожая,  
Одни раздаются вокруг...

Погасла последняя спичка;  
А впрочем, не всё ли равно,  
Куда постучится Калмычка?  
Хотя бы вот в это окно.

Она в ожидании ответа  
Глядит, как бесшумно скользят  
За шторою зайчики света,  
Шныряя вперед и назад,

Как движутся листья растений  
В причудливом танце своём  
И меркнут их длинные тени,  
Заполнив оконный проём.

Осенняя ночь на исходе.  
Туман захлестнул городок.  
Белесый, к хорошей погоде,  
Чуть-чуть шевельнулся восток.

А гостя за ситцем линялым,  
На сбитой в комок простыне  
В обнимку с цветным одеялом  
Невнятно лепечет во сне.

Осталось ей самую малость  
В хозяйской постели доспать,  
Избыть молодую усталость,  
Для жизни проснуться опять.

Проснуться в доме незнакомом,  
Где тихо еще и темно,  
А позже с путёвкой, с дипломом  
К начальству пойти в районо.

Уже под завесою мглистой  
Шуршит расколдованный сад,  
На бурой малине безлистой  
Огромные капли висят.

Густые клоки спозаранку  
Клубятся из каждой трубы,  
И ветер качает зорянку  
На сохлой макушке вербы.

Вдоль грязью зашлёпанных ёлок,  
Свернув от совхоза к реке,  
Дымится размытый просёлок,  
Кончаясь мостом вдалеке.

Реки не видать за туманом,  
Лишь возле парама с утра  
Чадит на мысу безымянном  
Валежник сырого костра.

А рядом — бетонные блоки,  
Железная тара, мешки,  
На сваях помост неширокий,  
Уткнувшийся трапом в пески.

Обросший щетиною свежей,  
Сидит на кулях с ячменём  
Цыган, очевидно, приезжий,  
В тужурке с военным ремнем...

Так медленно темень слепая  
Отходит по фронту везде,  
Межу за межой уступая  
На небе, земле и воде.

И всё, поглощённое ночью,  
Казалось, на веки веков,  
Сейчас воскресает воочью  
В огне заревых облаков.

1954

### ЧЕЛОВЕК

Мне помнится: дней пять назад, как будто,  
У станции метро на Моховой  
Я встретил пожилого лилипута  
В спецовке, с непокрытой головой.

С развальцем, он шагал неторопливо,  
Помахивая гаечным ключом:  
Мол, пошабашил, выпил кружку пива,  
Теперь домой, и горе нипочем!

Он шёл среди обычных великанов  
И ухмылялся встречным на пути,  
Старавшимся, как бы случайно глянув,  
Глаза поделикатней отвести.

А гном играл ехидно, словно в жмурки,  
С десятками уклончивых зрачков  
И, не стесняясь крохотной фигурки,  
Как будто хвастал: вот он, я, каков!

Коротконогий, щуплый, безбородый,  
Не равный нам по росту и судьбе,  
Ограбленный безжалостной природой,  
Он главное сумел вернуть себе.

И стал он в нашем царстве гулливерском  
Таким, как мы, с начала до конца;  
На старческом лице, по детски дерзком,  
Сквозила мысль того же образца.

Пределы недоразвитого тельца,  
Ущербная, униженная плоть,  
Едва вмещали своего владельца,  
Способного и смерть перебороть.

И знал хитрющий этот человечек,  
Глумясь над бегством сердобольных глаз,  
Что он, малыш, — воистину ответчик  
За род людской, за каждого из нас,

Что он других не мельче и не хуже,  
Что вправе он, родившись на земле,  
С ключом в ручонке, разводным к тому же,  
Брести домой слегка навеселе.

1959



## КОРОЕДЫ

В непролазной, буреломной чаще  
Обитает испокон веков  
Грамотный народец работающий,  
Гильдия типографов-жуков.

Не успела плод запретный Ева  
Надкусить, как тотчас же в раю  
Жук-типограф на волокнах Древа  
Выгрыз надпись первую свою.

По примеру пращура, доньне  
Подвиг жизни каждого жука —  
Выедать изгибы сложных линий  
Литер нелюдского языка.

И строчить на заболони бренной  
С помощью природного резца  
Подлинную хронику Вселенной —  
От ее верховья до конца.

Шестиногий Нестор неизвестный,  
Скромный жесткокрылый Геродот,  
Продвигаясь под корой древесной,  
Летопись подробную ведет.

Так из года в год порой весенней  
Сокровенный кодекс мировой  
С каждой новой сменой поколений  
Новой пополняется главой.



Цепь событий, в связи их причинной,  
Вплоть до наименьшего звена,  
На скрижалях Библии жучиной  
Всеохватно запечатлена.

В этих рунах ключ к последним тайнам,  
Истолковано добро и зло;  
То, что людям кажется случайным,  
В них закономерность обрело.

Сущность бытия, непостоянство  
Мирозданья, круг явлений весь,  
Вещество и время и пространство  
Формулами выражено здесь.

Наше суесловье, всякий промах  
Утлой мысли, тщетность наших дел  
В хартии дотошных насекомых  
Внесены в особенный раздел.

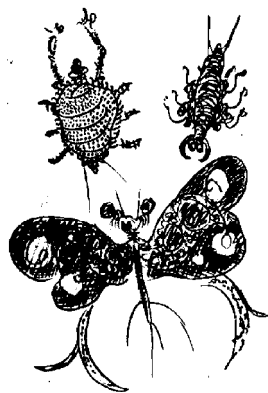
Нами нерешённые задачи,  
Вера, не воскреснувшая впредь,  
Истины, которые незрячий  
Разум наш пытается прозреть,

Перечень грядущих судеб наших,  
Приговоры Страшного Суда,  
Судьбы звёзд — горящих и погасших —  
Внесены заранее сюда.

В книге, созидаемой во мраке.  
Скрыта не одна благая весть,  
Но ее загадочные знаки,  
К сожаленью, некому прочесть.

Нет у нас охоты и сноровки, —  
За семью печатями она,  
И не поддаются расшифровке  
Эти нелюдские письмена.

10 сентября 1969  
Грозино



## НАПУТСТВИЕ

Пускай на службу человечью  
Идёт мой затрапезный стих  
И вровень с обиходной речью  
Простейшим будет из простых.

Пусть он гнушается притворством  
Картонной булки показной.  
И станет откровенно чёрствым,  
Насущным, как ломоть ржаной.

Пусть будет он подобен хлебу,  
Чьё назначение и честь —  
На повседневную потребу  
Тому служить, кто хочет есть.

1960 (?)

## ПАВОДОК

(Заметки в стихах)

1

Уже просёлки развезло  
От въедливой тешлыни,  
И самосвалы тяжело  
Барахтаются в глине.

На всех горбах уже видны,  
Сквозь рыхлый снег исподний,  
Вихры немытой седины,  
Отавы прошлогодней.

Уже над пашнями плывёт  
Целебный дух назёма,  
С припёка в ясный небосвод  
Взмывая невесома.

Безлистый лес уже намок,  
Вобрав избыток влаги;  
Чапыжник, лёгкий как дымок,  
Чуть заволок овраги,

И фосфорически белы  
В синеющем подросте,  
Берёз ветвистые стволы  
Торчат, как рыбы кости.

2

Автобус тащится к реке,  
Багровый от задышки;  
Конечный пункт невдалеке —  
В заштатном городишке.

Хоть близок он — подать рукой! —  
Да не укусишь локтя.  
Дорожный грунт сейчас такой,  
Что липнет хуже дёгтя.

На четверть метра путь раскис,  
В дерьме буксуют скаты,  
И без цепей — ни съехать вниз,  
Ни взять подъём проклятый!

Трясёт плешивой головой  
Водитель меднолицый:  
Колёса в тюре снеговой  
Увязли по ступицы.

И всё же надо в гору лезть  
И вновь сползать на спуске.  
Машина выдохлась как ешь  
От лютой перегрузки.

С обрыва, на речной простор,  
Надсадно, исступлённо  
Мычит замученный мотор,  
Как лось во время гона.

3

А там, куда в единый мах  
Могли б слетать вороны,  
Разлётся на семи холмах  
Наш скромный Рим районный.

Из каждой дымовой трубы,  
Белея козым пухом,  
Валят бокатые клубы  
На радость всем стряпухам.

Среди дворов пестрят везде  
Фуфайки, телогрейки,  
Где на шнуре, где на гвозде,  
А где торчком, на рейке.

Наброшенные на дрова  
Облезлые тулупы  
Лежат, распялив рукава  
И оттопырив крупы.

Щепные кровли, как стога,  
Крутятся спозаранок,  
И тает грязная шуга  
В зазорах, между дранок.

И как дыханье изо рта,  
По-над забором старым  
Пригретой прели мокрота  
Восходит бледным паром.

И так же дышат поутру  
Оттаявшие доски,  
И подсыхают на ветру  
Шлепки сырой извёстки.

4

Река очнулась до зари,  
Порою петушиной.  
Гремучим студнем изнутри  
Рвануло лёд аршинный,

И приминая тростники  
У заснеженной кромки,  
Наперебой, вперегонки  
Пустились вплавь обломки.

В течение суток нарастал  
Напор водищи мутной,  
Покрыл прибрежный чернотал  
Прибавкой поминутной,

К холмам далёким подступил,  
К лесной гряде поближе,  
И переправу затопил  
Потоком бурой жижи.

5

Рассвет студёный и сырой  
Забрезжил над разливом  
И предсказал, что день второй  
Окажется дождливым.

Но был неправильным сигнал,  
Вещавший непогоду,  
И вскоре тучи разогнал  
Восточный ветер сходу.

В другой район ушла она,  
Стена дождя косая  
И моросила допоздна,  
На западе свисая.

А здесь от радужных огней  
В глазах роятся мухи  
И воздух слаще и хмельней  
Столетней медовухи.

До крайней боровой гряды  
В лугах стоят высоко  
Моря, озёра и пруды  
Берёзового сока.

И мы, столпившись у реки,  
Усталые мужчины,  
Точь-в-точь — Иваны-Дураки,  
Хохочем без причины.

## 6

Порою людям по нутру  
Распад причин и следствий  
Законы превращать в игру  
Мы рады, словно в детстве.

Наверно, истинная суть  
Ребяческого смеха  
Лишь в том, что преградила путь  
Стихийная помеха.

И благодарные судьбе,  
Закрывшей нам дорогу,  
Мы предоставлены себе  
Самим — и слава Богу!

Мы перебраться напрямик  
Не в силах через воду,  
Но несвобода, хоть на миг,  
Вернула нам свободу.

Нам волю принесла вода,  
Чтоб унести сейчас же;

Её среди обломков льда  
И не заметишь даже,

Её, быть может, вовсе нет,  
Но хоть на миг единый,  
Хоть запах воли, вкус и цвет  
Стремглав проносят льдины.

7

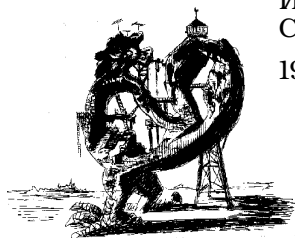
Людская радость недолга —  
Денёк, другой да третий,  
Войдут покорно в берега  
Шальные волны эти.

Утихомирится река,  
И раньше или позже  
Мы, бунтари, наверняка  
Угмонимся тоже.

Попутный, разношёрстный люд,  
Мы, наигравшись в прятки,  
Разъедемся, куда пошлют,  
Согласно разнарядке.

Тайком, последний раз шепнём:  
Спасибо водополью! —  
И будем вспоминать о нём  
С такой блаженной болью...

1966



## ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

1

В неделю раз, по дедовским заветам,  
Разоблачась безгрешно догола,  
В гостеприимном заведеньи этом  
Мы тешим наши бранные тела.

А заодно душа в стихии водной  
Смывает заскорузлую кору,  
Становится и чистой и свободной,  
Наклонной к свету, правде и добру.

В предбаннике сидим в соседстве с теми,  
Кто нам доселе чужд и незнаком,  
Но сотворён по той же сложной схеме  
И выпоен таким же молоком.

Наш реквизит, напыщенный и жалкий,  
Бумажники, часы и паспорта,  
Оставив на хранение в раздевалке,  
Мы словно входим в райские врата.

Оставив разобшение за дверью,  
Становимся опять семьёй родной;  
Стяжательству, коварству, недоверью  
Нет вовсе места в мыльной и парной.

Ни чепухе общественных различий,  
Ни классовой, ни расовой борьбе  
Здесь места нет. Бездействует обычай.  
Молчит закон. Мы — сами по себе.

Мы здесь опять невинны. Мы сегодня  
Обнажены, как в День Шестой, когда  
Адама изваяла длань Господня,  
Иль в день последний Страшного Суда.

2

А надо бы собрать без колебаний  
Весь род людской — нелепый, мелочной.—  
В большой парной, в огромной общей бане  
С пустыню Каракум величиной.

Лишить убранства, паспортов и денег,  
И, перед входом выстроив гуськом,  
Вручить мочало каждому и веник  
И вволю обеспечить кипятком.

Пуская жарой высокого нагрева  
Разморенные, в проливном поту,  
Как праотец Адам, праматерь Ева,  
Они свою сознают наготу —

И родственно, в одной воде впервые  
Омоются от головы до пят,  
А напоследок тучи дождевые  
Их молодильным душем окропят.

1965–1970

\* \* \*

Не пора ли, братцы, в самом деле,<sup>\*</sup>  
Начиная лет с пяти-шести,  
Снова наказания на теле  
Для удобства граждан завести?

Примем это мудрое решение,  
Возродим здоровый русский кнут;  
С ним легко любое прегрешенье  
Искупить на месте, в пять минут.

Сталин был отнюдь не демократом  
И посмертно осуждён не зря,  
Обходился круто с нашим братом,  
В тюрьмы заключал и лагеря.

Для чего бесхитростную тётку,  
Что фарцует кофты и бельё,  
Умыкать от мужа за решётку  
И баланду тратить на неё?

Чем швырять на ветер сотни тысяч,  
Государству есть расчёт прямой:  
Лучше спекулянтку тут же высечь,  
Справку дать и отпустить домой.

Лично я всегда стою за плети,  
И теперь особенно стою,  
Прочитав недавно в Литгазете  
Некую идейную статью.

Выступлю публично в странной роли,  
Свойственной призванью моему, —  
Я хочу, чтобы меня пороли,  
Не сажая в лагерь и тюрьму.

Если я самоконтроль ослаблю,  
Предпочту американский джаз,  
Продуктовый магазин ограблю,  
Невзначай женюсь в четвёртый раз,

---

<sup>\*</sup> Это и следующее стихотворения — уцелевшие экспромты-«отклики» Аркадия Штейнберга на «литературную жизнь». Первое написано «по следам» печальной памяти разгрома Н. С. Хрущёвым выставки МОСХа в Манеже, его «встреч с творческой интеллигенцией» и последовавших за ними покаянно-обличительных статей, автором одной из которых был Ярослав Смеляков. Второе — пародия на опубликованное в «Юности» стихотворение Евгения Винокурова, завершившееся строкою, вынесенной Штейнбергом в эпиграф.— Составитель.



Буду шарить по чужим карманам  
Или стану — Боже упаси! —  
Абстракционистом окаянным  
По прямым приказам БИ-БИ-СИ,

Обращусь к властям я с просьбой скромной,  
Чтоб меня отечески посек  
Не специалист вольнонаёмный,  
А простой советский человек.

Пусть меня дерут не генералы,  
Не славянофилы из жидков,  
А природный православный малый,  
Ярослав Васильич Смеляков.

Вы вовек другого не найдёте  
Ни в стихосложении, ни гульбе,  
Коренной русак по крайней плоти, —  
Гласно заявил он о себе.

Он не сноб, не декадент лощёный,  
Так сказать, духовная родня,  
Между прочим — бывший заключённый.  
Я хочу, чтоб он порол меня.

Нам, во имя равенства и братства,  
Для внедренья правды и добра,  
Человечное рукоприкладство  
Широко распространить пора.

1963-1964

\* \* \*

Мы Гитлера прогнали, негодяя...  
Е. Винокуров

История, как борозда прямая,  
Из прошлого в грядущие века  
Пропахана при помощи штыка.  
Мы Биргера отдули, дурака,  
Спустили шкуру с подлеца Мамаю,  
Баторий-сволочь нами сбит с копыт,  
Засим, при возгласах полтавских здравец,  
Раздолбан Карл Двенадцатый, мерзавец,  
Вслед мужеложец Фридрих был разбит  
И высечен Абдул-Гамид-скотина;  
Аббас-Мирза, дерьмо собачье, взгрет;  
Наполеона, сукиного сына,

Мы отлупили — это не секрет;  
Расстался навсегда с дешёвой славой  
Пилсудский-падло в битве под Варшавой,  
И были нами на свои места  
Посажены, без лишних разговоров,  
Свинья-Пуанкаре и Черчилль-боров,  
Паршивец-Керзон, Чемберлен-глиста.

Что вспоминать о Гитлере, нахале,—  
Мы всех повоевали, мы пахали!

Начало 1970-х



(ДВА НЕЗАВЕРШЁННЫХ  
СТИХОТВОРЕНИИ 1980-х гг.)

\* \* \*

Мы лишь бродяги на земле,  
Мы только странники,  
Свистя хожу навеселе,  
Немного пьяненький,  
Немного пьяненький,  
Слегка обиженный,  
Слегка обиженный,  
Не бритый-стриженный.

Я сигаретой плащ прожѐг,  
Скидаю с плеч его.  
Так вышить хочется, дружок.  
Но вышить нечего!  
И выпить нечего,  
И нету курева,  
И нету курева  
У Мишки Гурьева!  
И мучит дурь его.

Мы одиночки-москвичи,  
Отцы-пустынники,  
Нас полечили бы врачи,  
Да нету клиники,  
Одни рецептики  
Да антисептики,  
Бумаги-справочки  
Да печки-лавочки.

Ночами пусто на Руси —  
Глухая просека.  
Ни пешехода, ни такси,  
Ни даже пёсика,  
Ни духа псиного  
И ни бензинного,  
Ни человеческого,—  
И выпить нечего.

Прожжённый плащ скидаю с плеч,  
Устали косточки,  
Хочу немедленно прилечь  
На перекрёсточке...

\* \* \*

Когда б я стал другим и не был мной,  
Мир изменился бы, а вместе с ним  
Жизнь оказалась бы чуть-чуть иной,  
Уклад её сменился бы иным,  
Не лучшим и не худшим, только малость  
От прежнего отличным, хоть на взгляд  
Всё та же явь...  
Но эта явь теперь воспринималась  
Не так, как раньше...

1984

\* \* \*

Не кровь отцов, не желчь безвестных дедов,  
Переpravлявших камни через Нил,  
Сильны во мне. Иной воды отведав,  
Я каплю Волги в жилах сохранил.

И русским хлебом вскормленный сыздетства,  
С младых ногтей в себя его вобрав,  
Я принял выморочное наследство  
Кольцовских нив и Пушкинских дубрав.

И с той поры, как я сознал впервые,  
Что здешний мир мне до конца знаком,  
Листва лесная, травы полевые  
Моим заговорили языком.

Приёмышу иной не надо чести,  
Пусть пропадет незавершённый труд  
И на губах с последним вздохом вместе  
Славянские глаголы отомрут,

Пускай мой след в сыром песке поречий  
Размоют равнодушные года,  
Исав-лохмач, на огонек забредший,  
Уйдёт молчком неведомо куда...

Но в каждом слове горьком, в песне вольной,  
В печали догорающего дня,  
В прохладном шуме рощи многоствольной  
Узнают люди добрые меня.

Они узнают в тысяче обличий,  
На каждом повороте бытия,  
Мою любовь, настырный щебет птичий,  
Костер в степи — всё это буду я.

Я стану жить в лесах родного края,  
Где по ночам зарю ведет заря,  
Где слушает охотник, обмирая,  
Невыразимый бормот глухаря;

Я стану жить везде, где дрогнет слово,  
Хотя бы раз промолвленное мной,  
Я оживу в терпенье рыболова,  
Молчащего над синевой речной;

Встречая ливень на пороге дома,  
Досужий мальчик повторит мой стих,  
И отзовется перекатом грома  
Воспоминанье выстрелов моих.

1940

## ОТХОДНАЯ

Се изыде горький оцет; се смоковница  
неплодная, яко непотребна, посекается; се лоза  
сухая влагается в огонь.

Канон на исход души

Помирает моя  
Доброхотная мачеха,  
Приютившая мальчика  
На заре бытия.

Позабыла родня  
Одинокую, хворую,  
Что была мне опорюю  
И взрастила меня.

Знать, приспела пора,  
Чтобы наша кормилица  
Перестала бы силиться  
И сошла со двора.

В предназначенный срок  
Хлопотунья заранее  
Начала прибирание,  
Свой предсмертный урок.

Торопясь, чистоту  
Навела еще заживо,  
В плошке сбою говяжьего  
Уделила коту,

Содой вымыла дом,  
Окна вытерла пыльные  
И в обновы могильные  
Обрядилась потом,

Молча взлезла на печь  
И с последнею силою  
На лежанку остылую  
Изловчилась прилечь,

Протянув на тряпье  
Руки тощие, длинные,  
Словно лапы куриные  
В роговой чешуе.

В доме тишь, благодать,  
И не верят в спасение  
Даже мухи осенние.  
Знают: бабке не встать.

За окошком ветла,  
Расшептавшись, качается:  
Мол, старуха кончается,  
Пожила — отжила.

Не скорбите, пока  
Плоть противится тленная,  
И земля тяжеленная  
Ей да будет легка.

Киньте взгляд из окна,  
Об усопшей не сетуя.  
Пусть людьми неотпетая  
Почивает она.

Там, над краем леска,  
Словно храм семибашенный,  
Серебром изукрашенный,  
Вознеслись облака.

Где клубится вдали  
Их громада великая,  
Пролетают, курлыкая,  
Трубачи-журавли.

Будто в ризах до пят,  
Вея белыми платами,  
Над лесами зубчатыми  
Серафимы трубят.

С незакатных высот  
Светопад ослепляющий,  
Нестерпимо пылающий,  
Весть благую несет.

И мерцают лучи  
На серебряной храмине  
Алым отблеском пламени  
Поминальной свечи.

1971

## ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Я День Победы праздновал во Львове.  
Давным-давно я с тюрьмами знаком.  
Но мне в ту пору показалось внове —  
Сидеть на пересылке, под замком.

Был день как день: баланда из гороха  
И нищенская каша — магара.  
До вечера мы прожили неплохо.  
Отбой поверки. Значит, спать пора.

Мы прилегли на телогрейки наши,  
Укрылись чем попало с головой.  
И лишь майор немецкий у парашаи  
Сидел как добровольный часовой.

Он знал, что победителей не судят.  
Мы победили. Честь и место — нам.  
Он побеждён. И до кончины будет  
Мочой дышать и ложки мыть панам.

Он, европеец, нынче самый низкий,  
Бесправный раб. Он знал, что завтра днём  
Ему опять господские огрызки  
Мы, азиаты, словно псу, швырнём.

Таков закон в неволе и на воле.  
Он это знал. Он это понимал.  
И, сразу притерпевшись к новой роли,  
Губ не кусал и пальцев не ломал.

А мы не знали, мы не понимали  
Путей судьбы, её добро и зло.  
На досках мы бока себе намяли.  
Нас только чудо вразумить могло.

Нам не спалось. А ну засни попробуй,  
Когда тебя корёжит и знобит  
И ты листаешь со стыдом и злобой  
Незавершённый перечень обид,

И ты гнушаешься, как посторонний,  
Своей же плотью, брезгаешь собой —  
И трупным смрадом собственных ладоней,  
И собственной зловещей худобой,

И грязной, поседевшей раньше срока  
Щетиною на коже впалых щёк...  
А Вечное, Всевидящее Око  
Ежеминутно смотрит сквозь волчок.

1965

## ВТОРАЯ ДОРОГА

Полжизни провел как беглец я, в дороге,  
А скоро ведь надо явиться с повинной.  
Полжизни готовился жить, а в итоге  
Не знаю, что делать с другой половиной.

Другой половины осталось немного:  
Последняя четверть, а может — восьмая,  
Рубеж, за которым другая дорога —  
Широкая, плоская лента прямая.

Не ездят машины по этой пустынной  
Дороге, на первую так не похожей;  
По ней никогда не пройдет ни единый  
Случайный попутчик и встречный прохожий.

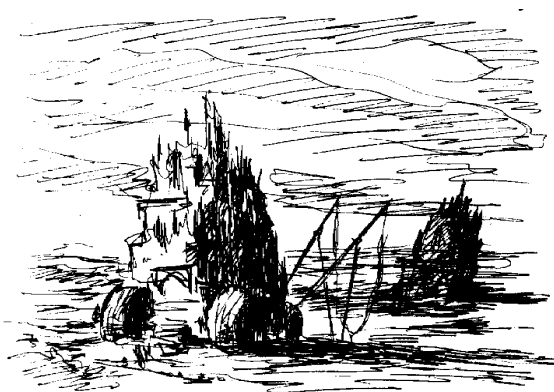
Лишь мне одному предназначена эта,  
Запретная для посторонних дорога;  
Бетонными плитами плотно одета,  
Она поднимается в гору полого.  
Да только не могут истлевшие ноги  
Шагать, как бывало по прежней дороге.  
Мне сделать за вечность не более шагу,—  
Шагну, спотыкнусь и навечно прилягу.

Когда мне едва не пришлось в Ашхабаде  
Просить на обратный билет Христа ради,  
И я ковылял вдоль арыков постылых,  
Дурак-дураком, по жарнице проклятой,  
Не смея вернуться в мой номер, не в силах  
Смириться с моей невозвратной утратой.

А позже, под вечер, в гостинице людной,  
Замкнувшись на ключ, побродяжка приبلудный,  
Впотьмах задыхался от срама и горя,  
Как Иов на гноище с Господом споря,  
И навзничь лежал нагишом на постели,  
Обутленный болью, отравленный жёлчью,  
Молчком нагнетая в распластанном теле  
Страданье людское и ненависть волчью,—

В ту ночь мне открылась в видении сонном  
Дорога, одетая плотным бетоном,  
Дорога до Бога,  
До Божьего Рая,  
Дорога без срока,  
Дорога вторая.

1965

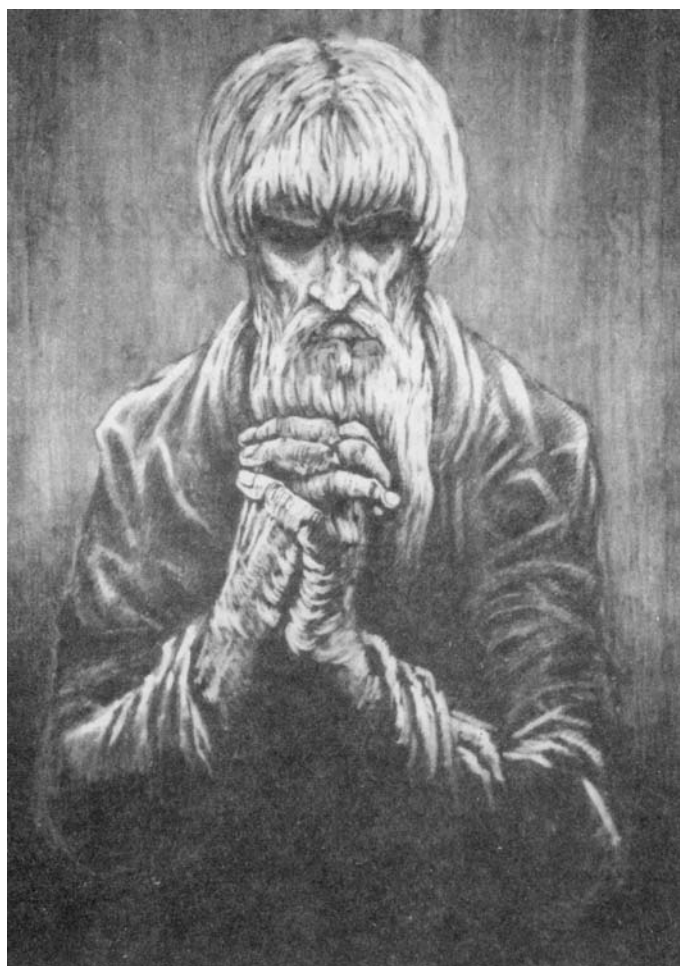




О ШТЕЙНБЕРГЕ



# МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ



## О СЕБЕ САМОМ

Родился в декабре 1907 г. в Одессе, в семье врача. Учился в Одесском реальном училище св. Павла, окончил среднюю школу после переезда в Москву, в 1923 г.

В 1925 г. поступил во ВХУТЕМАС. Живописью занимаюсь по сей день и считаю ее второй профессией.

Был дважды репрессирован и дважды реабилитирован. Участвовал в Великой Отечественной войне в чине майора. Награды: «За боевые заслуги» (1941), орден «Отечественная война I степени» (1944).

Стихи пишу с шестнадцати лет. Впервые опубликовал в 1928 г. До начала тридцатых годов довольно широко печатался в центральных журналах; позже стал, в основном, публиковать переводы, — главным образом, поэзии народов СССР. Наиболее значительная работа: переложение якутской эпической поэмы-сказания «Богатырь на гнедом коне».

Тринадцатилетним подростком прочел «Потерянный Рай» в переводе О. Чюминой. Поэма произвела на меня ошеломляющее впечатление и сыграла огромную роль в формировании моего мироощущения; в дальнейшем, по мере повышения уровня понимания существа поэзии и знакомства с оригиналом, я осознал всю недостаточность этого перевода, его бойкого ямба и усредненного, гладкого и бесцветного языка; понял, что стихотворная информация о содержании — это еще далеко не Мильтон, что поэма должна быть не только переведена, но и пережита. Давным-давно я твердо решил рано или поздно предпринять попытку создания русского переложения поэмы, но понимал, что еще не готов к этой работе, продолжавшейся 11 с лишком лет. Поэма опубликована в соответствующем томе Библиотеки Всемирной Литературы. Опубликовал переложение стихов великого китайского поэта и художника Ван Вэя (8-е столетие), 1979 г.

Издание оригинальных стихотворений наталкивается на трудности из-за принципиальных разногласий с редакцией издательства «Советский писатель» по составу книги. В свое время я был одним из инициаторов, составителей и редакторов сборника «Тарусские страницы», в котором опубликовано около 1000 строк моих стихов.

А. Штейнберг  
[1981]

[ВОСПОМИНАНИЯ]\*

— Аркадий Акимович, расскажите, пожалуйста, о Вашем детстве. Это давно ушедший материк, мало понятный современному человеку.

— Я родился двадцать седьмого ноября по старому стилю, то есть одиннадцатого декабря 1907 года, в семье врача. Отец слыл человеком весьма образованным — окончил три учебных заведения. Кроме того, что был врачом, к тому же имел диплом провизора с отличием. Когда-то начинал с социал-демократами, состоял членом первой ленинской организации — «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Он даже сидел за это в крепости и оставался под надзором полиции до самой революции. Это ничуть не мешало ему быть преуспевающим врачом. Материально, насколько я помню, мы жили вполне хорошо. Мать была фельдшерницей, имела медаль на Георгиевской ленте за участие в Русско-японской войне. Она участвовала в сражении под Мукденом.

Отец неплохо знал немецкий язык. Увлекался пением и даже закончил Санкт-Петербургскую консерваторию по классу пения. У него был прекрасный баритон. Умел играть и на трубе. В такой процветающей, интеллигентной семье я рос. У меня было две гувернантки. Помнится, австриячка — фрейлейн Виктория Цурик, католичка, весьма религиозная женщина. У нас был странный дом. Например, на еврейскую пасху покупалось около двух пудов мацы, а на православную пекли полтора-два пуда куличей. А так как у нас в доме жила еще и католичка, то праздновалась, таким образом, и европейская пасха! Когда шли эти пасхальные торжества, то это была какая-то бесконечная пасха: еврейско-католическо-православная. Праздники отмечались на хорошем уровне. Фрейлейн Виктория брала меня в костел, я слушал католическое богослужение. Родители этому не препятствовали. Шла своим чередом подготовка к моему религиозному совершеннолетию — еврейскому. Был взят учитель древнееврейского языка, который готовил меня, чтобы я в тринадцать лет в синагоге произнес известную молитву, которая вводит в лоно религиозно-правомочных евреев. Это произошло в тринадцать лет, но уже при советской власти, несмотря на занимаемый отцом высокий пост. Мое посвящение прошло абсолютно спокойно, без малейших затруднений в большой синагоге

\* Магнитофонная запись, сделанная в 1979 г. С. С. Бычковым.

на Пушкинской улице. В доме лежала Библия, но было и Евангелие. Это отцовское Четвероевангелие — оно хранилось еще с его студенческих времен. Так что я рос в обстановке религиозной свободы. Никто мне ничего не навязывал. Религиозного антагонизма по отношению к христианству в семье не было.

— Как ваши родители относились к религии?

— Думаю, что индифферентно. Отец держался иудейского вероисповедания. Он не был крещен, но сказать, что был правоверным иудаистом, не могу. Где-то за границами марксизма, как, впрочем, у всякого интеллигентного еврея, видимо, теплилось религиозное чувство. Трудно сейчас объяснить, почему я так думаю, но в отношении к христианству, к Иисусу, дух самой семьи был вполне терпимым. Все, что касалось религии, носило характер большой свободы.

— Ваши родители принадлежали к шестидесятникам или к семидесятникам?

— В восьмидесятом моему отцу было три года, так что это была более поздняя среда, гораздо более марксистская по духу.

— И тем не менее, по отношению к религии он не был непримирим?

— Абсолютно! Я же говорю, что обстановка была очень свободная. Само празднование трех пасх говорит о духе семьи...

— Родители занимались непосредственно вашим воспитанием?

— Моим воспитанием занималась, главным образом, библиотека моего отца. Я самостоятельно научился читать в три года. Не могу понять сам, как я умудрился увязать буквы с их значением и произношением. Но помню, как-то мой отец сидел и читал журнал. Я подошел к нему сзади и вслух прочел название этого журнала. Он совершенно обалдел и говорит: «Ты что прочел?» Я говорю: «Вот тут написано». Он позвал мать и говорит: «Зина, иди сюда, он умеет читать».

— Кроме вас, еще были дети?

— Да, младшая сестра, которая недавно умерла. Двое первых детей умерли в раннем детстве.

— Каков был ритм дня вашей семьи?

— Нормальный дореволюционный быт обычной интеллигентной семьи. Мама к тому времени не работала, занималась только семьей. Была горничная, две гувернантки. Отец имел кабинет, где принимал больных. Имел большую практику и был хорошим, чрезвычайно удачливым врачом. Весьма элегантно одевался, был очень красивым человеком, да и мать не уступала ему в красоте.

— Жизнь вели светскую?

— Нет — скорее интеллигентскую. Дома бывали врачи. Меня с пяти лет учили играть на скрипке. Я учился играть на скрипке у Столярского. Как полагалось, в доме стояло фортепиано, хорошо обставленная квартира. Это была благополучная интеллигентная семья преуспевающего врача, который счастливо лечил. Как я помню, отец был совершенным бессребреником. Он принимал весьма



Алексей Нейман.  
Портрет  
А.Штейнберга. 1979

крупные гонорары от богатых пациентов. Потом, в случае излечения, подносились подарки: серебряные самовары, вазы, — так было принято. Но, как сейчас помню, глубокой ночью звонит телефон, и отца просят приехать куда-то на другой конец города. Понятно, что он не только гонорара не получит, но и оставит там еще три рубля на лекарства. Лекарства в те времена были очень дорогими, ничего с бедных не только не брал, но еще и оставлял деньги на лекарства, а иногда еще и на бульон, и на мясо.

— Ваше детство протекало в Одессе?

— Да. Я поступил в реальное училище Святого Павла в приготовительный класс. Потом был скаутом. На формирование моей личности скаутизм оказал громадное влияние. Помню основную заповедь скаута: скаут верит Богу и своему народу! Близость к природе, развитие способностей существовать и обустроиться на природе — это осталось на всю жизнь! В мои семьдесят с лишним лет я в чем-то старый скаут. Скаут должен в день сделать хотя бы одно доброе дело — помочь старушке или еще что-то. Я был усерден и скаутизму многим обязан.

— Бывают в детстве озарения — мы вспоминаем яркие случаи, которые произвели большое впечатление. До тридцати лет какое самое яркое воспоминание?

— Самое большое влияние на меня имели книги. У отца была большая библиотека. Большой энциклопедический словарь я прочел от корки до корки. Еврейскую энциклопедию в шестнадцати томах я тоже прочитал от корки до корки. Я прочитал массу книг, которых в моем возрасте вообще не полагалось читать. Это было



свободное чтение литературы — в основном медицинской и философской. Отец серьезно интересовался философией. Но странное дело — в доме не было «Капитала» Маркса! Почему у моего отца не было марксистской литературы, не знаю.

— Кого вы можете назвать из писателей, кто оказал на вас в этот период большое влияние?

— Я рано начал читать стихи. И довольно поздно сам их стал писать. Когда я учился в первом или во втором классе, у нас был замечательный преподаватель русского языка и литературы — Анатолий Николаевич, он его никогда не забуду. На Рождественские каникулы он задал домашнее задание — выбрать какое-нибудь стихотворение из русской поэзии и выучить наизусть. Все разошлись на каникулы. Когда же каникулы кончились, он начал спрашивать. На первом уроке очередь до меня не дошла. На втором уроке меня наконец вызывают к доске: Штейнберг Аркадий. Иду к доске. Вы знаете, что я начал читать? «Слово о полку Игореве!» В полном недоумении, разинувши рот, сидел Анатолий Николаевич. Класс сидел замерев, никто ничего не понимал. Когда я кончил, он спросил: «Почему ты выбрал эту вещь?» Я ответил: «Потому что мне нравится». — «А ты понимаешь, что там сказано?» Я ответил: «Не все». Тогда он сказал: «Одну секунду, подожди немного». И вышел из класса. Вскоре он привел директора реального училища Щербину, который был внуком поэта Щербины. Помню его длинную красивую черную бороду.

Он говорит: «Прочитай еще раз».

Я отбарабанил еще раз. Короче говоря, это была сенсация. Я и по сей день обожаю «Слово», и полон весь его очарованием. Я люблю этот язык!

На одном из следующих уроков Щербина принес прекрасный однотомник Пушкина — толстый, в прекрасном переплете, и подарил мне за мой литературный подвиг. С этого начался Пушкин, Гоголь, Тургенев — вся русская классика была моим повседневным хлебом. Но я продолжал читать самые странные книги. Мне не было еще десяти лет, я прочитал древнеармянскую историю, древнееврейскую историю Моисея (Маймонида). Я мало понимал в прочитанном, но что-то оставалось в памяти. Позже читал то, что читают мальчики в моем возрасте: Жюль Верн, Майн Рид, Конан Дойл и всякая приключенческая литература. В юности читал чрезвычайно много и прочел огромное количество книг. Сейчас стараюсь читать только то, что мне нужно.

— Гувернантка долго оставалась в вашей семье?

— Она жила у нас до глубокой старости, пока не умерла в двадцать втором году.

— Школьные годы как-то были связаны с ней?

— Конечно. Я прочитал благодаря ей огромное количество книг по-немецки. Я в совершенстве знаю немецкий язык. Первым языком, на котором я заговорил, был немецкий. У меня была еще русская няня — когда я был совсем маленьким.

Уважаемый товарищ!

Бюро творческого объединения художественного перевода приглашает Вас 24 января 1973 года на вечер, посвященный

МАКСИМИЛИАНУ ВОЛОШИНУ

(в связи с 95-летием со дня рождения)

Председатель - Аркадий ШТЕЙНБЕРГ

Вечер состоится в Малом зале ЦДЛ

(ул. Герцена, 53)

Начало в 18.30

Пригласительный билет на Волошинский вечер (первый за сорокалетие после смерти поэта), ЦДЛ 24 января 1973

— Что вспоминается вам о тех влияниях, которые испытали в детстве?

— Глубокая религиозность фрайлейн Виктории. Когда я был совсем маленьким, я молился по-немецки.

— Воздействовал ее личный пример?

— Конечно. Ей я обязан пониманием немецкой религиозной песни. Помню, как мы праздновали Рождество — «Штиле нахт, Хайлиге нахт, Аллес ист штиль». Она учила молиться на сон грядущий, когда мне было пять лет.

— Быть может что-то запомнилось из ее поступков?

— Она была доброй, хотя по-русски говорить так и не научилась. Мы с ней общались только по-немецки. Детская немецкая литература в те времена была немножко пресной. Прославлялись всякие детские добродетели. Фрайлейн Виктория была простодушной женщиной, ее религиозность носила чисто католический характер, она нежно меня любила. Ее религиозное влияние не встречало никаких препятствий со стороны родителей.

— Ваша приверженность к чтению книг не сделала из вас замкнутого человека? Как складывались отношения с внешним миром?

— Очень хорошо! Я был чрезвычайно буйным, подвижным мальчиком. Удержать меня не было никаких сил. Позже проснулось, потом возникло пристрастие к огнестрельному оружию. Во время Гражданской войны разжиться таким товаром было очень просто. Я был драчлив, но слыл добрым товарищем. Был общителен. Но литературные интересы были чужды, из моих друзей никто стихов никаких не писал.

— Что пробудило интерес к поэзии?

— Я познакомился с очень красивой девочкой, когда мне было двенадцать или тринадцать лет. Ее звали Мила-Милочка Козак. Она была из учительской семьи. Я в нее страшно, по-детски, влю-

бился. Она была гораздо развитее меня. Я выглядел рядом с ней довольно диким. Она писала стихи. Как я сейчас понимаю, это были довольно бледные стихи, подражание Надсону. Но мне казалось чудом, что вот, живая девочка пишет такие гладкие стихи! Моя детская любовь к девочке пробудила какой-то неясный интерес. А не начать ли мне, не попробовать ли писать стихи самому?

Но в эти же годы произошло событие, которое получило свое завершение через много-много лет. Впервые, в двенадцатилетнем возрасте мне попал в руки «Потерянный Рай» Мильтона в переводе О. Чюминой. Эта книга у меня до сих пор сохранилась. Я этот случай рассматриваю как знамение свыше. Помню то невероятное потрясение, которое я испытал, прочитав эту поэму. Эта книга странствовала со мной полжизни. Когда я стал сам писать стихи, когда я осознал, что буду этим заниматься всегда, что существует такая деятельность поэта, как переводы, я начал понимать, что перевод Чюминой недостаточен. Тогда-то у меня наконец появилось желание своей рукой сделать перевод Мильтона. И действительно, как вы знаете, я это сделал.

— В 1917 году вам было только десять лет!

— Февральская революция была встречена в моей семье чрезвычайно радостно. Во-первых, война, которая всем была в тягость. Отец, военный врач, моментально был мобилизован. Я помню его в военной форме и с саблей, что было очень странно. Вся интеллигенция, конечно, тяготилась самодержавием. Еврейская интеллигенция в особенности, хотя мои родители имели право жительство на всей территории России — отец окончил Московский университет. Тем не менее огромный литографированный портрет государя императора и императрицы висел у нас на кухне, как во всех интеллигентных семьях. Портрет полагалось вешать, но не в комнатах, а на кухне. Покойного государя императора я видел два раза ребенком, во время его посещений Одессы. Благодаря свойству моей зрительной памяти, хорошо помню это зрелище. Видел я и Керенского, когда он приезжал в Одессу и выступал на митинге возле городской думы. Отец тогда не был большевиком, он был «оборонцем». Ему не хватило духу желать поражения Российской Империи.

Потом началась Гражданская война. В Одессе власть менялась двадцать раз. Я имел удовольствие видеть чрезвычайно близко от себя Антона Ивановича Деникина. Я, как скаут, стоял в почетном карауле, когда он шел на молебен в Одесский городской собор, который сейчас уничтожен. Я стоял со своим посохом среди других скаутов на карауле, и Деникин прошел от меня на расстоянии буквально трех шагов. Бесконечно менялась власть. Я занимался больше револьверами и всякими мальчишескими и скаутскими делами. От революции я ощутил только большую свободу. Моим воспитанием мало кто занимался, в реальном училище творились разные неясные вещи. Учителя разделились — одни были «за», другие «против»; были там и монархисты, и эсеры, и кто хотите.

Начало разваливаться не только реальное училище, но и вся дореволюционная жизнь. Стало ясно, что из Одессы мы уедем. Когда большевики пришли в Одессу и советская власть установилась окончательно, отца стали звать в Москву. Это был 1921 год. Он уехал в Москву, а мы остались с матерью.

Вскоре вспыхнула эпидемия сыпного тифа. И произошла ужасная вещь: заболела сыпным тифом моя мать, и я, пятнадцатилетним мальчиком, остался при ней. Никого больше не было. И я ее выходил. Но сам заразился. Помню как сейчас,— у меня была громадная температура. Мать лежала еле живая, но кризис уже миновал. Она была настолько ослаблена, что почти не могла говорить. У меня держалась температура сорок, я шатался. Вдруг раздался звонок, и я, держась за стенку, пошел открывать. Открыл дверь — на пороге стоял отец, вернувшийся из Москвы. Я упал без памяти возле дверей. Он отнес меня на постель. Я очень тяжело переболел сыпным тифом. Он выходил и меня, и мать, а потом вновь уехал в Москву. Вскоре прислал за нами товарный вагон. И мы — я, мать и сестра, поехали, погрузив нашу мебель. Малой скоростью от Одессы до Москвы мы ехали чуть ли не полтора месяца.

— Аркадий Акимович, болезнь изменила ваш характер:

— Она не могла пройти незаметно. Помню, когда я, еле живой от слабости, вышел на балкон, вдруг увидел: прекрасное лето! Цвели акации, и меня охватила невероятная, блаженная радость жизни! Я понял, что вышел из тяжелой очень болезни. К тому времени реальное училище уже не существовало. Была введена единая трудовая школа. Трудно передать, какой это был хаос: были созданы ученические комитеты. Но ни мы, ни преподаватели не знали, с какого конца подходить к учебе. А мы, мальчики, просто перестали учиться. Были отменены отметки. Мы, главным образом, занимались любительскими спектаклями и ухаживанием за бывшими гимназистками.

Когда мы переехали в Москву, я поступил в Петершулле. Сейчас это Вузовский переулок неподалеку от московской синагоги. Я еще успел захватить немецкую школу и закончил десятилетку уже здесь, в Москве. Столица произвела после Одессы весьма тягостное впечатление. Сначала своей запутанностью. После прямых, ровных, организованных одесских улиц хаос московских переулков подействовал на меня довольно странно.

Когда мы прибыли на Брянский (ныне Киевский) вокзал, я, оставив мать с сестрой в вагоне на запасных путях со всем имуществом, пошел пешком от Киевского вокзала в Подсосенский переулок. Это Воронцово поле, где тогда стояла церковь Ильи Пророка. Сейчас ее нет, а там музей Восточных культур. Так вот, в угловом доме, в бывшем особняке старообрядческого миллионера Рахманова, отец получил на втором этаже квартиру. Я шел через весь город пешком — вышел на Красную площадь и впервые увидел храм Василия Блаженного. Я пережил настоящий шок.

Помню чувство безмерного удивления этим невероятным сооружением. Я раньше видел его только на картинках. И тогда я понял, что увидеть на картинке — это одно, а в жизни — совершенно другое!

И вот мы поселились в Москве. Отец стал членом правления «Резинотреста». Кроме того — главным врачом Маросейской поликлиники. Мать не работала. Квартиру мы кое-как переоборудовали под жилье. Два громадных зала! Один был поделен фанерными перегородками. Был выделен кабинет отцу и небольшая комната мне. И вот тогда я начал писать стихи.

После окончания десятилетки я пробовал поступить во ВХУТЕМАС, но для этого необходим был производственный стаж. И отец меня устроил в свой же собственный «Резинотрест», где был членом правления, конторским учеником. Я работал там, ничего по существу не делая. Потом держал экзамен и был принят. Приняли меня во ВХУТЕМАС в 1925 году, и я проучился до двадцать седьмого года. Потом, по целому ряду обстоятельств, перебрался в Одессу и поступил в Одесский институт изобразительных искусств. У старого художника Заузе научился офорту, литографии, постиг другие технические тонкости. В Одессе прожил два года, потом вернулся в Москву, опять во ВХУТЕМАС. Но уже в тридцатом году ВХУТЕМАС начал разваливаться под ударами АРХРРА. Фаворского, который в то время был ректором ВХУТЕМАСа, убрали, пришел Новицкий. Потом ВХУТЕМАС, по существу, ликвидировали. Надо было ехать в Ленинград, сдавать на диплом.

Но я не поехал. Почему? Дело в том, что к тридцатому году я не только писал стихи, но уже начал печататься. Впервые в 1928 году было опубликовано идиотское стихотворение, которое называлось «Председатель совхоза», или «Директор совхоза», — в «Литературной газете»\*. Так что ехать сдавать на этот вхутемасовский диплом было решительно ни к чему. В тридцатом году я опубликовал неплохие стихотворения: в «ЛГ» «Волчью облаву», замеченную Маяковским, а также в альманахе «ЗИФ» большое хорошее стихотворение. Вообще я печатал стихи где угодно, считался процветающим молодым поэтом. Музыка для одной песни на мои слова написал покойный Арам Хачатурян. К тридцатому году я прошел хорошую живописную школу, поскольку до ВХУТЕМАСа учился еще у художника Харламова (был такой импрессионист, его студия располагалась на Арбате). А после него работал в студии Константина Федоровича Юона.

В Москве жил брат моей матери, Давид Моисеевич Азовский, довольно известный журналист. Когда-то он принял лютеранство. Думаю, что не из религиозных соображений, а, главным образом, чтобы получить право на жительство в столицах. Большой знаток Ближнего Востока, он побывал в Святой земле, в Египте, в Тур-

\* Имеется в виду стих. «Командир запаса». ЛГ, 09.12.1929. — С.Б.

ции. О нем написал несколько страниц покойный Константин Георгиевич Паустовский в книжке «Повесть о жизни», в той части, которая называется «Начало неведомого века». Он перепутал фамилию, назвал его — Розовский. Когда я познакомился с Паустовским, то сказал об этом, он согласился и хотел в следующих изданиях исправить фамилию, но не успел. Дядя хорошо был знаком с Пастернаком. Тот как-то у него жил, когда приезжал в Москву. Это в его доме в «Охранной грамоте»: «Окаменевшие остатки завтраков...» Он хорошо знал небезызвестного Блюмкина, левого эсера, который убил германского посла Мирбаха, а потом долгие годы работал в ЧК и где-то в его недрах, по-моему, окончил свое существование. Дядя рассказывал, как Блюмкин приходил к нему домой на Сивцев Вражек, поднимался на пятый этаж, сидел на подоконнике и все время куда-то смотрел. И только потом, когда Блюмкин убил Мирбаха, дядя понял, зачем он приходил и внимательно все осматривал. Дело в том, что из окна дядиной квартиры хорошо просматривалась территория германского посольства.

У дяди был сын, мой двоюродный брат, от первой жены, Шура, и дочка Ида от второй жены, русской купчихи из Уфы. Вторая жена владела фабрикой по производству кумыса в Башкирии. Мы организовали на территории дядиной квартиры на Сивцевом Вражке молодежный литературный кружок. Там бывал Владимир Михайлович Зверин, мой старый друг, живущий ныне в Москве. И я фигурировал в роли главного поэта, когда кружок только зародился. Сейчас понимаю, что это было чистым ученичеством.

Но уже тогда я стал бывать в доме Герцена на частых литературных сборищах. Я приходил и скромно слушал поэтов. Впервые году в двадцать шестом увидел Осипа Эмильевича Мандельштама, который приехал из Ленинграда. Константина Вагинова, прекрасного ленинградского поэта. Помню как пришли Арго и Адуев. Адуев эlegantный, небольшого роста с французской бородкой и с ним огромного роста Арго, блондин с нежно-розовым лицом, похожий на фламандца. Чистый фламандец, белокурый, тоже с бородкой. Они пришли с громадными букетами хризантем и эlegantно стали обходить всех дам, вручая каждой даме по хризантеме. Там же впервые в жизни увидел Маяковского.

Те поэты, которых я встречал в доме дяди и в доме Герцена, не оказали на меня никакого влияния. На мое тогдашнее творчество главным образом воздействовали символисты: Блок, Брюсов, Владимир Соловьев, Фет (которого я страшно люблю, потому что он не символист). Конечно же, Тютчев, а из акмеистов — Гумилев и Ахматова. Мандельштама я уже знал и немножко понимал. Очень любил Маяковского и, прежде всего, дореволюционного. Его позднейшие вещи мне гораздо меньше нравились, а потом совсем перестали. Волошина в этот период я совсем не знал. Хотя впоследствии одним из главнейших событий моей жизни стала встреча с Волошиным в Коктебеле.

Эта встреча определила мой дальнейший путь. Когда гостил у Волошина в двадцать девятом году в Коктебеле, я ему не читал своих стихов, и он понял, почему. Я сказал: «Максимилиан Александрович, я не могу показать вам то, что делал до сих пор, потому что это ученические работы. То, что я должен написать, еще впереди». И он ответил: «Аркадий Акимович, главное ваше творчество должно быть направлено на себя. Если яблоня здоровая и цветущая, то плодоносить она будет сама. Созревшие яблоки сами будут падать на землю. Отдельные стихи поэта — это еще не весь человек, творящий свои шедевры. Поэт — это образ жизни, образ мышления. Поэтому работайте над собой, главное ваше творение — это вы сами». Я запомнил эти слова на всю жизнь. После этого я стал совершенно по-другому относиться к себе... Если человек глупый, злой и скверный, то и стихи будут глупые, злые и скверные, потому что это функция его жизнедеятельности, плоды его духовного пути.

Большое влияние на меня оказала встреча с Эдуардом Григорьевичем Багрицким, с которым я познакомился году в тридцатом. Меня привезли к нему в Кунцево. Я был совершенно поражен, увидев этого человека. Представьте себе на ржавой кровати в белом войлочном ламаистском халате, как буддийский монах из Тибета, поджав под себя ноги, сидел громадного размера мужчину с огромной копной волос цвета перца-соли и с выбитым передним зубом. Фигура с гравюры Дюрера, лицо совершенно не из нашего времени. Я ему тогда начал читать стихи, с одесским акцентом. Он отнесся ко мне очень хорошо. И с тех пор мы подружились, и наша дружба крепчала вплоть до самой его смерти. Мы вдвоем переводили Артюра Рембо, — «Париж заселяется вновь». Помню, как мы сидели и страшными голосами орали друг на друга, выделявая отдельные четверостишия. Они потом неоднократно публиковались. Потом перевели два стихотворения Фридриха Вольфа из его пьесы.

К нему приходило много поэтов и графоманов. И он имел пре-скверную привычку этих графоманов отсылать с записочками ко мне. Приходили люди с жуткими стихами, я должен был их выслушивать и что-то такое говорить. Я говорил Багрицкому:

— Что вы со мной делаете, кого вы ко мне посылаете?

— А что мне делать? Несите свой крест! — отвечал он.

Багрицкий оказал на меня сильное влияние. Позже, не без труда, я от этого влияния освобождался. Громадное влияние Багрицкого сказалося и в том, что он читал мне стихи других поэтов, поскольку великолепно знал русскую поэзию. Именно он открыл для меня такого громадного поэта, как Случевский, творчество которого я потом изучал чрезвычайно усердно и многому научился. Я и сейчас перечитываю его. Он помнил и читал наизусть массу стихов. Многие я запомнил с голоса Багрицкого.

Когда он внезапно умер, я просто осиротел, потому что это был необыкновенный человек. Мне кажется, что судьба Багриц-

Господи, снизойди  
к дерзости моей  
и помоги творить

Господи, прости  
дерзость мою  
и дай волю творить.

Автограф на отдельном листке (без даты): «Господи, снизойди К дерзости моей И помоги творить. Господи, прости Дерзость мою И

кого — трагедия русской поэзии, потому что он, по-моему, был человеком позднего развития и все, что успел написать за свою недолгую жизнь, — это лишь подступы к тем стихам, которые он создал бы лет в пятьдесят. А он умер в тридцать девять. В эти годы я мало сталкивался с политической жизнью страны. Я жил в сфере искусства, философии, активно общался с людьми моих интересов. Я никогда не был в комсомоле, меня все это мало интересовало. Быть может, в этом таился какой-то смысл, в то же время что-то я, наверное, потерял. Из песни слова не выкинешь — все так было, как я рассказываю. Я занимался живописью, писанием стихов, чтением, ухаживал за симпатичными, хорошенькими женщинами. Я очень рано женился. Мне было восемнадцать лет, когда я женился на Элеоноре Александровне Тактышниковой. Мы прожили недолго, лет пять, потом разошлись. Довольно скоро я женился на Вере Михайловне Мухар, очень красивой элегантной художнице, которая тоже училась во ВХУТЕМАСе. Она его окончила, но позже.

Я зарабатывал деньги литературой, печатался всюду и везде. Но вскоре моей поэтической карьере был положен конец. В начале тридцатых была развернута кампания по борьбе с формализмом. У меня было напечатано стихотворение в «Красной нови» «Спиной к движенью, лежу неподвижно...», которое критики сочли сильно формалистическим. Ничего формалистического в нем не было. Никогда в жизни я не принадлежал к формалистам. Женя Долматовский произнес громадную речугу, в которой процитировал полностью это стихотворение. Потом его речь была напечатана в «Литературной газете». И вновь мое стихотворение было процитировано полностью. К 1932 году меня решительно перестали печатать. Повертелся я на одной ножке и пошел работать в радиокомитет, отдел литературных передач. Туда же я втянул



Арсика Тарковского. И мы на заре советского литературного вещания сообща трудились, как Шиллер и Гёте. Зарабатывали, впрочем, довольно хорошие деньги.

Но скоро я понял, что поэту работать на радио просто неинтересно, потому что гонорары уходят, а тексты растворяются без остатка в эфире. Поэтому я решил, что на радио работать больше не буду. А в это время Георгий Аркадьевич Шенгели, будучи редактором отдела творчества народов СССР Гослитиздата, приманил меня и Тарковского работать в качестве переводчиков. Мы переводили туркменских, узбекских и украинских поэтов. Появились какие-то книги. Я начал работать как профессиональный поэт-переводчик. Точнее, как профессиональный стихотворец-переводчик. Потому что профессиональный поэт — это довольно странное понятие. На этой работе я здорово отточил свое перо. Переводческая работа чрезвычайно способствует овладению версификационным мастерством. Я тогда этой работе не придавал большого художественного значения — просто зарабатывал немалые деньги. Мы с Арсением Александровичем в этом плане весьма и весьма процветали. Потом я познакомился с Радуде Стиенским. Выпустил сначала вместе с Тарковским, а потом отдельно несколько переводных книг этого черногорского поэта.

К тому времени успел построить в Тарусе двухэтажный дом, где располагался со своим сыном. И тут, совершенно неожиданно для меня, когда я поехал в Москву за деньгами, чтобы седьмого ноября устроить пир к празднику Октябрьской революции, меня арестовали. Я намеревался закупить продуктов, приехать в Тарусу и закатить роскошный пир. В ночь с первого на второе ноября ко мне пришли домой и арестовали. Откровенно говоря, то, что творилось в стране, оставалось для меня за семью печатями. Я жил в Тарусе, занимался литературными делами, ловил рыбу на природе, был занят своим процветанием. В общем и целом, в ус не дул. Что-то слышал: того посадили, каких-то вождей, какие-то заговоры. Честно говоря, был глубоко уверен в том, что все это чистая правда, что Тухачевский — предатель, что все они жаждали власти, шла борьба за власть и, естественно, кого-то надо было за что-то сажать. Я не придавал этому никакого значения, и себя считал вне этой игры.

Итак, в самом конце октября из Тарусы поехал в Москву. Целый день бродил по издательствам, занимался своими делами. Помню, ужасно устал, пришел домой, принял душ, в одних трусах лег на кровать и читал «Курс органической химии» Горемана. Очень странное, согласитесь, чтение на сон грядущий. После двенадцати, минут двадцать первого раздался звонок в дверь. Мама открыла дверь, и вошли незнакомые люди. Предъявили ордер на обыск. Я был этим крайне удивлен, обалдел. Это было, как гром с ясного неба, я чего-чего, а этого не ожидал. Они начали перерачивать вверх ногами все мои книги и бумаги. Обыск продолжался почти до утра. Естественно, что они абсолютно ничего не

нашли и ничего не изъяли, поскольку изымать было нечего. Когда обыск был закончен, мне предъявили ордер на арест, подписанный, как сейчас помню, Реденсом, начальником НКВД Московской области. Он, кстати, был с Молотовым в родстве — они были женаты на сестрах. Реденс был женат на сестре Полины Жемчужной.

Мне разрешили собрать какое-то белье, я оделся, сунул в карман пачку табаку. Помню, как сейчас, настроение было отличное, когда меня уводили из дому. Помню и последнюю фразу матери, сказанную на прощание: «Ка-дя, я вижу, тебе интересно!» Я ответил: «Да, очень!» Меня посадили в машину и привезли на Лубянку. Я был тогда величайшим поклонником Сталина, как вся страна, в общем и целом. У меня был коктейбельский сердолик, маленький овальный камень, на котором я с большим трудом вырезал профиль Сталина, дал его оправить и носил как маленький значок на лацкане. И когда меня привели на Лубянку, то произвели личный обыск. Человек, обыскивавший меня, снял этот значок, посмотрел и бросил в угол как абсолютную чепуху. И тут я понял: произошел государственный переворот! Сталин и все Политбюро арестовано. Переворот антибольшевистский и антисталинский. А меня как известного сторонника режима поэтому и посадили. Когда стали заполнять анкету арестованного и, записав мое имя, отчество и фамилию, начали спрашивать дальше, я не ответил ни на один вопрос. Я сказал: «Не буду отвечать. И подписывать ничего не буду. Делайте со мной, что хотите!» Принял позицию героического защитника сталинского режима. Тот пожал плечами: «Ну, не надо».

Меня отправили в камеру, в подвал. Там находилось человек восемь: все лежали на полу. Один из них — некий обновленческий епископ. Сожалею, что я тогда не спросил — кто он. Человек лет сорока пяти, с коротко подстриженной бородкой, высокого роста, хорошо сложенный, в расцвете мужественности. Мы с ним разговорились. Он хорошо знал древнееврейский язык, что-то стал цитировать. Больше я его никогда в жизни не видел.

Я провалялся двое суток, потом меня увезли на воронке в Таганскую тюрьму. Поначалу попал в так называемый «вокзал» — своеобразный «холл». Поскольку тюрьма была чудовищно забита, то людей держали в холле по двое, по трое суток, они томилась здесь на своих вещах, пока их не принимали в саму тюрьму. Я тоже томился двое или трое суток. Когда же разговорился с людьми, я, конечно, сориентировался, в чем дело, и понял, что я просто набитый дурак. Когда стал высказывать свою теорию о перевороте, а там я встретил массу старых членов партии, то на меня стали показывать пальцем. «Да, — говорят, — это, конечно, государственный переворот, но его сделал Сталин, а не против Сталина». И все же я не потерял спокойствия души. Помню, как сейчас, у меня было абсолютно безмятежное политико-моральное состояние. Вспоминаю очень смешной эпизод в этом «вокзале». Там были устроены гигантские туалеты — на двадцать очков каж-

дый. Огромная высота потолков, и все стены были записаны: такой-то, такой-то, такой-то ушел по такой-то статье туда-то — все обведено кругами: «Сидоров уехал на Колыму по статье такой-то». «Иван Живой и еще кто-то уехал по такой-то статье туда-то». И вдруг среди всех надписей я прочел очень странную: «Мозес и Пантелей не боятся статей!» И я решил, что буду третьим: «Мозес, Пантелей и Аркадий не боятся статей». Я сказал себе: «Барал я эти статьи, и всё!»

Должен признаться, что с тех пор, переживая все мои тюремно-лагерные приключения, я неукооснительно следовал этой заповеди, идя вслед двум апостолам свободы — Мозесу и Пантелею. Я реально представил себе этих людей: Мозес — здоровый, толстый, литовский еврей, с лоснящимся носом; и Пантелей — худенький, вроде монастырского послушника, с бородкой. И вот они, держась за руки, уходят куда-то в Тувань и не боятся статей. Вскоре я попал в камеру, где томилось несметное количество людей, встречались фантастические персонажи. Две недели я спал за столом, потому что мест не было: по мере того, как они освобождались, можно было улечься с кем-нибудь. В камере я встретил кантора Московской хоральной синагоги, маленького симпатичного старичка. Он спал на одной койке с православным священником. Они очень мило беседовали на разные божественные темы, не ссорясь и даже нес поря. Это было очень забавно.

Не буду рассказывать о ходе дела: меня здорово лупили. Во время следствия никаких обвинений не предъявляли, а предлагали самому сознаться в чем-нибудь. Я ни в чем не сознавался, там творилось что-то невероятное! Вообще не люблю вспоминать этот период. Что там творилось в этой тюрьме, это не моего пера, что называется, дело. Это даже не Мильтон — это Данте! Меня били по почкам. Потом, когда везли на Дальний Восток, у меня была кровь в моче в течение целого месяца. Но следователь от меня ничего не добился. Даже протокола не смог заполнить. Почему меня не забили насмерть, не знаю. Может быть, помощь Божья! Я прошел через все эти испытания, физически отделавшись довольно легко. Кончилось это тем, что меня вызвали с вещами, отвезли вместе с другими в пересыльную тюрьму на Красную Пресню, погрузили в ледяные вагоны и три месяца везли неизвестно куда. Потом оказалось, что на Дальний Восток. Когда нас привезли на станцию Уссури, то всех вывели из вагонов, завели в какие-то бараки типа бани и раздели. Затем голыми выстроили во фронт. Перед нами появился человек с огромной папкой и стал читать: «Сидоренко! — Есть. — К. р. 8 лет; Штейнберг! — Есть. К. р. 8 лет; Яценко! — Есть. К. р. 8 лет; Рабинович! — Есть. К. р. 8 лет».

— Произошел ли некий душевный перелом? Довольно непросто перейти от безмятежной жизни в Тарусе к тюремно-лагерным испытаниям?..

— Никакого! Я оставался таким, как я был в Тарусе на рыбной ловле или среди своей семьи. Я жадно смотрел по сторонам, невероятно жадно общался с людьми. Я интересовался, что, как, почему, что за люди окружают меня. У меня возникло ощущение, что я очевидец, свидетель, который должен находиться во всей этой гуще и все увиденное в себя впитывать. Внезапно я обнаружил, что играю некую роль, которая мне предначертана свыше. Я был подобен некоему успокаивающему средству. Благодаря моему прекрасному настроению, а также веселому, общительному характеру, полному душевному спокойствию, люди, окружавшие меня, заражались моим спокойствием и, быть может, им становилось немножко легче. Может быть, такова была моя задача, не знаю. Но уверяю — я не испытывал страха.

Мне было невероятно, страшно интересно. Позже я почувствовал, что это для меня какое-то испытание, что я выйду из него целым и невредимым и что все окончится для меня благополучно. Почему у меня было такое чувство? Я просто жил! Конечно, порой меня самого удивляла эта моя странная безмятежность. Страх и отчаяние не овладели мной. Единственное, что меня беспокоило — я оставил молодую жену с маленьким ребенком без средств в большом доме в Тарусе. Но все-таки я надеялся, что им помогут — не может быть, успокаивал я себя, чтобы они пропали! Я же оставался безмятежным.

Быть может, это связано с довольно специфическим характером моего религиозного сознания. Дело в том, что у меня не было, в общепринятом смысле, веры в Бога. Но я непрерывно ощущал живущее во мне сознание Его существования! Так же, как вы не думаете о том, что вы пишете, или о том, что вы — есть вы. Я не думаю: Я! Я! Я! — я просто существую! Моя личность непрерывно не осмысливает себя как личность, а просто существует. То же самое могу сказать о своем религиозном чувстве — где-то в подсознании, иногда пробиваясь в сознание, во мне живет живое ощущение бытия Божия. Затрудняюсь это чувство выразить словами. Оно иногда очень сильно обостряется, иногда уходит в глубины моего духовного мира. Я занимаюсь, чем хотите, я не знаю — буду ухаживать за девушками, рисовать картины или читать книжки, вообще — ловить рыбу. Иногда оно опять выходит на поверхность и пробуждает какие-то специальные мысли, и я начинаю размышлять, потом опять уходит. Это странное, столь специфичное устройство моего духовного мира, может быть, и явилось той основой, которая предоставила мне возможность сохранять безмятежность. Точнее — не безмятежность, а спокойствие, неизменяемость. Внутреннюю неизменяемость.

Я ведь два раза «сидел» и видел страшные вещи Я не раз был на грани погибели, и много пережил, но внутренне не менялся. Я не вырастал и не падал. Я оставался таким, каким был создан. Таким я и пребываю по сей день, с вашего разрешения.

— А что произошло после бани?

— Нас начали разделять, и часть людей, с которыми я ехал в одном вагоне, отделили. Потом я узнал, что их послали на строительство Комсомольска-на-Амуре. Как известно, этот город строили комсомольцы, но очень странные — под конвоем! А я попал в какое-то подразделение, которое жило в вагонах, стоявших на какой-то отдельной линии. Это были товарные вагоны, мы в них спали. Нас водили на работу в каменный карьер, на реке Уссури. Стоял мороз, страшная зима, холод собачий! Мы добывали камень, грузили его на тачки и отвозили к путям. Все это давалось огромным трудом, но опять-таки, я продолжал жить с тем же удивлением, при полном неизменяемом внутреннем состоянии.

Но у меня быстро образовалась цинга, и вскоре на правой ноге огромная цинготная флегмона. Подскочила температура, я оказался совершенно неспособен к работе. Меня отправили в так называемый сангородок. Это была больничка, где на одной кровати лежали по два человека. Там мне вскрыли флегмону, выпустили гной, и нога начала подживать, но рана не закрывалась. Меня выписали с раной на ноге, выдали ужасные валенки, и я должен был под конвоем одного солдата шествовать якобы в какую-то командировку за пятнадцать километров.

Началась дальневосточная весна. Снег еще не стаял, на полях стояла ледяная вода. Я вынужден был идти пешком. А поскольку у меня была открытая рана на ноге, то мне наложили повязку. Но в валенках да еще с повязкой я идти не мог, и, проковыляв метров пятьсот и уже выйдя в поле с этим молодым солдатиком с винтовкой, я сказал: «Не могу идти!»

И я снял один валенок, потом второй. Невозможно было так идти, одна нога в одном валенке, а другая — босая. И я пошел по этому талому снегу босой, с открытой раной на подъеме правой ноги. Солдат сказал: «Я тебя не поведу, пошли обратно!» Я ответил: «Веди! Веди!» Он сказал: «Умрешь». Я сказал: «Не умру! Веди!»

Он послушался, и пятнадцать или шестнадцать километров по этой талой воде и снегу я прошел босиком. Прибыли в эту командировку, тут же лекпом — лекарственный помощник — промыл рану и перевязал. Я проковылял в барак. После этого похода даже насморка не было! Ноги мои, когда я шел по ледяной воде, стали совершенно сине-фиолетового цвета. Это что-то было невероятное!

Пробыл я в этой командировке недолго. Вдруг, это было начало апреля, приехал какой-то человек и говорит: «Кто у вас здесь художник?» На центральную колонну вызывают всех художников — оформляют к Первому мая. Один белорусский учитель — Касперович — такой же художник, как я балерина, вызвался. Я назвал себя, но с некоторым правом, с вашего разрешения. Нас отправили в штабную колонну. Там я обнаружил любопытнейшего человека по фамилии Буров. Он был когда-то студентом ВХУТЕМАСа, но скульптором. Тут он работал художником. Он

был страшный пьяница. Всем, кто ему приносил вышивку, рисовал коврики и портретики. Он принял нас без всякого удовольствия. Я хотя рисовать-то умел недурно, но здесь надо было писать шрифты. Этого я совершенно не умею, а Буров был великий спец по этой части. Там был еще молодой художник Климашин, брат довольно известного художника, печатавшегося в «Огоньке».

Касперович вообще не был художником, но очень аккуратно срисовывал куковки. Мы в штабной колонне находились месяц. И вот в один прекрасный день вызывает меня нарядчик и говорит: «Мы хотим избавиться от Бурова. Он нам тут сильно надоел. Хотим тебя сделать главным художником на этой колонне». Я говорю: «Подумаю». Пошел к Бурову и все рассказал ему: «Тебя хотят убрать, а меня поставить на твое место. Но я этого не хочу. Поэтому устрой, чтобы меня быстро отправили отсюда. Но устрой на хорошее место». Буров, который имел большие связи, оценил мою лояльность по отношению к нему. А поскольку я подружился с Касперовичем, то прибавил: «Давай на обоих!» И нас тут же отправили на двадцатую колонну, где развернулось большое строительство станции, вокзала, дома связи и всяких привокзальных сооружений.

— Эта стройка была частью Комсомольска-на-Амуре?

— Нет. У нас была станция Ружино, а следующая — Уссури. Пока я был на штабной колонне, написал домой письмо, и мне прислали целый ящик с красками и кистями. Я поделился с Буровым и со всем этим имуществом попал в двадцатую колонну. Там прорабом был опытный человек — некий Иван Петрович. Я не буду рассказывать всякие перипетии, но очень скоро я стал главным оформителем всех этих строек. Меня назначили помощником прораба по малярно-отделочным работам. К малярно-отделочному делу я никакого отношения не имел, но сориентировался очень быстро. И так как у нас квалифицированных маляров не было, я избрал желателей и стал их обучать малярному делу, которого, в общем, сам не знал. Но мне прислали всякие книжки по этому делу. В течение года я морочил начальству головы грандиозно!

Я кормил людей, требуя высококачественной работы. По нормам они никак не могли справиться с объемами, а мне нужно было их за счет чего-то кормить, выписывать паек. Ведь в лагере кормят по мере выработки: выработаешь сто двадцать процентов — это вам хорошая жратва, если сто процентов — это похуже, меньше ста процентов — еще хуже! А если выработали пятьдесят процентов — вам давали штрафной паек, триста грамм! А мне надо было получать от моих маляров или отделочников хорошее качество работ. Вот что я сделал, должен вам рассказать, чтобы вам было смешно.

Там был огромный фронт побелочных работ. Бесконечные склады, сарай, — их необходимо было побелить. И на побелку с помощью маховой кисти существовала соответствующая норма. Я нашел опрыскиватель, которым опрыскивали бараки против кло-

пов, и переделал его в примитивный краскопульт. Побелку мы стали делать краскопультом. Краскопульт мы прятали чрезвычайно тщательно. Поскольку с помощью краскопульта можно белить с невероятной скоростью, как вы сами понимаете, огромные поверхности, то на побелку краскопультом норма в двести раз больше, чем на маховую кисть. Итак, мы белили с помощью тайного краскопульта, а писали, что работаем маховой кистью. У нас образовался огромный запас сделанной работы. За счет этого я и кормил маляров. Был у меня доверенный парень, профессиональный маляр, который работал краскопультом и белил «удочкой». Подозреваю, что прораб знал, что я проделываю такую штучку, но закрывал на это глаза.

Потом, когда я был на озере Хасан, всех, у кого была политическая статья 58, загнали в штрафной лагерь. Сняли всех, вплоть до инженеров. Положение было очень опасное, потому что японцы были неподалеку. Мы не без оснований думали, что, если японцы прорвутся, то нас всех постреляют. Эзков не стали бы эвакуировать. Но пронесло — японцев прогнали, а нас, в конце концов, вернули обратно. Какое-то время мы находились в изоляторе. Неподалеку располагался гравийный карьер, куда нас всех погнали грузить гравий. Я стал бригадиром, нашел огромное количество уже заготовленного и вывезенного гравия, заросшего травой. Видимо, лет десять тому назад нагроздили огромную насыпь, но не успели погрузить на платформы и забыли о ней. Эта гора высилась рядом с железной дорогой. И вот мы из этой насыпи таскали гравий, а делали вид, что берем его в карьере. Естественно, нормы на провоз совершенно другие. Опять-таки можно было хорошо кормить людей, а работать приходилось гораздо меньше. Это называется на лагерном жаргоне «туфтой». Но я считаю, что людей необходимо кормить независимо от того, сколько они гравия накопают или сколько дверей они отделают под дуб.

Не буду рассказывать о моем пребывании на двадцатой колонне, можно целый роман написать. Бесконечно интересные возникали эпизоды. Могу очень сильно пополнить коллекцию, которую собрал Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ». Помню, однажды пригнали огромный эшелон белорусских мужиков. Они чудовищно наголодались, пока их везли. Абсолютно темные люди! Приехали в двенадцать часов ночи невероятно голодными, падая от слабости. Это было печальное зрелище! Но они, приехав на колонну, все как один написали домой, чтобы им прислали посылки.

Стали приходиться посылки, все абсолютно одинаковые: черные ржаные сухари и великолепное белорусское сало толщиной в двадцать два сантиметра. Представляете? А поскольку было очень много воря, которые все отнимали, то эти белорусские мужики, получая сало, забирались к себе под койку, накрывались с головой телогрейкой и начинали это сало жрать. На другое утро гонят на работу, они это сало привязывали под одежду, к брюху. А по дороге это сало кромсали. К двенадцати часам дня возникала не-

проходимость, и они начали умирать. Столько их перемерло, что им перестали выдавать эти посылки на руки. Их заставляли приходиться на вахту, и они ели в присутствии надзирателей. Выдавали порциями.

Вскоре стали доходить слухи, что меня вызывает Москва, но что управление штабной колонны задерживает отправку. Я был нужен им по работе: под моим началом находилось немало людей. Начальство не знало, кем меня заменить. Несколько раз знакомые подрядчики говорили, что идут на меня требования: «Пришлите! Пришлите! Пришлите!» Наконец, в один прекрасный день, вызывает начальник лагеря и говорит: «Вот что! Вас вызывает Москва. На пересуд. Верховный прокурор опротестовал ваше дело. Найдите, кем вас заменить. Тогда вы можете передать дела». Я сказал, что мне нужен месяц. Я решил подготовить Касперовича, который все это время был моим помощником. «Хорошо», — сказал он. Я так и сделал. Прошел еще месяц, а потом меня отправили в Москву.

Отправили по этапу. Я прошел все пересыльные тюрьмы от Дальнего Востока до Москвы. В Иркутской, например, сидел на пересылке целый месяц. Фантастическая картина! Но это отдельная повесть, не столько обо мне, сколько о других людях, которых я там повстречал. Все же я попал в Москву, опять в таганскую тюрьму. Это был, с вашего позволения, июль тридцать девятого года. Все было по-другому. Во-первых, все надзиратели, которые были гражданскими людьми и подчинялись тюремному ведомству, были заменены пожилыми, сверхслужащими старшинами. Все было переделано. Я попал в одиночную камеру, где сидело четыре человека. По тюремному телеграфу в эту же ночь, при помощи перестукивания, я узнал, что все, все без исключения следователи, которые вели дела 1937 года и все надзиратели Таганской тюрьмы, которые тогда работали, расстреляны.

Забыл сказать, что когда еще был в лагере, узнал, что Ежов снят, и понял — пришел Берия, значит, произойдут большие перемены. Все, кто меня допрашивал и беспощадно лупил, все уничтожены. Через два дня началось новое следствие, во время которого я доподлинно узнал, что мое дело действительно опротестовано Верховным прокурором Вышинским. Молодые следователи, комсомольцы, которые пришли по набору, были совершенно другими людьми. Следствие тянулось около месяца. По окончании меня отправили в Бутырскую тюрьму. В Бутырской тюрьме вдруг вызывают меня к адвокату. Адвокат дает мне газету, из которой я узнаю, что в Москве Риббентроп ведет переговоры и заключается договор с Гитлером. И вообще, все вверх ногами. Мы беседуем с адвокатом, то-се, пятое-десятое. «Поразительное дело, — говорю, — я попал в другую страну».

Через несколько дней меня везут на суд. Привозят в Московский областной суд. Это была суббота. Из Союза писателей вызывается пятнадцать свидетелей по этому делу. Все говорят, какой



я прекрасный и чудный, хороший, замечательный, революционный. Суд на этом не заканчивается. Меня везут обратно в Бутырскую тюрьму, сажают в бокс. Воскресенье. Я сижу целые сутки в боксе. А в понедельник меня опять везут в суд, судья торжественно оправдывает за отсутствием состава преступления! (Забыл уточнить, что, когда я работал прорабом на двадцатой колонне, мне из дома прислали нормальную одежду, и я ходил в гражданской одежде. Но когда меня вызвали на пересуд, я все роздал. И надел лагерное. В Москву ехал в лагерных тряпках, и на суде тоже был в фуфайке с номером на спине.) Я был освобожден в здании суда. В сопровождении родственников и друзей (толпа человек двадцать) — человек в лагерных тряпках шествует на Старую Басманную. Прохожие это видят и все понимают, что идет освобожденный человек, оправданный после суда! Я отсидел с тридцать седьмого по тридцать девятый год. Ровно два года. Попал домой, и начался пир горой! Тут я увидел двух сыновей, потому что пока меня не было, родился Борух. Мне дали бесплатную путевку в Малеевку (почему-то и жене), и мы там отдохали. Наступил сороковой год. Началась Финская кампания, мороз был ужасный. Я вернулся в Москву и начал работать.

— Как вы встретили Отечественную войну?

— О войне можно рассказывать бесконечно долго. Скажу только о том, что мне представляется важным. Те годы, что я пробыл на фронте, считаю самым счастливым временем. Во-первых, у меня было ощущение того, что я участвую в очень важном и абсолютно неизбежном, а следовательно, хорошем деле. Во-вторых, что в этом деле я связан с необъятным количеством людей, которые делают то же самое важное дело, необходимое и неизбежное. Даже те, кто это не очень-то осознает, все-таки подсознательно понимают, что в эту войну мы втянуты вынужденно и что мы должны ее выиграть! Потому что, если мы ее не выиграем, то это конец света и, Бог знает, чего вообще...

— Вы были призваны в сорок первом?

— Я добровольно пошел в военкомат, не дожидаясь призыва. Меня сразу же послали в политуправление Южного фронта. Я нашел его в городе Первомайске. Явился к члену Военного совета Южного фронта Корнейцу и заявил, что явился в его распоряжение. Им же был направлен в Седьмой отдел по борьбе с политико-моральным состоянием противника, поскольку я прекрасно владел немецким языком. В течение всей войны работал в Седьмом отделе. Неоднократно бывал на фронте, являясь офицером связи оперативного управления. Меня «одалживали» в другие отделы штаба фронта. Я был старшим инструктором Седьмого отдела. Вскоре мне присвоили звание капитана, а позже — майора. В сорок четвертом году я был на очень крупной работе уже в Румынии и был награжден орденом Отечественной войны первой степени. А потом меня арестовали.

— Какие фронты вы прошли?

— Южный фронт, потом была Черноморская группа войск и Северо-Кавказский фронт. Когда мы находились в Донбассе, по-моему, это было в Сталино\*, после того, как мы оставили Днепрпетровск, в политуправление штаба фронта пришел красивый молодой человек — Леонид Ильич Брежнев, который был тогда полковым комиссаром. Он был назначен, по-моему, заместителем начальника управления фронта. Веселый, приятный во всех отношениях, чего не могу сказать о нашем начальнике. Начальником был некий Мамонов, это было такое сталинское животное, невероятно грубый и наглый человек. Конечно, между ним и его заместителем ничего общего быть не могло. Насколько Мамонов был хам и жлобина, настолько Брежнев был милый, веселый, добродушный человек. В нем не было ничего ни хамского, ни жлобского. Он курировал наш седьмой отдел. И мне приходилось с ним часто встречаться. Кроме хорошего, я ничего не могу о нем сказать.

Но произошло некое событие. Отношения между начальником и его замом сложились плохие. Брежнев познакомился с одной машинисткой. Крупному политработнику в сталинские времена не полагалось иметь личной жизни. Воспользовавшись его служебным романом, его крупно понизили. Он был назначен начальником политотдела Восемнадцатой армии, с штаб-квартирой в Геленджике. Должен сказать, что все его очень жалели. Были огорчены тем, что он от нас ушел. Я к нему ездил в командировки в Восемнадцатую армию. В значительной степени он утратил свою веселость. Кроме того, дела там были очень сложные. Был пятачок — мыс Мисхако, та самая Малая Земля. И все это простреливалось. Это было очень опасно, и надо было, согласно указанию Сталина, удерживать эту Малую Землю любой ценой. Естественно, начальник политотдела армии не мог не побывать на Малой Земле. Удовольствия это путешествие не могло доставить никому. Это было чрезвычайно опасно, и он там, не знаю сколько раз, но побывал. Дела в армии в это время шли не очень хорошо. К тому же, видимо, он был разлучен с машинисткой Викторией. Он был мрачен. От веселого и симпатичного Брежнева осталось довольно мало.

Я побывал на косе Чушка. Там попал под страшную бомбежку, вдобавок меня покусали малярийные комары. Я без памяти упал, даже не помню где. У меня диагностировали все три малярии разом: и Терциана, и Квадрана, и тропическую. В бессознательном состоянии привезли в Краснодар, там я умирал. У меня была малярийная кома, — об этом я потом узнал. Спас меня один врач, сделав внутривенные вливания хинина. Вывели из комы: слабость была фантастическая. На фронт я, конечно, не вернулся. С большим трудом меня поставили на ноги, и я был отправлен в Кисловодск, в военный санаторий. Это была глухая осень сорок третьего года.

---

\* Ныне — Донецк. — С. Б.

И пока я находился в санатории, Северо-Кавказский фронт был ликвидирован, поскольку немцев с Северного Кавказа выперли. Я очутился, как говорится, без места службы. Воспользовавшись этим, получил разрешение на один месяц уехать в Москву, чтобы попасть в резерв политуправления Красной армии. Приехав в Москву, увидел голодную семью, хотя я и посылал по аттестату свое жалованье. В Москве я провел месяц, бывал в Союзе писателей, видел, что там происходило. Давали по талонам обеды, а фронтовикам по талонам сто граммов водки. Я эту водку сливал в бутылочку, как, впрочем, это делали все, приносил водку домой. Жена ее продавала на рынке, покупала что-нибудь из еды для детей.

Я встретил Коваленкова, который сказал, что Смеляков погиб на фронте. Я даже прослезился, хотя у меня были сложные взаимоотношения со Смеляковым. Но мне было его очень жаль. Потом я узнал, что он вовсе не погиб, а попал в плен к финнам, и находился в лагере для военнопленных. Он там писал какие-то антисоветские стихи в лагерной газете, за что потом получил двадцать пять лет. И попал в сталинский лагерь. Его освободили только после смерти Сталина. Он вернулся в Москву, правда, никогда не был реабилитирован.

— Кого вы еще встречали в Москве?

— В резерве политуправления встретился с ныне покойным Михаилом Светловым. В Союзе писателей я встречал Маргариту Алигер, которая красовалась в шубе из серого каракуля. Я заорал на весь Союз писателей, что она себе сшила шубу из генеральских папах! Мне сказали, что, когда Фадеев делал доклад на пленуме о роли писателей во время Отечественной войны, то упомянул мое имя, сказав, что Штейнберг не работает в газете, а на другой работе. Конечно же, умолчал — на какой. Отзывы, мол, о моей работе хорошие, и Штейнберг награжден. Забыл сказать, к октябрьским праздникам сорок первого года я получил медаль «За боевые заслуги», которую мне повесил Брежнев. Работникам штаба фронта тогда наград не давали, поскольку мы отступали. Но я получил медаль за то, что останавливал бегущие батальоны.

— А орден Отечественной войны за что получили?

— Его я получил перед самой посадкой. Вручили Орден Отечественной войны первой степени — высокая награда. Когда мы вступили в Румынию, я был назначен на очень крупный пост. Наш отдел назывался: по работе с населением противника. До сих пор мы имели дело только с войсками. А тут, вступив на территорию противника, столкнулись с населением. Необходимо было перестраивать работу. Эту работу поручили мне. Я организовал специальный отдел по работе с населением противника, подобрал людей и стал начальником этого отдела. Мне приходилось принимать участие в назначении советских военных комендантов в румынские города, в изъятии разных ценностей у бухарестских банков, а также проводить разведывательные работы. Каждый

день писал доклад в Ставку Верховного главнокомандующего о политическом положении в Румынии.

Во время пребывания в Бухаресте я почти не спал. У меня есть такая особенность — могу поспать немножко в любое время, проснуться и опять — в рабочем состоянии. Поэтому мне приходилось спать вразбивку. По роду моей работы вскоре возник серьезный конфликт с тогдашним руководством румынской компартии. Я блюл интересы своей страны и своей армии, которые далеко не всегда совпадали с интересами тогдашнего руководства компартии. (Да и сегодня мы видим, что нынешнее руководство румынской компартии далеко не всегда действует в интересах советского руководства.) Тогдашняя Румыния во главе с королем Михаем была наводнена английскими и американскими корреспондентами, из которых девяносто девять процентов были военными разведчиками. Тогда нам совершенно не нужно было, чтобы румынские коммунисты начали проводить коллективизацию крестьянства. Все-таки наша армия была тогда хозяйкой положения в Румынии. После нашей оккупации Румынии начала действовать организация, которая очень мне мешала. Она демонтировала румынские предприятия и отправляла в Советский Союз всякие ценности: станки, машины, даже рельсы. Это отражалось на моей политической работе. Мне приходилось сталкиваться с этими людьми, их окорачивать. Они даже машины для печатания визитных карточек демонтировали! Короче говоря, румыны действовали по-румынски: они пытались меня подкупить. Подсылали ко мне красивых женщин, которых я до этого, откровенно говоря, видел только в кино, всевозможные вина и коньяки. Я вообще человек непьющий, а тогда не мог пить, потому что перенес на фронте болезнь Боткина-Вейля — инфекционный гепатит. Питался, главным образом, медом. В деньгах не нуждался, потому что не на что было деньги тратить. Я получал большое денежное содержание, которое некуда было девать.

Я был двадцать четыре часа в сутки занят. Страшно усталый человек, измученный своей работой и чувством ответственности. Деньги валялись у меня. Я получал содержание в леях, а не в рублях. В ящике у меня валялась куча денег. Короче говоря, румыны использовали все средства, а когда они не сработали, использовали самое главное — написали на меня донос. В доносе значилось, что я казнокрад и посылаю миллионы семье, а также серебро и золото. И меня посадили. Потом я как-то узнал, что была направлена специальная делегация в Москву. Но там обнаружили голодную семью, у которой никаких ценностей не было.

Меня долго мытарили по полевым тюрьмам. По мере продвижения армии я, наконец, попал, пройдя чудовищный этап, о котором мне даже не хочется вспоминать, не то что рассказывать, на пересылку во Львов. Там обнаружилось, что дело мое исчезло. Да и дела никакого не было — только доносы, которые на меня писали румыны. Но они не подтвердились. Хочу поведать об од-

ном эпизоде, в связи с которым мне предъявили еще обвинение в измене родине.

В Бухаресте находилось посольство «Оси», то есть немцев, итальянцев и турков. Когда наши войска вошли в Бухарест, то румыны вышли из войны. После того, как немцы пробомбили королевский дворец и вокзал, румыны перешли на нашу сторону и стали воевать вместе с нами. Посольство немцев было интернировано. Немецкий посол был поразительный человек — его звали Манфред фон Киллингер. Фашист с огромным стажем, участвовавший в убийстве Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Когда он был интернирован в своем посольстве, то застрелил свою секретаршу (она очевидно была его любовницей) и застрелился сам. Их трупы лежали в посольстве. Это произвело тяжелое впечатление наверху, в ставке Верховного главнокомандующего. Было непонятно, то ли он сам застрелился, то ли его застрелили.

Хозяевами положения в Бухаресте были мы — Советская армия. Я получил поручение от штаба фронта, который находился в двухстах километрах от Бухареста. Мне необходимо было выяснить причины смерти, провести медицинское освидетельствование, судебно-медицинское вскрытие, составить протокол. Я уже хотел было приступить к выполнению задания, как выяснилось, что трупы барона Манфреда фон Киллингера и его секретарши из охраняемого румынской полицией здания посольства исчезли! Началась невероятная паника. Я получил приказание: во что бы то ни стало найти эти трупы. В закрытом пакете, который я получил, значилось, что, по данным нашей разведки, трупы находятся в здании одного из иностранных посольств.

Я понимал, что это глупость, что ни в каком здании посольства они не могли находиться. Стояла жаркая осень 1944 года, в течение пяти дней трупы должны были провонять. Я нацепил свои награды и в полной форме, с золотыми погонами, взяв с собой секретаршу, румынскую комсомолку, переводчицу, из Бесарабии, — она знала и румынский, и русский язык, — начал объезжать посольства. В тексте значилось, что, по данным нашей разведки, трупы находятся в шведском посольстве. Я поехал в шведское посольство, доложили послу. Вышел шведский граф лет девяноста от роду. Румяный старичок с ослепительно белыми, отлично сделанными фарфоровыми зубами. Он мне сказал (я с ним разговаривал по-немецки), что никаких трупов у них нет и что он вообще ничего не знает. Я же не могу делать обыск в шведском посольстве! Я подумал, что, может быть, наша разведка перепутала. Поехал в швейцарское посольство. В швейцарском посольстве нашел какого-то сторожа, потому что посольство в полном составе выехало за город, спасаясь от немецкой бомбежки. Он меня впустил в помещение посольства, там я увидел хаос — всюду бумажки, но никаких трупов не нашел. Помню, как сейчас, отпустил свою секретаршу. Сажу в своей машине. Был у меня шофер, грек по национальности, но румынский грек. Сажу и думаю: где мо-

жет быть труп в такую жару? И понял, что в такую жару труп может находиться только в морге, в охлажденном виде.

В Бухаресте в свое время французы выстроили морг по последнему слову науки и техники. Роскошный морг! Я поехал туда. Морг — огромное здание. Вхожу туда, ко мне навстречу спешит директор морга в белом халате. Я спрашиваю: «Трупы барона фон Киллингера и его секретарши у вас?» Он отвечает: «Да, конечно». Захожу внутрь и действительно на столе — такие ледяные охлаждаемые столики — лежит огромный немец, с седыми волосами на груди, голый с громадным немецким членом и с черной дырой, прорубленной посередине лба пулей из большекалиберного пистолета. А на другом столике тоже совершенно голая, но уже без волос на груди, зато с рыжими волосами на лобке, лежит с черным прорубленным отверстием во лбу, здоровая немка. Некрасивая — я бы такую секретаршу не держал! Иду к телефону и вызываю взвод автоматчиков. Приходит взвод автоматчиков, я устанавливаю посты и говорю: «Без меня не выпускать и не пускать никого!»

После этого еду в редакцию «Адверул», крупнейшей буржуазной газеты. Иду в отдел иллюстраций, и мне дают специального фотографа. Еду обратно в морг, и там фотограф делает бесконечное количество фотографий с разных сторон этих двух покойников. После этого возвращаюсь в газету, при мне эту пленку проявляют, тут же печатают по два отпечатка с каждого кадра, после чего негатив лично уничтожаю. Возвращаюсь в нашу комендатуру и организовываю комиссию, состоящую из наших военных врачей и румынских полицейских врачей. Они едут со мной в морг. Осматривают трупы и пишут заключение, подтверждающее самоубийство. Предоставляют мне официальный протокол в двух экземплярах. На каждой из двух фотографий я пишу: «Барон фон Киллингер. Подтверждаю». После этого еду с фотографиями по всем иностранным посольствам в Бухаресте и послы подтверждают, что на этой фотографии действительно запечатлен Манфред фон Киллингер. На каждой фотографии пишу: «Фотографировал и идентифицировал майор А. Штейнберг». Один экземпляр с протоколом пересылаю в штаб фронта, чтобы они дальше переслали в штаб Верховного главнокомандования, Сталину. Вторую порцию с фотографиями и с протоколом оставляю у себя.

Когда меня посадили и началось следствие, мне говорили: «Ты ходил по посольствам и нанимался в шпионы». Я отвечал: «Это чепуха!» Это действительно чепуха, но в деле это было записано. Попав на пересылку во Львов, после чудовищного этапа, я обнаружил, что перенес инфаркт. Много лет спустя, когда мне сделали кардиограмму, обнаружили рубец на задней стенке левого желудочка. Было от чего умереть! Это я когда-нибудь вам расскажу. Не стоит это записывать — это ужасно! После того как во Львове на пересылке немного очухался, пошел к начальнику. И сказал: «Не знаю, сколько я у вас буду находиться, но мне скучно, хочу

что-нибудь делать. У вас есть художественная мастерская?» — «Нет». — «Давайте я вам организую».

И я организовал роскошную художественную мастерскую, которая стала обслуживать весь город. Проходили выборы в Верховный совет после победы — наша мастерская обвесила портретами вождей весь Львов. Я получил возможность отбирать художников. Через пересылку тысячи людей проходили. Я ходил и спрашивал: «Кто художник? Выходи!» Если это был самозванец, я его отправлял обратно, а если хороший художник, то оставался у меня — их задерживали на пересылке. Возникла роскошная мастерская! Попав на пересылку, написал письмо домой. Мама начала бомбардировать все учреждения: мол, невинного человека, заслуженного майора посадили. Но я не знал, что мои добиваются пересмотра дела. Сидел во Львове, занимался своим делом. Опять-таки, в безмятежном и прекрасном состоянии духа. Помирал не помирал, инфаркт не инфаркт, — я оставался таким, как вы видите меня сейчас. (Внешне я, конечно, выглядел помоложе.) Я был спокоен, и мне было интересно. Полтора года находился на пересылке во Львове — об этом могу написать роман. Происходили фантастические случаи, когда-нибудь это, может быть, следовало бы рассказать, потому что это необыкновенно интересно. Как-то начальник мест заключения города Львова и, кажется, даже Львовской области, капитан Петровский пришел в нашу мастерскую посмотреть работы. Подходит ко мне и спрашивает:

— Как ваша фамилия?

— Штейнберг, — отвечаю.

— А имя и отчество?

— Аркадий Акимович.

— Скажите, пожалуйста, доктор Аким Петрович Штейнберг имеет к вам какое-нибудь отношение?

Я отвечаю:

— Это мой отец.

— Ага, — говорит он. И ушел. Через пять минут меня вызывают к начальнику пересылки. Прихожу, там сидит Петровский. И говорит:

— Я знал вашего отца.

Отец мой был во время Гражданской войны Завгубздравотделом Одесской области, а Петровский работал в ЧК.

— Почему вы здесь сидите?

Я отвечаю:

— Не знаю. Вам виднее.

Он говорит:

— У нас нет вашего дела. Нет ничего, кроме препроводилки. За что вас взяли?

Я ему рассказываю целую историю. Он говорит:

— Вы знаете, я не имею права вас держать. Я должен вас выпустить.

Я говорю:

— Отпустите.

Он говорит:

— Я подумаю, посоветуюсь.

И тут произошло нечто необыкновенное: через два дня после разговора с капитаном Петровским пришел из Москвы приказ немедленно меня доставить в Москву под конвоем. Он мог бы меня просто выгнать из пересылки, если бы мои не писали бесконечные требования о пересмотре дела. Если бы Петровский меня выгнал из пересылки, то я, опытный человек, тут же, немедленно, любым способом уехал в Башкирию или куда угодно! И где-нибудь притаился бы в каком-нибудь клубе, или колхозе на год-полтора. После чего спокойно вернулся бы в Москву, и вообще все было бы в порядке.

Но вот меня, как крупнейшего шпиона, восемь человек конвоиров везут в общем вагоне в Москву. Автоматчики сидят рядом, и — поразительная картина — пассажиры на меня смотрят: шпиона везут, понимаешь ли! Привезли в Москву посадили в Лефортовскую тюрьму и через два-три дня вызвали на допрос. Предъявили обвинение, я дал свои объяснения. Через некоторое время все обвинения, которые были выдвинуты следствием, были сняты. Мне дали бумажку, что обвинения в измене Родине с меня снимаются. Но следователь, мило улыбаясь, сказал:

— Вы же понимаете, что мы вас не можем выпустить!

И тут же предъявил другое обвинительное заключение, которое состояло в том, что я обвиняюсь в хранении антисоветской литературы. Литературой оказались немецкие солдатские песенники, которые я собирал всю войну. Я надеялся их как-нибудь потом использовать для работы. Я допросил свыше пятисот пленных и мог написать о немецком солдате в этой войне очень много. По роду своей работы, я должен был читать бесконечные листовки, слушать по радио выступления Гитлера и Геббельса. Я читал периодическую литературу: журналы и газеты. Так что предъявлять мне такое обвинение было смешно. Так же значилось, что я виновен в превышении власти, в злоупотреблениях по службе. По приказу политуправления я организовывал демонстрацию советских фильмов в Бухаресте. Оказывается, что при просмотре фильмов не продавались билеты по билетным книжкам. В общем, бред собачий!

И вот началось дело по этому обвинению...\*

---

\* См. «Ответ ФСБ... — с. 350.



## ПОЭТ И ВРЕМЯ

Более полувека минуло с этой поры, как в 1923 году мне, шестнадцатилетнему тогда подростку, довелось прочесть в третьей книге журнала «Восток» удивительное произведение, называвшееся «Тайны живописи», — древний китайский кодекс, с гениальной убедительностью переведённый ныне покойным академиком В. М. Алексеевым.

Я и сейчас не в силах спокойно его перечитывать, неведомо в который раз, а тогда он просто ошеломил меня и околдовал — на всю жизнь. В нем открылись мне не только тайны живописи, но и тайны поэзии, и вообще — тайны всякого искусства, и Ван Вэй, предполагаемый автор кодекса, живший на другом конце света 1200 лет тому назад, и его переводчик В. М. Алексеев, мой современник, стали для меня учительными и родными; они доказали мне, что для искусства, связующего людей, нет преград — ни в пространстве, ни во времени, что самые глубокие различия языков, культур и мировоззрений — преодолимы.

Уже очень давно я задумал: в будущем, пусть — отдалённом, попытаться переложить русскими стихами и издать поэтический сборник Ван Вэя. Но как это осуществить, не зная китайского языка, не умея читать и понимать иероглифы?

Исподволь начал я торить окольную дорогу к танскому художнику и поэту; обнаружилось, что для этого есть немало возможностей.

Живопись не нуждается в словах и понятна без знания языка, а китайская пейзажная живопись, проникнутая пафосом бесконечного пространства и этим странно родственная зрелой европейской пейзажной живописи XVI–XVII–XVIII столетий, открывает надёжный путь к Ван Вэю. На этом пути моими водителями были: всё тот же трактат «Тайны живописи», позже — трактат «Слово о живописи из сада с горчичное зерно», переведённый, прокомментированный и изданный Е. В. Завадской, и её же прекрасная книга «Эстетические проблемы живописи старого Китая», и многие другие.

Я пристально вчитывался в переводы Л. З. Эйдлина, впервые доказавшие на деле реальную, полноценную возможность русских переложений древних китайских стихов. Я постепенно прочёл и посильно усвоил многое из того, что можно прочесть в переводах о Китае — его истории, философских и религиозно-философских

системах, мифологии, фольклоре; познакомился с классической прозой, историческими сочинениями и некоторыми философскими и эстетическими трактатами и т. д.

Все это позволило мне, до известной степени, приблизиться к пониманию мира высококультурного, утонченного танского чиновника-учёного и подготовиться к осуществлению заветного замысла.

И, наконец, мне исключительно повезло: судьба свела меня с В. Т. Сухоруковым, многолет изучавшим творчество Ван Вэя и согласившимся сотрудничать со мной. Благодаря его глубоко понятым прозаическим переводам стихов Ван Вэя, обширным комментариям к ним и безотказным устным советам я смог приступить к работе и закончить её.

\* \* \*

Китайская иероглифическая письменность коренным образом отличается от европейской, основанной на буквах алфавита, слагающихся в слова. Иероглиф «многослоен», он заключает в себе понятие, которое может быть словесно обозначено и произнесено на любом языке; например, японцы, пользующиеся иероглифами, могут их прочесть по-японски, не зная китайского языка. Кроме того, сложные иероглифы составлены из более простых элементов, имеющих каждый свое значение и определённым образом влияющих на восприятие читающего. И, наконец, сама внешняя форма иероглифа несёт эстетическую нагрузку, бесконечно много говорящую образованному китайцу.

Китайское стихотворение в первую очередь «созерцается» и лишь потом «читается» и «произносится». Каждый иероглиф пятизначного или семизначного стихотворения имеет, кроме общего, и самостоятельное значение. Он как бы стоит не только в строке, но и отдельно, и окружен неким локальным, хотя и условным, пространством молчания. Вместе с тем китайские стихи рифмованы и построены на одинаковых концевых созвучиях, на монориме, конечно, — в произнесении. Европейская рифма не только слышна, но и видна; китайская — только слышна. Передать европейскими, в частности, русскими стихотворными средствами китайскую версификацию невозможно, тем более что китайский язык односложен и русская пяти- и семисловная строка в несколько раз длиннее китайской.

Я воспользовался системой, предложенной в свое время академиком В. М. Алексеевым и утверждённой впоследствии творчеством Л. З. Эйдлиной: передавать иероглиф значащим, понятным русским словом, не считая союзов, предлогов и т. д.

При этом, само по себе, возникает некое подобие ритма, которое можно усилить и упорядочить, сообразно с приемлемой русской просодией, обратив в своеобразный паузник; строка делится неравномерно: в пятисловных стихах цезура после второго или

третьего слова, в семисловных — после третьего или четвертого. Такую систему я нарушаю очень редко и, лишь когда этого настоятельно требуют неумолимые законы русского языка и стихосложения.

Мои переложения рифмованы, но от монорима я, конечно, отказался. Свободное расположение рифм в предлагаемых переводах несколько не копирует рифмы Ван Вэя, но служит лишь для большего приближения стихов к русскому читателю и должно быть рассматриваемо как допустимая вольность переводчика.

Аркадий Штейнберг  
7.4.1978.

ПИСЬМО ПРОФЕССОРА ИНСТИТУТА АЗИИ И АФРИКИ  
(ЕВРЕЙСКИЙ ИЕРУСАЛИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)  
В. РУБИНА к И. Б. МИНЦУ

24 мая 1981  
Иерусалим

Дорогой Израиль Борисович,  
извините, что с таким запозданием откликаюсь на Вашу просьбу, переданную мне несколько месяцев назад М. Зацдом.

Книжка переводов, выполненных Вашим другом А. Штейнбергом, кажется мне очень удачной. Самой приятной особенностью ее мне представляется личный, неофициальный характер издания, нашедший себе выражение в послесловии переводчика «Поэт и время», где рассказывается о пути А. Штейнберга от энтузиазма юности к труду и свершению зрелости. То, что говорится в этом послесловии о чань-буддизме, в общем, верно, но, к сожалению, не отмечено, что это учение вобрало в себя традиции древней китайской философии даосизма. В частности, как раз слова Тютчева: «Мысль изреченная есть ложь», — текстуально совпадают со словами, имеющимися в трактате «Лао-цзы». Связь китайской поэзии с философией даосизма — одна из знаменательных особенностей китайской культуры. Прекрасно раскрыта эта связь в классическом труде столь ценного Вашим другом академика В. М. Алексеева «Китайская поэма о поэте».

Отмеченная черта не случайна — до сих пор в России нельзя говорить полным голосом о том, что относится к идеям великих мыслителей древности, и еще хорошо, что в издании ни разу не встречаются тошнотворные штампованные фразы. Однако трудно по-настоящему понять поэзию великой культуры без понимания ее магистральных путей.

Сами стихи, на мой взгляд, являются хорошими образцами русскоязычной поэзии. Читать их было для меня наслаждением, и я хочу поблагодарить и Вас, и Аркадия Штейнберга за то, что эта книга дошла до меня.

Желаю Вам всего доброго.

В. Рубин.

ПИСЬМО МАКСИМА ГОРЬКОГО  
К АРКАДИЮ ШТЕЙНБЕРГУ

Я считаю себя плохим ценителем стихов и в оценках моих не уверен. Ваши стихи, Аркадий Акимович, кажутся мне весьма искусны, они музыкальны, и слышно, как в них звучит искренность автора. Но, вероятно, вы и сами понимаете, что Ваше настроение «не созвучно эпохе», Вы — лирик и при том устали жить «в единоборстве праздном с самим собою». Эпоха — глубоко трагична, лирические песни никому слушать. Люди готовятся к столкновению, страшной которого мир ещё не испытывал. Здесь эта неизбежность становится все более отчетливо ясна. И отсюда я не представляю, кто мог бы в Союзе Советов встретить Ваши стихи с радостью? Я привезу их с собою в Москву, и давайте поговорим о них. Стих о «Неизвестном солдате» я послал в альманах «Год 16-й».

Всего доброго  
А. Пешков  
6.III.33.

## СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО № 4788<sup>1</sup>

### ГЛАЗАМИ ЖЕРТВЫ

В мае 1937 года семья Аркадия Штейнберга — он, жена<sup>2</sup> и годовалый Эдик — переехала в Тарусу, на только что отстроенную двухэтажную дачу по улице Советской, дом 3. Все лето и осень прожили они в приокском раю и даже на ноябрьские праздники не торопились в столицу. Пировать собирались в Тарусе, для чего Аркадий поехал в Москву: выбивать гонорар и закупать продукты.

Ни того, ни другого он не успел: в ночь с 1 на 2 ноября (примерно в четверть первого) за ним пришли и арестовали, обыск продолжался до утра. Так и не преодолев изумления, А.А. пребывал в отличном настроении и «безмятежном политико-моральном состоянии» (его выражение). Мать, когда его уводили, шепнула: «Кадя, я вижу, тебе интересно!». Привезли на Лубянку, самостоятельно заполнять анкету арестованного и отвечать на остальные вопросы он отказался. Из лубянской камеры предварительного заключения (где на полу лежало человек 8) его перевели — и перевезли — в Таганскую тюрьму: там, в огромной камере было несметно людей, в спертом воздухе постоянно, без умолку, сверещали запечные сверчки (отчего на всю последующую жизнь А.А. возненавидел этот романтический звук, так вдохновлявший того же А. А. Тарковского, например). В сортире тюремного приемника, прочитав поразившую его надпись: «Мозес и Пантелей не боятся статей», — он искренне восхитился и решил присоединиться к этим апостолам свободы. На следствии, вспоминал А.А., ему обвинения не предъявляли, но признаний требовали и основательно били. Били по почкам — да так, что кровь в моче была еще долго, на протяжении этапа на Дальний Восток (станция Уссури), растянувшегося на 3 месяца. Но А.А. ни в чем не признавался, что помогло ему при пересмотре. Приговор же был, что называется, типовым: 8 лет за контр-революционную деятельность.

По собственному признанию, внутренний переход от тарусской идиллии к тюремно-лагерному быту дался его легко, без душевного надрыва. «Я оставался таким, — говорил А.А. С.Бычкову, — каким я был в Тарусе на рыбной ловле или среди своей семьи. Я жадно смотрел по сторонам, невероятно жадно общался с

людьми... У меня возникло ощущение, что я очевидец, свидетель, который должен находиться во всей этой гуще и все увиденное в себя впитывать... Уверяю — я не испытывал страха»<sup>3</sup>.

Этап, с которым ехал А.А.<sup>4</sup>, разделили. Штейнберг попал не на строительство Комсомольска-на-Амуре, как большинство, а в глухую командировку — на каменный карьер на реке Уссури<sup>5</sup>. На морозе добывали камень, грузили на тачки, подвозили к путям. Быстро прихватила цынга, а на правой ноге — вызванная ею огромная флегмона. В больничке флегмону вскрыли, выпустили гной, рана заживала плохо, запахло концом. Но выручил Первомай: как художника его вызвали на центральную колонну оформлять праздник, а оттуда — в колонну № 20, на станцию Ружино (что перед Уссури) — тоже оформителем, точнее, помощником прораба по малярно-отделочным работам. Очень быстро А.А. стал гроссмейстером по туфте, чем сберег себе и другим много калорий и жизней.

Он настолько втянулся в новую жизнь, что вызов к начальнику лагеря и сообщение о том, что его вызывают в Москву на пересуд, застали А.А. чуть ли не врасплох. На подготовку себе замены ушел месяц, на этап и все пересылки — и того больше (в одном Иркутске — месяц!). В родную Таганку попал в середине лета, по тюремному телеграфу узнал, что следователей и надзирателей, бывших арестантов до крови в моче, нет ни одного: все расстреляны! Молодняк же, пришедший сюда по комсомольскому набору, был из другого — не-ежовского — теста. На период между исследованием и судом А.А. перевели в Бутырку, где с ним беседует адвокат, а в оставленной адвокатом газете нечто несусветное: переговоры Молотова с Риббентропом. Штейнберг насторожился: «Я попал в другую страну».

Потом суд, который А.А. представляет несколько фантазмагорически и гротескно. Сам он сидел в фуфайке с лагерным номером, пятнадцать свидетелей из Союза Писателей не устают хвалить его самого и его революционность, никаких доносчиков и предателей, никаких следователей-комсомольцев! Оправдание за отсутствием преступления, освобождение в зале суда и проход к себе домой через всю Москву в сопровождении толпы человек в двадцать. Дома — пир горой и уже не один, а два сына (народился младшенький, будущий живописец Борух).

...Все, о чем говорилось выше, почерпнуто из рассказов самого А.А. — рассказов пишущему эти строки, С.Бычкову и другим людям. Все, что будет сказано ниже, восходит, напротив, к официальному источнику, о доступе к которому при жизни А.А. нечего было и думать, — к следственному делу № 4788, хранящемуся в Государственном архиве Российской Федерации. Как ни странно, оба ракурса — со стороны жертвы и со стороны палачей — хорошо наложились друг на друга, несуразностей и внутренних противоречий почти нет.

24349.

1

УТВЕРЖДАЮ  
ПРИКАЗ МО - КОМИССАР  
БЕЗОПАСНОСТИ 1 ранга  
(РЕДЕНС)

# Постановление

об избрании меры пресечения и предъявления обвинения

Город Москва 1937 г.

- РАЙКОВИЧ, Ком. Нач. 6-го отд-ния ЧЕТВЕРТЫЙ от-деления

ГБ УНКВД Моск. Обл. Главного уголовного розыска НКВД

рассмотрев следственный материал по делу № \_\_\_\_\_

по гр. ШТЕЙНБЕРГ Аркадий Акимович, 1907 г.р.

статочно изобличается в том, что он ведет активную контрреволюционную деятельность.

СТАНОВИЛ:

ШТЕЙНБЕРГ А.А. привлечь в качестве обвиняемого по ст. ст.

Ш.10 УК, мерой пресечения способов уклонения от следствия и суда  
содержание под стражей

Уполномоченный  
П/НАЧ 6 отделения Штеинберг  
Пач. 6 отд-ния Штеинберг

Настоящее постановление мне объявлено 15. ноября 1937 г.

Подпись обвиняемого А. Штеинберг

*Составлена  
Штеинберг  
Ваша мать Штеинберг*

«Постановление» от 31 октября 1937 г. об аресте А.Штейнберга



Если не считать сыновей Штейнберга, то среди упоминаемых в нем лиц в живых не осталось, пожалуй, уже никого.

## АРЕСТ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ

Где-то в конце октября 1937 года на стол помощника начальника 6-го отделения 4-го отдела УГБ УНКВД Гайковича<sup>6</sup> лег следственный материал по делу Штейнберга Аркадия Акимовича. Рассмотрев его, счел, что вышеупомянутый «достаточно избобличается в том, что ведет активную контрреволюционную деятельность». Начальник 6-го отделения Шупейко с ним согласился, после чего начальник УНКВД Московской области комиссар госбезопасности 1-го ранга Реденс<sup>7</sup> 31 октября 1937 года подписал лаконичное постановление об избрании меры пресечения и предъявления обвинения: «Арестовать».

Назавтра, 1 ноября, сотруднику 4-го отдела УГБ УНКВД по Московской области был выписан ордер № 24349 на производство ареста-обыска гражданина Штейнберга А.А. После чего, в ночь на 2 ноября, по месту его жительства (ул. Карла Маркса, 20, кв. 94) и в присутствии понятного (председателя домоуправления Ефименко А.Х.) и родителей Штейнберга<sup>8</sup>, был произведен обыск и означенный гражданин задержан. При этом, согласно описи, были изъяты паспорт МУ 511734 на имя Штейнберга А.А., патроны для охотничьего ружья, киноплёнка заснятая (в рулоне), разная переписка, книги, «подлежащие изъятию», пакет из Гослитгиздата, чертежи с пояснениями (6 шт.), черновые литературные тетради (2 шт.)<sup>9</sup>. Комната задержанного была опечатана печатью № 9 УГБ УНКВД МО, жалоб, заявлений или претензий с его стороны не поступило. В следственном изоляторе Московского Управления НКВД<sup>10</sup> в тот же день была заполнена «Анкета арестованного»<sup>11</sup>, где в графе «профессия» было проставлено «писатель», в графе «образование» — «незаконченное высшее», а в качестве домашних арестованного обозначены: жена — Валентина Георгиевна, домохозяйка; сыновья Ясень и Эдуард Аркадьевичи<sup>12</sup>, на иждивении; отец, Аким Петрович Штейнберг, консультант ВЦСПС, и мать, Зинаида Моисеевна, заводской технолог и фельдшерница. На лицевой стороне «Анкеты арестованного» — датированная 16 ноября надпечатка о том, что наведение справки по картотеке 8-го отдела УГБ НКВД по МО указаний на последственного не выявило.

Первый допрос состоялся аккуратно 7 ноября, и вел его сам Шупейко (начальник 6 отделения). После заполнения формальных пунктов следователь заявил: «Вы арестованы за активную контрреволюционную деятельность. Признаете ли Вы себя виновным в этом?». Ответ: «Нет, виновным себя в контрреволюционной деятельности я не признаю». Чем первый — он же, формально, последний — допрос и завершился.

15 ноября обвиняемый расписался в предъявлении ему обвинения. Как и положено — по статье 58, пункт 10: «анти-советская агитация и пропаганда».

Интересно, что главного свидетеля — 34-летнего Радуле Марковича Стийенского<sup>13</sup>, черногорца и писателя, допросили лишь месяцем с лишним позже — 15 декабря 1937 года. Следователю он показал, что Штейнберг, которого знает с 1935 года, настроен к существующему в СССР политическому строю враждебно, зато всячески восхвалял фашистский строй Гитлера; с особой ненавистью он отзывался о руководителях компартии, особенно о Сталине и Ежове, утверждая, что скоро настанет время, когда советский строй будет свергнут, станут душить коммунистов и Гитлер нам в этом деле поможет. Еще он уличал Штейнберга в получении подарков от иностранцев, в частности, сапог и увеличительных стекол. В конце Стийенский скромно признался, что об этих фактах он информировал руководства горкома и Союза писателей<sup>14</sup>.

Тремя днями позже (18 декабря) была допрошена жена Стийенского — Вера Сергеевна Маркович, 1904 г.р., русская, учительница одной из московских школ<sup>15</sup>. Ей, оказывается, А.А. был известен как «озлобленный и непримиримо враждебно настроенный к существующему в СССР политическому строю», восхвалитель «фашистов и троцкистов»; про сталинское же руководство он утверждал, что оно «привело страну к полному обнищанию и разорению». «В недалеком будущем, — утверждал, согласно Маркович, Штейнберг, — советский строй будет свергнут, как только объявят капиталистические страны войну Советскому Союзу — у нас в стране никто не будет защищать так называемую советскую власть, а наоборот, повернут оружие против нее». В основном, она повторила те же наветы, что и ее муж (клевета на Сталина и Ежова, крайне подозрительные контакты с иностранцами), но и от себя, не скупясь, добавила: угрозы терактов против руководителей советского государства<sup>16</sup>.

И что же с таким злодеем делать?

Постановлением тройки УНКВД МО от 20 декабря 1937 года Штейнберга Аркадия Акимовича гуманно приговорили к 8 годам исправительно-трудовых лагерей за контрреволюционную деятельность.

## ПЕРЕСМОТР

Ровно через семь месяцев, 22 июля 1938 года, Прокурор СССР тов. Вышинский<sup>17</sup> направил на имя секретаря Особого Сопределения при НКВД СССР Шапиро<sup>18</sup> отношение № 13/041468/19056, в котором, предлагая пересмотреть дело Штейнберга А.А., писал: «Ознакомившись с материалами по этому делу, я нашел, что дело не расследовано. Нет ни очных ставок обвиняемому со свидетелями, ни даже допроса обвиняемого Штейнберга по конкрет-

Вх. № 131 / 1938  
23.7.1938  
УКЗЦ по МО

Копия.

Секретно

Прокурор Союза ССР

22 июля 1938 года.

№13/041468/19056/а

ОТВ. СЕКРЕТАРЮ ОСОБОГО СОВЕЩАНИЯ  
при НКВД СССР

тов. Ш. А. П. М. Р. О.

*МО*  
*Томовский*  
*Брус*  
*СС*  
*23/7/38*

Особый Тройка при УНКВД Московской области  
20 декабря 1937 года осудил к 8 годам лишения сво-  
боды литературный работник ШТЕЙНБЕРГ Аркадий Аки-  
мович за к.-р. агитацию.

Ознакомившись с материалами по этому делу, я из-  
учил, что дело не расследовано. Нет ни каких ставок  
объявленному с свидетелями, ни даже допроса обвиня-  
емого ШТЕЙНБЕРГА по конкретным фактам обвинения.

Поэтому прошу Вас внести дело на рассмотрение Особо-  
го Совещания при НКВД на предмет отмены постановле-  
ния Особой Тройки УНКВД МО от 20 декабря 1937 года  
и направления дела на исследование.

ПРИЛОЖЕНИЕ: дело № 49310 МО.

А. Вышинский.

Верно:

Распоряжение Прокурора А. Вышинского от 22 июля 1938 г. о  
возвращении «дела» А.Штейнберга «на исследование».

ным фактам обвинения». На этом основании он просил отменить в отношении Штейнберга постановление тройки и провести следствие

23 июля вопрос был поставлен на заседание Особого совещания. Прошло еще два месяца, прежде чем 19 сентября 1938 года Особое совещание решение тройки действительно отменило и дело направило на следствие. Таким образом, дело А.А.Штейнберга было поставлено на пересмотр.

Первым из нового круга свидетелей был допрошен Александр Семенович Гурович<sup>19</sup>, близкий приятель Штейнберга с 1928 года. В протоколе он обозначен как художник, работавший по договорам, хотя С.И.Липкин помнит его как пианиста. Допрос — точнее, допросы — состоялись 29 июля и 7 августа 1938 года, то есть месяцев на восемь раньше, чем допросы всех остальных свидетелей (см. ниже). Поначалу это казалось необъяснимым, но разгадка, видимо, в том, что и статус Гуровича был иным: он и сам уже находился в заключении, более того — на излете предварительного следствия, что до крайности облегчало и упрощало задачу следователей по добыванию из него «истинной правды». Не сам ли Вышинский учил их, что признание является законною «царицей доказательств»?

Так что можно понять и следователей НКВД, судя по всему, понявших прокурора Вышинского чересчур буквально. В простоте душевной они сочли, что по следственному делу № 4788 нужно собрать дополнительный материал, более убедительно уличающий Штейнберга в контрреволюционной деятельности. Для чего как раз и нужно передпросить с пристрастием свидетелей и провести их очные ставки с обвиняемым.

В частности, планировалась и очная ставка с Гуровичем, но характерно, что как раз ее-то и не провели. Не исключено, что на первом допросе свидетель артачился, а следователи перестарались. Выразительно уже то, что протокол о допросе Гуровича от 29 июля даже не составлялся: следователям, похоже, было и впрямь не до писанины. Да и свидетелю потребовалась неделя, чтобы придти в чувство, так что ручка понадобилась лишь 7 августа, отметив, что еще 29 июля Гурович «показал о своей осведомленности в контрреволюционных взглядах и высказываниях» Аркадия Штейнберга; 7 же августа следователь Малинин потребовал от него — и получил — «подробности». Под дулом этого требования и воспоминаний об оставшемся незапротоколированным допросе Гурович охарактеризовал А.А. как человека «резко контрреволюционно контрастного»(!): «Штейнберг говорил, что Сталин и все члены Политбюро это люди, окончательно оторвавшиеся от масс, о том, что Сталин уничтожает людей яркого и огромного ума и окружил себя людьми недалеки-ми. Штейнберг с нетерпением ждал войны и говорил, что только война может принести нам желанное освобождение от ига коммунистов... Штейнберг говорил об отсутствии в СССР свободы...». И далее в том же духе.

Спустя несколько месяцев следствие заинтересовалось и обвиняемым. 23 октября заместитель начальника 4-го отдела УГБ УНКВД МО сержант ГБ Идельсон получил от начальства указание: «Узнайте порядок вызова из лагерей (Овчинников) и вызовите этого типа» (!).

Указание было, видимо, не совсем привычным, поскольку на исполнение его потребовалось больше двух месяцев. 26 ноября 1938 года к начальнику 1-го спецотдела УНКВД ст.лейтенанту ГБ Овчинникову<sup>20</sup> обратились помощник начальника 4-го отдела УГБ УНКВД МО ст.лейтенант Буховцев<sup>21</sup> и начальник 4-го отделения Шупейко с просьбой вызвать Штейнберга А.А. из места заключения, с последующим зачислением его за 4-м отделением 2-го отдела, а о времени прибытия Штейнберга — поставить в известность. Овчинникову и его подчиненному Ремизову<sup>22</sup> что-то в этом письме не понравилось<sup>23</sup>, и его пришлось направлять заново, на сей раз уже 31 декабря 1938 года и за подписями заместителей начальников 2-го и 4-го отделов УГБ УНКВД МО сержанта ГБ Зайцева и вышеупомянутого Идельсона.

Дело Штейнберга легло на стол старшего оперуполномоченного 2-го отделения 2-го отдела УГБ УНКВД г.Москвы, сержанта ГБ Щербакова, который знакомился с ним с 23 по 25 марта. Он-то, видимо, и поинтересовался 25 марта 1939 года, не прибыл ли уже Штейнберг из лагерей и получил ответ, что нет, еще не прибыл. 4 апреля датирована справка начальника 3-го отделения о том, что на эту дату в Усольяге Штейнберга уже не было.

3 апреля 1939 года, с согласия заместителя помощника начальника следчасти УГБ УНКВД г.Москвы Акимова и по утверждении заместителя начальника УНКВД МО (данном 13 апреля), тот же Щербаков возбудил перед Мосгорпрокуратурой ходатайство о продлении срока следствия до 1 мая 1939 года.

Между тем (16 апреля) вновь допросили Веру Маркович, сообщившую следствию, что «при переводе произведений ее мужа Штейнберг часто пытался выбросить политические идеи произведения, для чего предлагал не указывать в произведениях имена вождей и руководителей». В июне 1937 года Штейнберг сделал ей следующее признание: «Я не признаю агитационной поэзии и стихов, а также и классовости советской литературны, не признаю поэтов-общественников и сам не буду таковым. Я признаю искусство для искусства».

17 апреля допросили и Стийенского. Со Штейнбергом, рекомендованным ему издательством в качестве переводчика, он был по-прежнему знаком, но уже начиная с 1934 года. В его памяти всплыли новые яркие эпизоды и высказывания осужденного. Как, например, следующий: А.А. причесывается перед зеркалом и говорит, что такая прическа только у двоих людей на этом свете — у Гитлера и у него. Или вспомнил, что А.А. не верил в способность советской власти устоять перед натиском капиталистических стран. А еще, по Стийенскому, Штейнберг — подхалим и большой

кляузник, наговаривающий на авторитетных и пользующихся известностью писателей. Настолько опасный, что бедный свидетель, накануне выхода «Черногорских сказок» в переводе обвиняемого, расторг с ним договор, а о высказываниях — сообщил в партком.

Наконец, в Москву доставили и самого злодея (как это произошло, мы уже знаем). 15 мая состоялась его очная ставка с Петровым-Стийенским, изблещавшим Штейнберга в антисоветской деятельности, а 16 мая состоялся очередной допрос, который вел уже другой следователь (его подпись под протоколом неразборчива). Вот образчики показаний Стийенского: Штейнберг поносил Сталина и восхвалял Гитлера, даже причислу носил под Гитлера, а в Тарусе рисовал портрет Троцкого. А.А. назвал показания свидетелю клеветническими и данными им «для того, чтобы опорочить меня, тем самым избавиться от разоблачений с моей стороны Петрова-Стийенского как плаггиатора». На конкретные обвинения и требование подтвердить свидетельские показания Штейнберг, храня верность заветам Мозеса и Пантелея из Таганской тюрьмы, отвечал замечательной формулой, уж не знаем — собственного изобретения или нет: «Держась противоположных убеждений, я никогда ничего подобного не говорил и говорить не мог».

9 июля 1939 года его допросил следователь следотдела УНКВД г.Москвы, сержант ГБ Пархоменко. В установочной части подследственный обозначен как «писатель при Гослитиздате», происхождением «из мещан» (ранее писалось — «из служащих»). Отвечая на первый вопрос, А.А. коротко обрисовал свою преарестную биографию:

«Со дня рождения по 1921 г. проживал в гор. Одессе, в семье своего отца. В 1921 г. вся семья переехала в Москву, в том числе и я. В Москве до 1924 г. учился в средней школе, в 1925 г. я поступил на учебу в Высшие Художественно-Технические мастерские на керамический факультет, где проучился до 1927 года. В 1927 г. перевелся в Одесский институт изобразительных искусств, где проучился один год, а затем снова перевелся в Москву и поступил снова в ХУТЕМАС, проучился до 1929 г. и из третьего курса я ушел и больше не возобновлял учебу. С 1929 г. начинается моя систематическая профессиональная литературная работа. 1929 г. был год окончания, (видимо, описка, следует читать: «печатания». — П.В.) случайных небольших вещей в разных журналах и газетах. Начиная с 1930 г. я работаю в Московском радиокomiteте как постоянный автор литературного вещания. Помимо этого, я работал в Гослитиздате, как стихотворный переводчик<sup>24</sup>. Причем с 1932 г. вплоть до дня моего ареста».

Своими близкими знакомыми А.А. назвал Александра Гуровича, редактора в нескольких издательствах; Семена Липкина<sup>25</sup> и Арсения Тарковского<sup>26</sup>, «писателей при Гослитиздате», как он их обозначил; Радуле Марковича-Стийенского, черногорского поэта и сотрудника Союза Советских писателей; Вильгельма Вениаминовича Левика<sup>27</sup>, художника, работника Гослитиздата.

ПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР  
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

## ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

К ДЕЛУ № \_\_\_\_\_

23 июля 1939 г. в м.с. 22 дня в г. Москва (След. К. 7. Уиндзо 7 Москва)

Генеральный допросил в качестве А. Штейнберг  
(должн. назван орган, фамилия)

1. Фамилия Штейнберг
2. Имя и отчество Аркадий Аркадьевич
3. Дата рождения 1907
4. Место рождения г. Одесса
5. Местожительство г. Карла Маркса д. 20 кв. 94
6. Нац. и гражд. (подданство) Украин, гр-н СССР
7. Паспорт \_\_\_\_\_  
(номер и каким органом выдан, номер, категория, в какой принятен)
8. Род занятий Писатель при ЦК Коммунист. парт.  
(место службы и должность)
9. Социальное происхождение Инж. Мещан  
(род занятий родителей и их имущественное положение)

10. Социальное положение (род занятий и имущественное положение)

а) до революции Учащийся

б) после революции Инженер

11. Состав семьи мать Штейнберг Валентина  
Георгиевна, сын Штейнберг Лев  
Захарович и братец мать Штейнберг  
Феликс Георгиевич Мотесельский.  
(ближайшие родственники, их имена, фамилии, дат рождения)

А. Штейнберг

Протокол допроса А.Штейнберга от 22 июля 1939 г.— начало пересмотра его «дела»

Отвечая на вопрос о знакомых иностранцах, А.А. указал на 4-5-летнюю дружбу с молодым немецким инженером Мартином Ульнером и его женой Эдитой Шивек, художницей<sup>28</sup>. В 1933-1935 гг. — дружба с французским поданным Сильвио Зилька и его женой Розой Ней, снимавшими комнату у его матери (Зилька и Ульнер работали в Москве в одном учреждении)<sup>29</sup>. С 1933 года — через двоюродного брата Титинера Михаила Григорьевича<sup>30</sup> — знакомство с чехословацким поданным Отто Вайзенштейном, до отъезда на родину в 1935 году работавшим экономистом в Госбанке. С 1933 года — знакомство с американским студентом Эдвином Вильямсом, приехавшим по линии Интуриста на каникулы и раза 3-4 бывавшего у А.А. в гостях.

Рассказал А.А. и о «родственниках за границей», в частности, о проживающей в Бессарабии, в Кишиневе, тете и ее семье, с которой он не виделся с 1915 года. В Чехословакии жил вышеупомянутый двоюродный брат М.Г.Титинер, в 1933 году вернувшийся в СССР и работавший старшим инженером в Метрострое. На вопрос об арестованных родственниках и знакомых А.А. указал на Евгения Бугаевского<sup>31</sup>, Владимира Михайловича Зверина<sup>32</sup> и Николая Васильевича Ницету<sup>33</sup>.

1 августа следователь, зачитав А.А. выдержки из допросов свидетелей Петрова-Стийенского и Маркович, вновь потребовал подробных показаний по поводу антисоветских высказываний. На что А.А. решительно заявил: «Никогда ни с кем антисоветских разговоров не вел... Свидетель Петров-Стийенский клеветет на меня... Показания В.С.Маркович являются ложными...». «Назавтра добрый следователь еще раз предложит А.А. перестать «скрывать от следствия о своей антисоветской деятельности» и «прекратить запирательства и давать показания по существу дела». Штейнбергу были зачитаны показания и Гуровича, но и их он не признал: «Все, что показывает Гурович, вымышлено от начала до конца».

11 августа допросили Вильгельма Левика, в протоколе обозначенного как художник. На вопрос о характеристике Штейнберга с политической, деловой и бытовой стороны его ответ был таким: «С политической стороны могу характеризовать Штейнберга как советского передового человека... Штейнберг всегда очень горячо возмущался фашистским варварством в Германии и Испании, очень остро и трагично воспринимал войну в Испании. Читал мне стихи, посвященные событиям в Испании... Помню, как-то со мной Штейнберг говорил о том, что он собирается писать стихи о Сталине, как о гениальном человеке нашей эпохи... Никогда я не слышал от Штейнберга никаких антисоветских высказываний.».

13 августа допросили уроженца города Харькова, члена Союза писателей Гатова<sup>34</sup>. Этот писатель первым долгом охарактеризовал Штейнберга «как поэта, безразличного к социалистической действительности... Штейнберг брал темы для своих стихов или



из пейзажей или из области науки — все, кроме социалистической действительности.». Гатов сообщил и о посещениях Штейнбергом американского посольства, где он смотрел кинофильмы; однажды (в 1935 или 1936 году) он даже познакомил Гатова с неким американцем Людвиним, о чем Гатов незамедлительно сообщил в НКВД. Ближайшим и неразлучным другом Штейнберга, по Гатову, был художник Гурович. Стийенского же Штейнберг повсюду ругал бездарностью, утверждая, что сделанные им переводы — это фактически его стихи, что опровергается переводами, сделанными уже после ареста Штейнберга другими людьми. В то же время Гатов отметил, что «во внешнем поведении у Штейнберга я ничего антисоветского не наблюдал», а самого А.А. он охарактеризовал как «человека значительных способностей, знаний в области литературы и искусства, которые могли бы дать плоды, если бы отчужденность от советской действительности, обусловленная неизвестными мне причинами, не имела места у него».

14 августа на допросе был художник Виктор Исаевич Таубер<sup>35</sup>. Он заявил, что знаком с А.А. в течение 14 лет, но с 1935 года отношения из дружеских перешли в деловые, причем и их Таубер, незадолго до ареста А.А., пресек. Вместе с тем Таубер показал, что в разговорах с ним Штейнберг антисоветских настроений не проявлял. Да, о себе он был весьма высокого мнения, и свои интересы он ставил выше общественных. О чем Штейнберг говорил, так это о том, что он не столько переводит Стийенского, сколько пишет за него, тогда как Стийенский, по мнению Таубера, ну уж не настолько бездарен.

15 августа — день новой очной ставки Штейнберга и Стийенского. Она продолжалась пять часов — с 12 до 17 часов дня. Оба подтвердили знакомство, оба указали — что знакомство деловое. Стийенский добавил: «По переводам иногда приходилось ссориться, так как Штейнберг выхолащивал партийность в моих стихах при переводе». На предложение охарактеризовать антисоветскую деятельность Штейнберга Стийенский рассказал любимые новеллы о штейнберговской прическе «под Гитлера» и о рисовании портрета Троцкого в Тарусе. В качестве доказательства антисоветских взглядов Штейнберга Стийенский сообщил, что книгу Штейнберга «Ночной дозор» не пропустили в печать<sup>36</sup>. Любопытен и эпизод с одним из сыновей Штейнберга, который якобы вбежал в комнату, где сидели Стийенский и Гурович, в шапке со свастикой и сказал, что, когда он вырастет, он с папой пойдет бить красных, о чем Стийенский доложил в парторганизацию ССП и самому Ставскому<sup>37</sup>. Ни одного из высказанных Стийенским обвинений Штейнберг не признал и не подтвердил. А на своих обвинениях в плагиате — настаивал, утверждая, что стихотворения из книги «Партизаны на Дурмигора» и многие другие написаны не Стийенским, а Штейнбергом и Тарковским<sup>38</sup>.

Такое упрямство огорчало следователей А.А. (возможно, они никогда не слыхали о Мозесе и Пантелее). 16 августа три следова-

теля следственной части УНКВД г. Москвы — Гук, Пархоменко и Михин — собрались и составили, видимо, не вполне тривиальный акт в том, что обвиняемый Штейнберг «на следствии ведет себя вызывающе, занимается издевательством над следствием, не отвечает прямо на поставленные вопросы, на следствии выражается нецензурными словами и всячески оскорбляет».

17 августа датирована Выписка из протокола № 34 заседания Партийного комитета ВКП(б) ССП от 21 февраля 1938 года. Пунктом 12 на нем слушали дело Марковича Р. (Р. Стийенского — П.Н.). Вел вопрос тов. Сурков<sup>39</sup>, среди выступавших — тов. Щипачев<sup>40</sup>. Сурков, в частности, высказался следующим образом: «При всех обстоятельствах т. Маркович шел к Штейнбергу. Маркович решил, что со Штейнбергом нужно покончить, что это сволочь, и он дал слово, что он порвет с ним, но он этого не сделал и продолжал с ним деловую связь вплоть до ареста». По совету Суркова, парком постановил: «Тов. Марковичу за притупление бдительности к врагу Штейнбергу и за отрыв от компартии Югославии — поставить на вид».

20 августа следователь Гук допросил вторую жену Штейнберга — художницу Веру Михайловну Мухар<sup>41</sup>. Она показала, что А.А. знает с 1931-32 гг. и что до 1935 г. они были мужем и женой, развод имел причиной исключительно семейные обстоятельства. Самого А.А. она назвала человеком крайне неуравновешенным и эгоистичным, но и исключительно талантливым к живописи, поэзии и музыке. По поводу процесса перевода стихов Стийенского высказалась в том духе, что тематика принадлежала Стийенскому, а вот форму и красочность придавал Штейнберг. В то же время стихотворение «На смерть Вуко Вуковича» сначала было написано по-русски Штейнбергом, а уже потом переведено на черногорский Стийенским. Близкими приятелями Штейнберга, по мнению Мухар, были Гурович, Тарковский, Таубер, Левик, Бугаевский<sup>42</sup> и Владимир Аврущенко<sup>43</sup>, с которым они ездили в Осетию; заходили еще Гатов и другие. «Антисоветских высказываний со стороны Штейнберга я никогда не слышала», — твердо заявила Мухар.

21 августа 1939 года все тот же Гук нашел, что проведенным дорасследованием Штейнберг А.А., конечно, изобличается, но — не в контрреволюционной деятельности, а в проведении антисоветской агитации, каковое обвинение ранее ему предъявлено не было; на этом основании Гук постановил переквалифицировать ему состав обвинения по ст.58, п.10, ч.1 УК РСФСР.

А 22 августа Штейнбергу устроили еще одну очную ставку — с женой Стийенского. Показания ее были практически те же, что и прежде, добавился разве что бытовой эпизод драки с плотником Суходольским в Тарусе, каковой эпизод признал и А.А., дав пояснения. Все остальное он начисто отверг, в том числе и такой грех как пренебрежение советскими служащими: «я и сам являюсь совслужащим», — заявил он.

Тем же числом датирован и «Протокол объявления об окончании следствия и предъявления следственного производства обвиняемому», составленный следователем Лискиным. Штейнбергу дали пронумерованное дело в одном томе на 60 листах, с которым он знакомился в течение 1 часа Таганской тюрьме. По ознакомлении А.А. попросил лишь об очной ставке с А.Гуровичем и о создании экспертно-технической комиссии для доказательства плагиата Стийенского, для чего просил также допросить Тарковского и Липкина.

Следователь Гук счел предложения Штейнберга юридически ничтожными и постановил это ходатайство отклонить, тем более что в имеющихся в деле материалах парторганизации Союза Писателей подтверждается авторское право именно Стийенского, а не Штейнберга. К тому же Тарковского с Липкиным нет в Москве<sup>44</sup>, как нет и Гуровича (он сам уже давно осужден).

Обвинительное заключение Гук составил уже 23 августа, согласовав с начальником следственной части УНКВД г.Москвы, старшим лейтенантом ГБ Орехановым<sup>45</sup>. Следователь счел, что, хотя сам Штейнберг виновным себя не признал, но показаниями свидетелей он изобличается в достаточной степени, на основании чего ему выдвинуто обвинение « в том, что проводил среди своих знакомых резкую к-р агитацию, восхвалял врагов народа, распространял к-р клеветнические слухи на руководителей партии и правительства и высказывал пораженческие настроения, т.е в преступлении, предусмотренном ст.58 п.10 ч.1 УК РСФСР».

Само же дело (видимо, как возбужденное по ходатайству Вышинского) подлежало передаче в Мосгорсуд. На суд обвинение вызывало свидетелей Петрова-Стийенского, Маркович, Таубера и Гатова.

## СУД

20 октября 1939 года делопроизводитель Бутырской тюрьмы УГБ составил справку, что арестованный Штейнберг А.А. числится за прокурором г.Москвы.

13 октября, сидя в 49-й камере Бутырской тюрьмы, А.А. написал своей матери, Зинаиде Моисеевне, две доверенности: одна — на неограниченное управление принадлежащей ему недвижимостью, заключающейся в даче в Тарусе<sup>46</sup>, с правом сдачи в аренду и продажи, другая — на ведение его дела, лично или через защитника.

В деле есть трёхстраничное обращение Зинаиды Моисеевны, датированное концом августа (но не позднее 29 августа 1939 года). В нем она описывает и затронутый Маркович инцидент в Тарусе, с Алексеем Суходольским, ворвавшимся к ним в дом с криками «Расселились жидаы, убью, все равно зарежу в овраге», — после чего дело милицией и прокурором Скачковым было повернуто против Аркадия: в результате А.А. — за избиение Суходольского — чуть не был осужден по статье 49<sup>47</sup>. Незадолго до Октябрьских праздников Зинаида Моисеевна написала к прокурору Муругову<sup>48</sup> с

просьбой пересмотреть дело ее сына, как основанное на клевете недоброжелателей и завистников.

3 ноября состоялось подготовительное заседание Мосгорсуда по уголовному делу № 1454 Штейнберга А.А.: председательствующий — Климов, народные заседатели Алексашина и Белова, с участием прокурора Жилина и при секретаре Зеленьке. Жилин считал, что дело расследовано достаточно, и предложил принять его к слушанию; Климов с этим согласился, и суд в целом постановил — обвинительное заключение утвердить и дело к производству принять, рассмотрев его в закрытом заседании, с участием сторон. Датой суда было назначено 11 ноября<sup>49</sup>.

5 ноября с обвинительным заключением был ознакомлен обвиняемый, в чем он собственноручно расписался. 9 ноября в суд обратились адвокат Штейнберга — член Московской городской коллегии адвокатов Лев Евсеевич Мостман<sup>50</sup>. Для «наиболее полного и всестороннего объективного подбора материала, могущих охарактеризовать Штейнберга с политической стороны» он просил вызвать в суд в качестве свидетелей Левика, Мухар, Алтаузена<sup>51</sup>, Тарловского<sup>52</sup>, Голодного<sup>53</sup>, Шенгели<sup>54</sup>, Гехта<sup>55</sup>, Валаха<sup>56</sup> и В.Г.Штейнберг. На его заявлении имеется помета: «5 повесток посланы».

В день суда (это была суббота) адвокат Мостман обратился в суд с заявлением, в котором просил приобщить к делу письмо Стийенского к Штейнбергу от 13 сентября 1935 года, где тот рассказывает о похвалах, сделанных А.А.Коваленко (по-видимому, А.А.Коваленковым<sup>57</sup>) и др. поэтами «Партизанам на Дурмиторе», причем из письма недвусмысленно следовало, что авторами произведения являются именно Штейнберг и Тарковский. Это ходатайство судом было принято, письмо к делу приобщено.

Протокол закрытого судебного заседания по делу №1454 занял более 40 страниц. Состав суда: председательствующий — Климов, народные заседатели — Гудков и Нестерова, прокурор Заварила, защитник Мостман и секретарь Неверова. Присутствовали также обвиняемый и свидетели — Стийенский, Маркович, Таубер, Гатов, Левик, Алтаузен, Голодный, Гехт и Валах (во время разбирательства свидетели из зала были удалены).

После оглашения обвинительного заключения ответчик, как и прежде, отказался признать себя виновным. По существу дела он заявил, что все политические обвинения четы Петрова-Стийенского и Маркович суть ложь и клевета. Почему они это сделали? Потому что свидетель Стийенский «...был готов расправиться со мной как угодно, чтобы избавиться от меня как от свидетеля его литературных махинаций, конкретно он подписывал мои стихи своим именем. В 1935 г. написанную мной и Тарковским под заглавием «Партизаны на Дурмиторе» Петров-Стийенский подписал эту книгу и выпустил под своим авторством, а меня и Тарковского переводчиками, гонорар мы получили как переводчики». Штейнберг говорил, что вторая часть книги «Партиза-

ны на Дурмиторе» написана им единолично, без Тарковского, так же как и книга «Колхозная оратория» и стихотворение «Испанскому народу». Если Стиенский — псевдоним, то псевдоним его, Штейнберга, а не Петрова-Стиенского. «Я сделал его литературной величиной, но я ему авторских претензий не предъявлял».

Отвечая на вопросы прокурора и адвоката, Штейнберг сказал, что сербского языка он не знает, а то, что стихотворения просто подписывались как «перевод с сербского», само по себе было его ошибкой. Стиенский задавал ему и Тарковскому (с Тарковским Стиенским был в ссоре с 1935 года) темы, те писали стихи, после чего Стиенский, напротив, переводил их на сербский. При издании стихов по-русски «автор» получал три, а «переводчик» — два рубля за строчку. Это, говорил Штейнберг, есть не что иное, как мошенничество, но оно привело мошенника в члены Союза Советских писателей уже в 1934 году.

Затем начались расспросы свидетелей, причем Петров-Стиенский невольно стал как бы вторым обвиняемым на суде. Сам он суду заявил, что свои книги — «За Советскую Черногорию», «Не забудем», «Партизаны на Дурмиторе», «Колхозная оратория» — он писал на сербском языке, а Тарковский и Штейнберг работали по подстрочнику. В то же время он признал, что с Тарковским поссорился из-за авторства, но об авторских «притязаниях» Штейнберга он узнал только на очной ставке. Признал он и подлинность письма от 13 сентября 1935 года, как и то, что в 1937 году он поссорился и со Штейнбергом, причем после ссоры Штейнберг, по Стиенскому, поступил весьма экстравагантно: он «воткнул перо в руку и написал бумажку, что «клянусь никогда не распространять никакой лжи». После чего Стиенский слово в слово повторил все свои политические обвинения в адрес Штейнберга.

На вопрос адвоката о письме Стиенский сказал, что в письме он писал неправду. Он сказал также, что об аресте Штейнберга узнал только по возвращении с курорта. Хотя он и заявлял о Штейнберге в НКВД через писателя Касаткина<sup>58</sup>, самого А.А. он считал не более, чем «болтушкой».

Свидетель Алтаузен, заметив, что гонорары автора и переводчика одинаковы, сказал о Штейнберге, что он — «самый талантливый переводчик в стране». Он сказал, что по поводу взаимоотношений со Штейнбергом Стиенского уже вызывали на партком<sup>59</sup>, и что Стиенский не раз говорил ему, что Штейнберг — советский человек.

Свидетельница Маркович еще раз повторила все ранее ею сказанное, дополнительно подтвердив факт клятвы кровью, означавшей, в ее понимании, что автором «стихов Стиенского» Стиенский и является. Отвечая адвокату, она вынуждена была сказать: «Ругательства Штейнберга относились к представителям Тарусы, а по отношению руководителей Советского Союза в общем масштабе я никогда от Штейнберга не слышала. Антисоветских разговоров я от него никогда не слышала».

Свидетель Таубер, подтвердив факт ссоры между ним и обвиняемым, категорически отрицал возможность ведения Штейнбергом антисоветских разговоров. Свидетель Гатов охарактеризовал А.А. как талантливое поэта, антисоветских разговоров он не вел. Как и Алтаузен с Таубером, Гатов подтвердил, что слышал от Штейнберга утверждения о плагиате Стийенского.

После выступления Гатова был объявлен перерыв до 9 ч.30 мин. утра 13 ноября 1939 года. Первым после перерыва выступил Левик. Он сообщил, что, начиная с 1931 года, они очень тесно общались со Штейнбергом, но что контрреволюционных разговоров тот никогда не вел. Вышедшие у Стийенского после ареста Штейнберга «Сказки» в переводе Альбер<sup>60</sup> заметно уступают в красочности переводам Штейнберга. Кроме того, он засвидетельствовал, что Штейнберг никогда не рисовал портретов.

То же утверждал и свидетель Гехт, дружившийся со Штейнбергом с 1928 года и ценивший его как поэта и как художника. Ни разу, утверждал Гехт, он не слышал от А.А. и антисоветских высказываний. Мнение же Штейнберга о Сталине он назвал «мнением, достойным советского гражданина». И к советской поэзии А.А. относился прекрасно и «никогда ее не опошлял».

После чего судья распорядился вызвать свидетеля Тарковского. Тот был разыскан и сообщил, что переводами занимается с 1933 года. Обвиняемого знает с 1927 года, был с ним дружен, но в 1935 году они посторились из-за одной работы, перешедшей к Штейнбергу после того, как Тарковский заболел. Это и были «Партизаны на Дурмиторе» Стийенского, треть которой перевел Тарковский, треть — Штейнберг, а треть — оба вместе. Причем переводили по подстрочникам, которые делали все вместе, но и рукописи по-сербски он также видел. Конечно, при переводе им приходилось многое перефразировать, но это не означает, что книгу эту писали он и Штейнберг. Но как бы то ни было — ничего антисоветского от Штейнберга ему слышать не приходилось.

Следующим был вызван свидетель Голодный. Он также подтвердил, что между Стийенским и Штейнбергом был конфликт из-за авторства, что вопрос выносился на партбюро, но, кажется, не рассматривался. Ничего антисоветского Голодный за Штейнбергом не знает.

Защита попросила приобщить к делу книгу «Партизаны на Дурмиторе», стихи об Испании и заявления Штейнберга и Тарковского о приеме в ССП. А после того, как стороны и обвиняемый подтвердили, что ходатайств и дополнений к следствию не имеют, судебное следствие было объявлено законченным, и стороны перешли к прениям.

Прокурор Гаврилова, в соответствии со статьей 306 УПК, отказалась от обвинения Штейнберга по статье 58 Уголовного Кодекса. Относительно же Стийенского было вынесено определение о привлечении его по статье 95-2 УК. Защитник Мостман призвал

Радуге Стийенский

**ПОСЛЕДНИЙ  
ВЕТЕР**

ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Перевод с сербскохорватского  
АРКАДИЯ ШТЕЙНБЕРГА



Дарственная надпись  
на книге Радуге  
Стийенского «Последний  
ветер»: «Павлу Нерлеру —  
первому, написавшему  
и опубликовавшему  
прекрасную статью о моей  
работе, с благодарностью  
и сердечной нежностью —  
Арк.Штейнберг. II. VII. 81.  
Юминское»

*Павлу Нерлеру - первому, напи-  
савшему и опубликовавшему  
прекрасную статью о моей  
работе, с благодарностью и  
сердечной нежностью —*  
*Арк. Штейнберг*  
11. VII. 81.  
Юминское (по слухам)

суд вынести его подзащитному оправдательный приговор. В своем последнем слове обвиняемый сказал, что он ехал на суд с глубоким доверием к суду; в том же, в чем его обвиняют, — он не виноват.

После чего суд удалился на совещание, а по возвращении, объяснив срок и порядок обжалования, огласил приговор.

Суд нашел, что предъявленные Штейнбергу ранее обвинения по статье 5—10, ч.1 УК, не были доказаны. Обвинительные показания свидетелей Маркович и Стийенского были признаны сбивчивыми и противоречащими их заявлениям на предварительном следствии, более того, суду стало ясно, что Стийенский находится в неприязненных отношениях с обвиняемым, вследствие чего его показания не внушают доверия. Что же касается показаний свидетеля Гуровича от 7 августа 1938 года, то они не подтверждаются материалами суда. На этом основании уголовно-судебная коллегия Мосгорсуда, руководствуясь статьей 318-32в УПК, приговорила Штейнберга А.А. считать по суду оправданным и немедленно освободить его из-под стражи.

Последнее было исполнено, копия же исполнительного листа — направлена в Бутырскую тюрьму.

Что и говорить: хэши-энд, счастливый конец истории, имевшей куда больше шансов разрешиться трагически. Отправка на дорасследование, затем в суд, наконец, самый суд с подлинной, как мы видели, состязательностью сторон — все это вместе с тем вписывается в канву «бериевской оттепели», точкой отсчета которой является 17 ноября 1938 года — дата постановления ЦК ВКП(б) о прокурорском надзоре. Растерянность следователей нового «набора» заметна даже в этом негромком деле.

Обращает на себя внимание и то, сколь достойно вело себя большинство свидетелей, тем более что и образцы прямо противоположные в этом деле наличествуют тоже: ведь все-таки два полных года — с ноября 1937 по ноябрь 1939 — в тюрьмах и лагерях Штейнберг провел. И как бы ему там ни было «интересно» и сколько бы он «не боялся статей», а мог он оттуда и не вернуться!

Павел Нерлер

P.S. Вскоре после того, как Штейнберга выпустили, к Липкину неожиданно пришел Стийенский и, задыхаясь от душащих слез, сказал, что вот он, Радуле Стийенский, так защищал Аркадия на всех допросах, так защищал, а тот ему теперь и руки не подает, не разговаривает!

Однако, знакомство со следственным делом А.А. не дает нам принять эту «версию». «Черногорские сказки», как говорится.

Но вот что поразительно. Яков Харон вспоминал, что в Уссурийском краю, вечерами А.А. нередко читал у костра не что-нибудь, а свои переводы из Стийенского. Никто из нас, друзей и учеников Штейнберга, никогда не слышал из его уст проклятий или анафемы Стийенскому. До знакомства с делом № 4788 его подлинная роль в первой посадке и отсидке А.А. была нам совершенно неизвестна.

В то же время сам Штейнберг не должен был питать на этот счет никаких иллюзий. И, ясное дело, не питал.

Но, очевидно, что сам А.А. своего губивца — простил.

В октябре 1965 года издательством «Советский писатель» была подписана в печать книга Р.Стийенского «Следы на песке», вышла она, по-видимому, когда автора не стало в живых (он умер 5 февраля 1966 года). Книга составлена целиком из авторизованных переводов Аркадия Штейнберга. В 1968 году в издательстве «Художественная литература» вышел еще один сборник Р.Стийенского в переводах Штейнберга — «Последний ветер»: есть в ней и «Казачья оратория», и «Испанскому народу», и посвященное Вуко Вуковичу стихотворение «Гора жива». Акимыч даже снабдил сборник фотографией Стийенского и собственным предисловием, в котором с неслыханной щедростью написал:

«В один из полудней поздней весны 1934 года меня посетил рослый, плечистый человек с необыкновенно голубыми, детски



чистыми глазами. Он был молод, светловолос, атлетически сложен... Радуле Стийенский был поражающе цельной, прямой и неизменной натурой, ...был веселым и жизнелюбивым человеком, богатырски сильным, энергичным, нисколько не чуждым радостям и искушениям существования...»<sup>61</sup>.

Несколько раз бывал Штейнберг и на годовщинах смерти Стийенского у его вдовы В.Маркович, которая, как мы видели, тоже приняла весьма деятельное участие в устройстве каторжной судьбы А.А.

Среди искушений, которых был не чужд Радуле Стийенский, оказались и те, что обернулись трагедией для поэта, подарившего ему читательскую популярность, постепенно сходящую на нет и ныне совершенно выветрившуюся. И едва ли доведется выяснить, чем «взяли» его следователи. Человек уязвим. Слаб человек...

Штейнберг говорил, что еще в юности поразили его евангельские слова: «Любите врагов ваших». И что смысл их трудно дался ему.

Он примирился с людьми, которые его едва не погубили. И не нам их судить.

Наше дело — рассказать: как было...

П.Н.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1 Автор сердечно благодарит О.Барковец, О.Данилова, С.Липкина, В.Перельмутера и Н.Поболя за помощь в работе над публикацией. Особая благодарность Н.Петрову («Мемориал») — за сведения и консультации по кадровому составу и строению органов НКВД (встречающиеся в изложении фамилии простых следователей, а также членов Мосгорсуда, сведениями о которых мы не располагаем, не комментируются).

2 Штейнберг (девичья фамилия — Авеличева) Валентина Георгиевна (1915 — 1976) — третья жена А.А.Штейнберга, мать Эдуарда и Бориса, его среднего и младшего сыновей. В 1931-1935 гг. А.А. состоял в браке с В.М.Мухар (см. ниже). Своим первым браком, с 1926 по 1930 гг., А.А. был женат на Элеоноре Александровне Тактышниковой, натурщице, матери старшего сына Ясеня (см. о ней в воспоминаниях С.Липкина).

3 Цитата из интервью, данного А.А.Штейнбергом С.Бычкову.

4 Тем же этапом ехал и Яков Евгеньевич Харон, один из двух соавторов «Злых песен дю Вентре».

5 Я.Е.Харон вспоминал о другом занятии: лесоповале.

6 В тексте встречаются следующие аббревиатуры: А.А. — Аркадий Акимович Штейнберг; ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков); ВЦСПС — Всесоюзный Центральный Совет профессиональных союзов; ВХУТЕМАС (или ХУТЕМАС) — Высшие худо-

жестово-технические мастерские; МО — Московская область; ССП — Союз Советских писателей; УГБ — Управление Государственной Безопасности; УНКВД — Управление Наркомата Внутренних дел СССР (в данном случае — по Московской области). Нумерации отделов УГБ НКВД по МО соответствуют следующие их наименования: а) учетно-статистический: до начала 1938 г. — 8-й отдел, после — 1-й спецотдел; б) секретно-политический: до конца 1938 г. — 4-й отдел, после — 2-й отдел (интересно, что и в МО писателями «занималось» 6-е отделение); оперативный: до начала 1938 г. — 2-й отдел, после — 3-й спецотдел.

7 Реденс Станислав Францевич (1892 — 1940) — в этой должности находился с 1933 по январь 1938 г. Расстрелян. А.А.Штейнберг говорил, что Реденс был свояком Молотова; он ошибался: свояком Реденса, женатого на Анне Аллилуевой, был Сталин.

8 Штейнберг Аким Петрович (1875 — ок. 1955) — член ВКП(б) с 1924 г., в описываемое время работал консультантом ВЦСПС и врачом-терапевтом в Железноводске. По свидетельству С.И.Липкина, любил говорить, что ему подчиняются чуть ли не все курорты Минеральных Вод. На одном из курортов, по видимому, работала и Зинаида Мойсеевна (1877 — ок. 1970) — мать А.А, обозначенная в протоколе первого допроса как заводской технолог и фельдшерка. Именно возможность контакта с высокопоставленными «отдыхающими» позволила матери А.А. весьма эффективно похлопотать за сына: А.А. рассказывал, что она переговорила с Ворошиловым, а тот обратился к Вышинскому, который согласился затребовать дело А.А. к себе.

9 За исключением паспорта и патронов все это было оставлено в отделении. 19 декабря три оперуполномоченных 6-го отделения 4-го отдела — Алексеев, Бельченко и Калинин, составили акт об уничтожении изъятых при обыске киноплёнки, чертежей, литературы и переписки» как политически вредных». Отсутствие в перечне уничтоженного двух «черновых литературных тетрадей» оставляет гипотетическую надежду на их обнаружение и, так сказать, вторичное приобщение к «делу».

10 Находился по адресу: Б.Лубянка, 14 («синий особняк»). Тюрьмой Московского УНКВД была знаменитая «Таганка».

11 В этом, пожалуй, единственное расхождение устных рассказов А.А. с официальными материалами дела.

12 Ясеню (Язику) было тогда 8 лет, Эдуарду — 1 год.

13 Стиенский (Стийенский) Радуле, он же Петров-Стийенский Стефан Иванович, он же Маркович Радуле (1903 — 1966) — югославский коммунист и черногорский поэт, участник черногорского восстания 1921 г., автор сборников «Очаг свободы» и др. Стийенский (от горного селения Стийена Пиперская) — его псевдоним. С 1927 г., после побега из подгорицкой тюрьмы проживает в СССР; тогда же вступил в ВКП(б). Во время войны работал во Всеславянском комитете, занимался радиовещанием на сербско-хорватском языке. После войны уехал в Югославию, где много печатался и преподавал русский язык и литературу; сохранив советское гражданство, он вскоре вернулся в СССР. Во время следствия и суда над А.А. проживал по адресу: ул. Обуха, д.3, кв.39. Со Штейнбергом знаком с 1934 г.

14 См. ниже.

15 Дополнительными сведениями о ней не располагаем.

16 Что, в сущности, ставило переводчика художественных произведений ее мужа под угрозу расстрела.

17 Вышинский Андрей Януарьевич (1883-1954) — государственный обвинитель по делам шахтинских вредителей (1928), Промпартии (1930),

о вредительстве на электростанциях (1933); с 1933 по 1935 — заместитель Прокурора, а с 1935 по 1939 — Прокурор СССР.

18 Шапиро Исаак Ильич (1895 — 1940) — с 1937 по 1938 гг. начальник секретариата НКВД и секретариата Особого совещания НКВД. В 1938 г. — начальник учетно-статистического отдела НКВД. Расстрелян.

19 Гурович Александр Семенович (1904 — ?), проживал по адресу: ул. Мархлевского, 20, кв.32. Арестован 28.04.1938, осужден Особым совещанием 28.09.1938, приговорен к 5 годам ИТЛ по статье 58.10.11 (участие в контрреволюционной организации).

20 Овчинников Петр Иванович (1902 — ?) — начальник учетно-статистического отдела УГБ УНКВД по МО.

21 Буховцев Александр Семенович (1896 — ?) — помощник начальника 4-го отдела УГБ УНКВД по МО.

22 Ремизов Павел Дмитриевич (1893 — ?) — лейтенант ГБ, начальник 4-го отделения 3-го спецотдела (оперативного) УНКВД МО. В материалах дела фигурирует как начальник 1-го отделения 1-го спецотдела.

23 См. их служебную записку от 10.12.1938.

24 На суде А.А. назвал и сумму своего заработка — 1000-1200 руб.

25 Липкин Семен Израилевич (род. в 1911, в Одессе) — поэт и переводчик, близкий друг А.А.Штейнберга. См. его воспоминания «Вторая дорога» в кн.: Липкин С. Квадрига. М.: Книжный сад / Аграф, 1997. — С.429-441.

26 Гарковский Арсений Александрович (1907–1989) — поэт и переводчик, один из ближайших друзей А.А., ссора с которым произошла, отчасти, из-за переводов из Стийенского (см. фигурировавшее на суде письмо последнего к Штейнбергу).

27 Левик Вильгельм Вениаминович (1907–1982) — переводчик и художник. С А.А. знаком с 1924 г.

28 Вернувшись в Германию, они прислали А.А. два письма, на которые он не ответил.

29 Иными сведениями о них, а также о других иностранноподанных, упоминаемых в деле, мы не располагаем.

30 См. ниже.

31 Бугаевский Евгений Александрович (1911–1937?) — экономист и высоко ценимый Штейнбергом поэт, младший брат близкого друга А.А., поэта и переводчика Владимира Бугаевского; арестован в мае 1937 г., погиб в лагере.

32 Зверин Владимир Михайлович (? — ок.1980) — старинный друг А.А., полиграфист работал выпускающим в «Литературной Газете».

33 Сведениями о Н.В.Нищете не располагаем.

34 Гатов Александр Борисович (1899–1972) — поэт и переводчик. На суде Штейнберг признавал, что с Гатовым говорил на политические темы, но, разумеется, не в антисоветском духе.

35 Таубер Виктор Исаевич (1901, Днепропетровск — ок.1960) — художник, книжный иллюстратор (в том числе и книг Р.Стийенского). Штейнберг был знаком с Таубером с 1923 года, за год до ареста они рассорились из-за пустяков. Таубер был учителем А. А. во ВХУТЕМАСЕ; впоследствии (после второго лагерного срока), они изредка встречались.

36 Сведениями о рукописи А.А. под таким заглавием не располагаем.

37 Ставский (Кирпичников) Владимир Петрович (1900 — 1943) — писатель и журналист, с 1936 г. — Генеральный секретарь ССП.

Жена Стийенского указала на него, а также еще на одного партийца, которому ее муж об этом эпизоде рассказывал: писателя Ивана Касаткина (см. ниже).

38 На протяжении 1934-1939 гг. выходили следующие книги Р.Стийенского с участием А.Тарковского или А.Штейнберга: «За советскую Черногорию» (1934; пер. А.Штейнберга); «Партизаны на Дурмиторе» (1935; авториз пер. А.Тарковского и А.Штейнберга); «Партизаны на Дурмиторе», кн.2 (1936; авториз пер. А.Штейнберга) «Колхозная оратория» (1936; пер. и пояснения к пер. А.Штейнберга; предисловие К.Зелинского); «Моя песня» (1937; пер. М.Голодного, А.Тарковского и А.Штейнберга); «Черногорские сказки» (1937; пер. А.Штейнберга, рис. В.Таубера); «Черногорские сказки» (1939; переводчик не указан).

39 Сурков Алексей Александрович (1989 — 1983) — поэт и секретарь ССП.

40 Щипачев Степан Петрович (1898/1899 — 1980) — поэт; побывав в финском плену, сидел в лагере.

41 Мухар Вера Михайловна (1909 — ?) — уроженка Одессы, проживала по 3-й Мещанской, 13, кв.15. Соученица А.А. по ВХУ-ТЕМАСу, она была замужем за ним с 1931 по 1934 гг. На момент следствия В.М.Мухар работала художницей в издательстве «Легкая промышленность» и была замужем за сотрудником «Вечерней Москвы» А.З.Гуревичем. См. о ней в воспоминаниях С.Славиной.

42 В данном случае имеется в виду, Владимир Александрович (1905 — 1964).

43 Аврущенко Владимир Израилевич (1908 — 1942) — поэт, погиб на фронте.

44 В деле имеется соответствующая справка: «Проведенной проверкой установлено, что Тарковский А.А. находится в г.Грозном, а Липкин С.И. в г.Одессе, а поэтому они не могут быть вызваны для допроса в качестве свидетелей».

45 Ореханов Василий Федорович (1906 — ?) — в 1939 г. начальник следственного отдела УГБ УНКВД МО.

46 Ее примерная стоимость, по данным суда, — 16 тыс. руб.

47 При этом мать Штейнберга сообщала № дела ее сына — 19056 (видимо, имеется в виду тяжба с Суходольским).

48 О нем сообщалось, что в 1943 г. он погиб в одном из немецких концлагерей.

49 В деле имеются повестки Петрову-Стийенскому и Маркович явиться в суд, а также их подписки-обязательства говорить на суде правду и только правду.

50 Иными данными об адвокате Мостмане, к сожалению, не располагаем. Ордер на ведение этого дела был им получен 4 ноября.

51 Алтаузен Джек Моисеевич (1905-1942) Владимир — поэт, секретарь секции поэтов ССП.

52 Тарловский Марк Ариевич (1902 — 1952) — поэт и переводчик.

53 Голодный Михаил Семенович (1903 — 1949) — поэт, член ССП. Со Штейнбергом знаком с 1930 г.

54 Шенгели Георгий Аркадьевич (1894 — 1956) — поэт, переводчик, стиховед.

55 Гехт Семен Григорьевич (1903 — 1963) — писатель; со Штейнбергом его познакомил Багрицкий.

56 Валах Виктор Яковлевич — судья по всему, сосед по квартире.

57 Коваленков Александр Александрович (1911 — 1971) — поэт.

58 Касаткин Иван Михайлович (1880 — 1938) — прозаик и поэт; расстрелян.

59 См. вышеприведенный протокол.

60 Альбер — иными сведениями не располагаем.

61 В 1982 году А.А. написал предисловие и к посмертной публикации стихотворения Р.Стийенского «Строителям памятника» (см.: Литературная газета. — 1982. — № 10. — 10 марта. — С.2). Стоит отметить и то, что в начале семидесятых в книгу «Молодые поэты Югославии» (М., 1973), по настоянию А.А., были включены стихи племянника Стийенского, замечательного, по мнению Штейнберга, поэта Василие Марковича, два сонета которого Штейнберг перевел (см. «Золотой мяч»).

ОТВЕТ ФСБ НА ЗАПРОС О ВТОРОМ АРЕСТЕ  
А. А. ШТЕЙНБЕРГА

Федеральная служба безопасности Российской Федерации Центральный архив 14.02.96 10/А—Ш-46 Москва	141280, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул. Островского, 29А Бычкову С. С.
--	--

Уважаемый Сергей Сергеевич!

В Центральном архиве ФСБ России имеются сведения о том, что Штейнберг Аркадий Акимович, 1907 года рождения, уроженец г. Одессы, майор, старший инструктор 3 отдела Политуправления 2 Украинского фронта, был арестован 22 октября 1944 года I отделом Управления Контрразведки «Смерш» 2 Украинского фронта.

Штейнбергу А. А. было предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных ст. 58–10 ч. 2 и ст. 193–17 п. «б» УК РСФСР. По постановлению Особого Совещания при МГБ СССР от 10 мая 1947 года он был заключен в исправительно-трудовой лагерь сроком на 8 лет.

Определением Военного трибунала Московского военного округа № 12618/ЛС от 5 сентября 1957 года постановление Особого Совещания при МГБ СССР от 10.05.47 г. в отношении Штейнберга А. А. изменено. Статья 58–10 ч. 2 УК РСФСР, по которой он обвинялся во враждебном отношении к существующему строю в СССР, антисоветской деятельности, подержании антисоветских связей с лицами, ранее репрессированными органами Советской власти, хранении фашистской литературы, из обвинения исключена за недоказанностью преступления, и дело в этой части прекращено по п. «б». ст. 204 УПК РСФСР. Совершенное Штейнбергом преступление, предусмотренное ст. 193–17 УК РСФСР, переквалифицировано с п. «б» на п. «а» этой статьи и в соответствии с Указом от 27 марта 1953 г. «Об амнистии» Штейнберг А. А. считается не имеющим судимости.

Начальник архива

В. П. Гусаченко

18/XII

17 ЧАСОВ  
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ЦРБ

**ВЕЧЕР ПАМЯТИ  
АРКАДИЯ  
ШТЕЙНБЕРГА  
/1907 — 1984/  
ПОЭТА И  
ПЕРЕВОДЧИКА**

ПЕРЕВОДЫ ИЗ

ДЖОНА МИЛЬТОНА  
ВАН ВЭЯ  
ГЕНРИХА ГЕЙНЕ  
СТЕФАНА ГЕОРГЕ  
БЕРТОЛЬТА БРЕХТА  
ДИАНА ТОМАСА  
РЭДЯРДА КИПЛИНГА и др.

ВЕЧЕР ВЕДУТ:

ПОЭТ И ПЕРЕВОДЧИК *ЕВГЕНИЙ ВИТКОВСКИЙ*

ПОЭТ И КРИТИК *ВАДИМ ПЕРЕЛЬМУТЕР*

Афиша первого вечера памяти Аркадия Штейнберга в читальном зале Центральной районной библиотеки № 271 (Москва, Парусный проезд, 15), 18 декабря 1984

## ДЕЛО О ТАРУССКОМ ДОМЕ

Седьмого марта 1957 года А. А. Штейнберг передал в секретариат Союза писателей заявление.

«Прошу секретариат ССП поддержать мое ходатайство о выдаче мне Мослитфондом ссуды в сумме пятнадцати тысяч рублей под гарантийное письмо Детгиза (где готовилось издание якутского эпоса — «Богатырь на гнедом коне» — в переложении Штейнберга. — В. П.) в связи со срочным приобретением загородного дома в г. Тарусе, где я постоянно живу и работаю в течение почти 25 лет».

Далее он коротко рассказывает о начале своей литературной деятельности. Об аресте в 1944 году. О том, что по возвращении, с 1953 года, «выполнил ряд крупных работ по стихотворному переводу для Гослитиздата, Детгиза и др., печатал оригинальные стихи в журнале «Октябрь». О том, что ныне обеспечен солидными договорами с издательствами на ближайшие годы. Упоминает и о том, что третий год добивается реабилитации и, по его сведениям, решение о ней должно быть вынесено в ближайшее время.

И заканчивает: «В Тарусе я живу почти четверть века. В 1937 году я выстроил там дом, но в 1941 году, во время моего пребывания на фронте, Тарусский Горсовет вселил в него явочным порядком две семьи. Вернувшись, я попытался отвоевать свою дачу (я был осужден без конфискации имущества), но мне было отказано за истечением срока давности. В настоящее время я снимаю в Тарусе дачу, но аренда это никак не может быть постоянным, и я нахожусь все время под угрозой его прекращения. Вместе с тем, я могу работать лишь в Тарусе или где-либо в ином месте за городом, как по состоянию здоровья, так и потому, что моя комната в Москве невелика, а семья состоит из жены и троих сыновей, и заниматься литературой в таких условиях затруднительно. Ныне мне представляется возможность купить домик, но наличные средства не позволяют мне это срочно сделать, в связи с чем я и обращаюсь с настоящей просьбой».

За этим официальным, с подчеркнуто-канцелярской сухостью составленным документом — история трехлетних мытарств по судам и пере-судам, прокуратурам и юридическим консультациям, безнадежная борьба с так называемым «правосудием», отправители которого, похоже, не только о «законности», даже «социалистической», понятия не имели, но и вообще не умели читать, нет,



не так, вернее сказать, что их способность к чтению носила выборочный характер.

Но по порядку. Вернувшись летом 1953 года в Москву, Штейнберг вскоре отправился в Тарусу — и обнаружил, что в его доме («домовая книга» оформлена 11 июня 1937 года — на «хозяина» А. А. Штейнберга) живут чужие люди. И не тогда вселились, когда он в лагере сидел (в чем еще была бы хоть какая-то «логика»), но в сорок втором, когда был на фронте. Получили ордера и въехали. В Горсовете недоумевающему «домохозяину» объяснили, что, поскольку в доме «не проживали» с 1941 года, то его забрали «как бесхозный» — и заселили другими жильцами. А на требование «вернуть собственность» послали... в суд.

Двадцать четвертого сентября Штейнберг подал иск о выселении жильцов из принадлежащего ему дома. Три месяца спустя, двадцать пятого декабря, состоялось судебное заседание. Разобрались без проволочек — и в тот же день вынесли решение: в иске отказать. Основание — «пропуск исковой давности, ибо последний (то есть истец. — В. П.) с 1944 по 1952 г. находился в заключении, а период нахождения в заключении не является уважительной причиной пропуска исковой давности» (так в тексте. — В. П.).

Четвертого января 1954 года подана кассационная жалоба. Девять дней спустя она рассмотрена в Калужском областном суде. И «оставлена... без удовлетворения». В решении — повторение «доводов» горсуда. Но есть и «добавления». Сказано не только о том, что истец с 1944 по 1952 год находился в заключении, но и названы статьи УК, по которым был осужден (позже, на одном из следующих «кассационных» этапов сюда добавятся и пояснения — за что сидел: за антисоветскую деятельность и злоупотребления служебным положением). А еще упомянуто, что тот арест — второй, что первый срок он «тянул» с 1938 по 1940 год и был «досрочно освобожден». И то, и другое — вранье, но если первое — невинная путаница в датах, обе сдвинуты на год вперед, то второе — небезобидное и, как увидим, сознательное. Штейнберг в 1939 году был реабилитирован «за недоказанность преступления», освобожден без судимости, то есть суд упоминать об этом попросту не имел права. «Законного» права.

Эти сведения «об уголовном прошлом» истца — точно посередине листка с решением. На случайное совпадение не похоже: это место — центральное во всей судебной волоките. Суть дела ни одну из судебных инстанций не занимала. Все просто: помогать дважды сидевшему уголовнику, иначе говоря, рецидивисту, — кто ж рискнет! Ни о чем другом судьи не думают — и думать не желают. И так — всюду, вплоть до Верховного Суда РСФСР.

Между тем, в деле — никаких особенных сложностей, понять, что к чему, способен даже первокурсник юридического факультета. Прежде всего: Штейнберг настаивает на выселении жильцов из принадлежащего ему дома, а суд отказывает ему в возвращении

дома. Разница — не для микроскопа. Ведь права собственности его никто не лишал (приговор — без конфискации), дом не был «изъят», его отняли — без малейших к тому причин. Более того — явно, нагло нарушив закон. В 1942 году, когда это произошло, было известно, что хозяин — на фронте. Существовал приказ Наркомата коммунального хозяйства, обязывающий соответствующие коммунальные службы «принимать все зависящие от них меры к сохранению домов, оставленных без надлежащего надзора лицами, ушедшими в ряды Советской Армии».

Суд предложил управлению коммунального хозяйства Тарусского Горсовета сообщить, на каком основании в 1942 году дом Штейнберга был принят «как бесхозный», представить документы. Ответа не последовало — таких документов быть не могло. И судьи... вполне этим удовлетворились.

При рассмотрении очередной кассации, действия Горсовета не то, что оправданы, но одобрены: «если бы дом не был принят Горкомхозом, то с 1941 по 1943 г. он пришел бы в негодность и подвергся полному разрушению». Получается, что дом не украли, а «спасли» (совсем как булгаковский персонаж, который «спас семгу»). Судьи, конечно, знают, что — по тому же приказу, о котором уже говорилось, — Горкомхоз был обязан не только обеспечить сохранность дома, но и возвратить его законному владельцу по первому его требованию. Без срока давности.

Последняя инстанция — дальше жаловаться некому — Прокуратура СССР. Она полностью поддерживает всех предыдущих «законников».

У зека Штейнберга — юридически — было имущество, дом.

У восстановленного в правах гражданина Штейнберга это имущество отобрали. «По суду». Чтобы жильцы дома № 5 (первоначально — № 3) по улице Советская в городе Тарусе могли спать спокойно.

По сравнению с прежними бедами, выпавшими на долю Штейнберга, с двумя лагерными сроками, это «дело» выглядит совсем не крупной неприятностью. Тем более что ему удалось, в конце концов, купить дом в Тарусе. Но Штейнберг, не впадавший в уныние на каторге, где, по его признанию, ему все было интересно, тяжело пережил потерю. Зубная боль подчас переносится хуже, чем открытый перелом...

Объективность богини правосудия означена в ее изображениях повязкой на глазах. В «советском варианте» следовало бы добавить залепленные воском уши. Предложение Аркадия Штейнберга...

В заключение — о том, как стала возможной эта публикация. В начале 1997 года папку с документами по «делу» Эдуарду Штейнбергу передала Галина Акерман, дочь Марка Келлермана, юриста, который в пятидесятых вел дела его отца. В Париже.